UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

BOOK CARD

Please keep this card in
book pocket

-L. N. TOLSTOI-----

PARTIAL TITLE

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3365
.A6
G7
1893

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00034694965

0
-7-68

М. С. ГРОМЕКА

о

Л. Н. ТОЛСТОМЪ.

Критическій этюдъ по поводу романа

„Анна Каренина".

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ

дополненное двумя заключительными главами, впервые появляющимися въ печати.

МОСКВА.
Типографія И. Д. Сытина и К°. Валовая улица, собств. домъ.
1893.

I.

Послѣдній романъ гр. Л. Н. Толстого *Анна Каренина* имѣлъ странную участь въ нашей литературѣ и публикѣ, — еще болѣе странную, чѣмъ прежнія произведенія его автора. Не то странно, что романъ во многихъ вызвалъ осужденія, — это бываетъ всегда съ самыми великими произведеніями поэзіи, и долгіе годы должны пройти, пока за созданіемъ художника установится опредѣленное мнѣніе, пока это мнѣніе сдѣлается общимъ и непререкаемымъ достояніемъ,—странно другое: странно, что осужденіе направлено на то, чему осуждающіе, если бъ они были послѣдовательны, должны бы, напротивъ, сочувствовать. Тенденціозные критики осуждали романъ за его безцѣльное, будто бы, творчество, за отсутствіе тенденціи, не видя, что всѣ столь поэтически-чудныя страницы *Анны Карениной* перенизаны очень рѣзко звучащей разсудочною тенденціей. Другіе же, не любящіе тенденцій, искали въ романѣ общественной или другой какой-нибудь идеи и нападали на него за его не всегда удачныя тенденціи, проглядѣвъ, изъ-за раздраженія споромъ, его истинную и глубокую идею, за которую могли бы простить автору всѣ второстепенные недостатки. И тѣ и другіе равно остались недовольны.

Можетъ-быть, отъ нашей современной критики, бѣдность которой ни для кого не составляетъ тайны, и нельзя было, при появленіи произведенія истинно замѣчательнаго, ожидать ничего, кромѣ „печальнаго недоразумѣнія“. Дѣйствительно, перечитывая теперь, нѣсколько лѣтъ спустя, отзывы важнѣйшихъ органовъ печати о романѣ гр. Толстого, выносишь до крайности дисгармоническое впечатлѣніе.

Но, вѣдь, за критикой и литературой стояло все читающее общество, котораго мнѣніе, хотя бы и не выраженное, всегда вы-

текаетъ изъ источника болѣе глубокаго и прозрачнаго, нежели литературныя направленія всякой данной и тѣмъ болѣе нашей, уже разлагающейся, литературной эпохи. А въ отношеніи общества къ *Аннѣ Карениной* также не было полноты сочувствія, и, несмотря на очарованіе ея поэтическихъ картинъ, въ глазахъ большинства *Война и миръ* остается первымъ и высшимъ произведеніемъ гр. Толстого.

За тѣмъ общественнымъ слоемъ, который питается газетными мнѣніями, былъ еще другой, гораздо болѣе многочисленный, не имѣющій опредѣленной системы мнѣній. Онъ просто принималъ то, что было дѣйствительно хорошо въ романѣ, и просто игнорировалъ то, чему не могъ въ немъ сочувствовать.

Все это произошло, во-первыхъ, потому, что въ романѣ, дѣйствительно, не было художественной цѣльности, соразмѣрности и единства. Его quasi-антиобщественная тенденція, проведенная иногда съ замѣтнымъ раздраженіемъ и утрировкой, нарушала художественную цѣлостность впечатлѣнія и за непріятно отвлекающимъ тономъ полемики скрывала глубокую и вѣрную идею произведенія такъ далеко, что эта идея для большинства осталась незамѣченною. А множество отдѣльныхъ, по всему роману разбросанныхъ, картинокъ, безъ ясной связи съ его основною мыслью,—картинокъ, гдѣ художникъ, казалось, отдавался одной своей страсти къ живописи деталей, — еще помогало впечатлѣнію безцѣльнаго творчества, въ сущности совершенно ошибочному. Такое нестройное соединеніе истинной поэзіи, глубокой, по самой своей возвышенности и оригинальности не всѣмъ доступной идеи, отрывочныхъ увлеченій однимъ мастерствомъ и, наконецъ, сильно импонирующей тенденціи разсудочнаго свойства,—производило дисгармоническое впечатлѣніе и вызывало разнообразныя обвиненія, большею частью одновременно и вѣрныя и невѣрныя.

Но была еще и другая, гораздо болѣе общая, причина, поведшая со стороны публики и литературы къ нападкамъ на романъ гр. Толстого. Дѣло въ томъ, что основныя точки зрѣнія, духъ, направленіе художника оказались слишкомъ далеко отошедшими отъ воззрѣній и умственнаго склада большинства его читателей. Художникъ творилъ въ направленіи, реакціонномъ господствующему. Онъ пошелъ дальше и вѣрнѣе, и потому его созданіе не могло быть понятно вполнѣ, не могло не вызвать въ большинствѣ осужденія и несочувствія. Читающее общество и литература у насъ, какъ и на Западѣ, все еще питаются старою раціоналистическою

почвой, а поэзія гр. Л. Толстого, его идеи и задушевныя симпатіи всѣ вышли изъ источника совсѣмъ иного—изъ области непосредственнаго чувства. Раціоналистическая критика и поэтическій проповѣдникъ непосредственнаго начала, цѣльнаго воззрѣнія на людей, природу и Божество—не могли понять другъ друга: они какъ бы жили въ двухъ частяхъ свѣта и встрѣтиться не могли. Отсюда—осужденіе критики, отсюда также раздражительный тонъ и утрировка самого автора и отсюда его разсудочная тенденція, потому что и онъ все же не могъ безусловно вполнѣ отрѣшиться отъ духа окружающей и, несмотря на носимые ею элементы внутренняго разложенія, все еще фактически господствующей атмосферы. Критика, равно тенденціозная и нетенденціозная, отправляясь отъ одинаковыхъ точекъ зрѣнія, дѣйствовала на одной разсудочной почвѣ, и потому, отвергнувъ мелкія тенденціи гр. Толстого, вовсе не замѣтила его крупной идеи. Критика заявила, что романъ гр. Л. Толстого не имѣетъ никакого общественнаго содержанія, никакой общественной и потому никакой художественной идеи, наполненъ безцѣльными психологическими изысканіями и не имѣетъ никакого другого значенія, кромѣ отрывковъ изъ записной книжки дилетанта-психолога, и, притомъ, еще въ аристократическомъ тонѣ. И потому критика не поняла, что въ своемъ романѣ гр. Л. Толстой, въ противоположность разсудочной идеѣ современной литературы, выражалъ съ глубокимъ убѣжденіемъ и замѣчательнымъ художественнымъ ясновидѣніемъ идею непосредственнаго и цѣльнаго міросозерцанія, и что эта идея и есть общественная идея романа, а потому и его истинное художественное содержаніе.

Не тамъ только общественная идея, гдѣ говорится объ исправникахъ, о министерствахъ, о земствахъ, о газетахъ, о соціалистахъ, обо всѣхъ текущихъ формахъ общественной жизни, но и тамъ также, гдѣ выводится умственный складъ общества, кругъ его нравственныхъ понятій и духовнаго содержанія, изъ котораго выходятъ всѣ эти формы, какъ внѣшнее его выраженіе. И еще болѣе общественной идеи тамъ, гдѣ на мѣсто прежней, обветшавшей, но все еще господствующей идеи жизни предлагается другая, новая, т. е. въ сущности старая, но давно забытая и потому опять новая, болѣе глубокая и совершенная, которая можетъ исцѣлить и обновить и самыя общественныя формы. Здѣсь надо искать идеи, точекъ зрѣнія, а потому и общественнаго значенія романа гр. Толстого, и на этомъ полѣ его судить. Но до сихъ поръ его судили и критиковали со всѣхъ точекъ зрѣнія, кромѣ его собственной.

Мы думаемъ, что сущность художественной дѣятельности гр. Л. Толстого есть проповѣдь враждебнаго раціонализму непосредственнаго воззрѣнія на жизнь. Но мы убѣждены, что если къ цѣльному направленію гр. Л. Толстого можно примѣнить опредѣленіе реакціоннаго, то лишь въ смыслѣ не регрессивной реакціи, а прогрессивнаго воздѣйствія хотя и старыхъ, но законныхъ и истинныхъ началъ.

Люди долго шли въ направленіи, имъ противоположномъ, увлеченные вѣрой въ логическій разумъ, удаляясь отъ цѣлостной связи съ жизнью природы и ея идеей Божества. Они шли по этой дорогѣ очень долго, съ тѣхъ поръ еще какъ схоластики впервые оторвали разсудочную силу отъ непосредственнаго чувства и поставили ее надъ послѣднимъ, какъ безапелляціоннаго судью. Людямъ нужно было пройти очень длинный путь увлеченія своимъ новымъ идеаломъ, отчаянныхъ жертвъ въ честь своего новаго бога, потомъ тоски, разочарованія внутреннею пустотой и разложенія. И теперь, когда большинство все еще самодовольно наслаждается своей поверхностною и легкою мудростью, болѣе глубокія натуры опередили ихъ и раньше увидѣли то, что есть конечный и неизбѣжный результатъ этого quasi-побѣднаго раціонализма; онѣ снова дали непосредственному началу чувства его старое и законное мѣсто въ познаніи истины и, вооруженныя имъ, снова увидали ея неизмѣнныя, вѣчныя формы.

Если прослѣдить одно за другимъ всѣ произведенія гр. Л. Толстого, то станетъ несомнѣннымъ, что они выражаютъ рядъ фазисовъ именно такой исторіи души ихъ автора. И если посмотрѣть безпристрастно на настроеніе умовъ и въ западной литературѣ и въ нашей, то необходимо будетъ признать, что, несмотря на увлеченіе большинства новыми формами раціонализма, позитивизмомъ всѣхъ его сортовъ, количество людей, идущихъ далѣе его односторонних результатовъ, вѣрующихъ непосредственно и цѣльно, все возрастаетъ. Гартманъ у нѣмцевъ, Вл. Соловьевъ у насъ — еще очень одиночныя, но уже очень характерныя и знаменательныя явленія. Ихъ спиритуалистическая философія не есть лишь простое выраженіе ихъ личныхъ взглядовъ; она есть выраженіе невольнаго и еще затаеннаго недовольства эпохи ея разсудочнымъ міросозерцаніемъ. Поэтическія произведенія гр. Л. Н. Толстого выражаютъ именно этотъ моментъ исторіи духа, и это выраженіе есть ихъ высокая, оригинальная и истинная идея,—и идея не только философская, но и общественная, потому что она обнимаетъ ту

духовную сущность, которая составляетъ основаніе и содержаніе всѣхъ внѣшнихъ формъ современной общественной жизни, потому что явленія гражданской, политической и частной жизни — лишь единичныя выраженія наступившаго момента въ исторіи общественной души, отношеніе же къ общимъ вопросамъ жизни въ ея исторіи играетъ неизмѣримо-важнѣйшую роль, чѣмъ это теперь принято у насъ думать. Способы рѣшенія этихъ вопросовъ отражаются на нравственныхъ мѣркахъ, на ближайшихъ идеалахъ, на средствахъ къ ихъ достиженію. Они даютъ тонъ всему остальному, а этотъ тонъ дѣлаетъ музыку, теперь такую печальную, кажущуюся безнадежной.

Вотъ въ этомъ именно смыслѣ мы, противно общепринятому мнѣнію, осмѣливаемся утверждать, что романъ гр. Л. Н. Толстого имѣетъ идею, и не только идею, но идею возвышенную и истинную не только въ философскомъ значеніи, но имѣющую также и глубокое современное общественное значеніе,—идею общественную.

Въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ лицъ романа и особенно двухъ главныхъ — Левина и Анны — мы постараемся доказать это яснѣе, насколько вещи этого рода доступны доказательству вообще и насколько такія доказательства доступны нашимъ средствамъ.

II.

Графъ Толстой не пишетъ длинныхъ біографическихъ введеній къ образамъ своихъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ; онъ не имѣетъ этой слабости, свойственной даже такимъ талантамъ, какъ Тургеневъ. Гр. Толстой сразу, безъ предисловій, безъ всякихъ декоративныхъ машинъ, вводитъ насъ въ свой чарующій міръ. Между этимъ міромъ и впечатлѣніемъ читателя нѣтъ никакихъ посредствующихъ приспособленій. Какъ будто мгновенно поднявшаяся занавѣсь открываетъ полную жизненности и красоты картину, поражающую неожиданностью правды.

Первый разъ мы видимъ Анну въ вагонѣ, когда ее случайно встрѣчаетъ Вронскій, — видимъ всего на нѣсколько минутъ, но образъ ея такъ полонъ типической красоты, онъ такъ одушевленъ, что быстрота впечатлѣнія не можетъ ослабить его жизненность и силу. Ея индивидуальныя черты выступаютъ такъ быстро и сразу, какъ въ темной комнатѣ на полотнѣ мгновенныя фигуры волшеб-

наго фонаря. Въ это краткое мгновеніе мы видимъ на лицѣ Анны оживленнымъ ея характерное выраженіе, — выраженіе той красоты, ищущей и раздающей счастье, которое потомъ уловилъ въ ней художникъ Михайловъ и передалъ въ портретѣ, восхитившемъ Левина.

Но теперь не портретъ, а живая Анна взглянула на Вронскаго.

Да, эта черта жажды счастья и способности возбуждать ее въ другихъ была основаніемъ характера Анны. Оживленная и облагороженная красотою страсть была главнымъ ея свойствомъ. Не долгъ, не идея, не сложные интересы высокаго чувства, не тревожные порывы пытливаго ума — не это лежало въ основаніи нравственнаго склада Анны. Анна вся была страсть, облеченная въ чарующія формы классически изваянной, строго совершенной тѣлесной красоты, — страсть, смягченная русскою задушевностью и прямотой, врожденною честностью натуры и тою чуткостью воспріимчивой души, которая дѣлала ее способною вбирать въ себя лучшее отовсюду. Изъ того свѣтскаго круга, къ которому она внѣшнимъ образомъ примыкала по своему происхожденію и общественному положенію мужа, она взяла тонкую простоту и изящество формъ, свободу и достоинство привычекъ, — и осталась чужда его внутренней пустотѣ. Но надъ этимъ сложнымъ, привлекательнымъ соединеніемъ пластической красоты, симпатіи, задушевной искренности и изящества природы преобладала страстность темперамента на эстетически-чувственной основѣ.

Чего-чего только у насъ не говорили объ этомъ прелестномъ, полномъ жизненной правды, созданіи гр. Толстого! Одни, утрируя его мысль, возводили Анну на совсѣмъ не свойственный ей героическій пьедесталъ идеальной русской женщины. Другіе впадали въ противоположную крайность, низводя характеръ Анны до понятія обыденной развратной женщины. Третьи держались безличной средины, и считали ее просто взбалмошною и вздорною дамой, самаго обыкновеннаго свойства особой съ растрепанными чувствами. Въ дѣйствительности же Анна не была ни тѣмъ, ни другимъ, ни третьимъ. Она просто была страстная женщина, жившая для одной лишь любви и ей принесшая въ жертву семью, общественное положеніе и, наконецъ, самую жизнь. Она была послѣдовательна и цѣльна; въ своемъ основномъ стремленіи она шла до конца, и въ этомъ была ея главная сила. Но страстность натуры была въ то же время и ея слабостью, источникомъ непрочности ея жизни. И

она погибла жертвой собственной страсти, безсознательно нарушившей непреложные законы человѣческаго общежитія и нравственности. Очень молодою дѣвушкой она вышла замужъ, по расчету, за человѣка стараго и совсѣмъ не соотвѣтствовавшаго ея характеру. Тогда она пренебрегла любовью, не зная, что создана для одной лишь любви,—не зная, что когда страсть въ ней проснется, она разобьетъ ея непрочную и лживую семью и съ нею унесетъ также и ея счастье, и ея жизнь. Завязка ея трагическаго романа лежала не въ случайной встрѣчѣ съ Вронскимъ, а раньше—въ ея замужествѣ съ человѣкомъ, ей внутренно чуждымъ, не могшимъ дать ей того, что ей было нужно—живой и страстной любви живого и страстнаго человѣка. Каренинъ былъ типъ теоретика-бюрократа; онъ былъ прекрасный человѣкъ, но совсѣмъ не для Анны. И вотъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ спокойной и безцвѣтной жизни по расчету, когда изъ молодой дѣвушки Анна сдѣлалась женщиной въ цвѣтѣ лѣтъ, пренебреженное раньше страстное стремленіе къ той пылкой и полной любви, для которой она была рождена, въ ней созрѣло и, не удовлетворенное, сдержанное, но не подавленное, придавало всему ея существу ту неотразимую привлекательность, съ какою она является передъ нами впервые въ романѣ. Она тогда привезла съ собою въ Москву инстинктивную жажду настоящаго счастья, и безсознательная красота оживленнаго желанія любви играла на ея лицѣ, „порхала между блестящими глазами и чуть замѣтною улыбкой, изгибавшею ея румяныя губы“. Она въ тотъ моментъ была вся—притаившееся желаніе, и избытокъ его „такъ переполнялъ ея существо, что помимо воли выражался то въ блескѣ взгляда, то въ улыбкѣ“. И неясное, инстинктивное предчувствіе, что ея красота и бьющая черезъ край жизненность дадутъ осуществленіе ея желанію счастья,—это предчувствіе, придавая ей еще большее оживленіе и привлекательность, вносило въ выраженіе ея миловиднаго лица, когда она прошла мимо Вронскаго, что-то особенно ласковое и нѣжное. Когда же глаза ея случайно упали на этого красиваго, молодого и полнаго чувственной жизни человѣка, таинственный подборъ мгновенно совершился, маленькое зернышко чувства быстро упало на влажную и теплую почву и мгновенно пустило ростокъ. Когда Вронскій, повинуясь очарованію ея нѣжнаго выраженія, оглянулся, ея глаза дружелюбно, внимательно остановились на мгновеніе на его лицѣ, *„какъ будто признавая его“*. Ласковая улыбка не оставляла Анны во все время краткой встрѣчи ея съ Вронскимъ, когда она об-

мѣнялась немногими словами съ нимъ и его матерью. Неожиданный случай несчастья со сторожемъ обнаружилъ зародившуюся власть Анны надъ Вронскимъ. Взволнованнаго и недоумѣвающаго шопота, которымъ Анна спросила, нельзя ли помочь вдовѣ раздавленнаго сторожа, было достаточно, чтобы Вронскій тотчасъ же передалъ вдовѣ двѣсти рублей черезъ начальника станціи, очевидно,—не столько изъ состраданія къ несчастной, сколько изъ инстинктивной потребности сдѣлать угодное Аннѣ. И Анна, хотя Вронскій словами не сказалъ ничего и даже скрылъ свой поступокъ, поняла его. Когда Анна садилась въ карету, и братъ, съ удивленіемъ видя, что губы ея дрожатъ и она съ трудомъ удерживаетъ слезы, спросилъ, что съ ней такое, она искренно, можетъ-быть, отвѣтила, что такъ, ничего, дурное предзнаменованіе. Но въ волненіи Анны участвовало впечатлѣніе Вронскаго. Она сейчасъ же спросила брата, давно ли тотъ знакомъ съ Вронскимъ, и услышавъ, что Китти выходитъ за него замужъ, выразила тихое удивленіе; она встряхнула головой, какъ будто хотѣла этимъ помочь внутреннему усилію и изгнать мѣшавшую ея обычному спокойствію путаницу невольныхъ мыслей о Вронскомъ.

Несмотря на то, что Анна весь этотъ день занималась самымъ грустнымъ дѣломъ—мирила своего невѣрнаго брата съ его измучившеюся насѣдкой — Долли, она не выходила изъ своего состоянія оживленія. Все удавалось Аннѣ въ ея возбужденно-поэтическомъ настроеніи, источника котораго она сама ясно не сознавала, и ей было очень легко успокоить Долли и примирить ее съ мужемъ. Никто не могъ избѣжать очарованія при видѣ Анны, и не только Китти, но даже дѣти Долли чувствовали къ ней восторженное влеченіе.

Болтая съ Китти о Вронскомъ, Анна говорила ей все то хорошее, что слышала о немъ, но не сказала о деньгахъ, данныхъ имъ на станціи.

Хваля Вронскаго Китти, которая была въ него влюблена и мечтала сдѣлаться его невѣстой, Анна какъ бы выражала сочувствіе Китти и одобреніе ея мечтѣ; но она не могла сказать Китти про эти двѣсти рублей,—ей непріятно было вспомнить объ этомъ. „Она чувствовала, что въ этомъ было что-то касающееся до нея и такое, чего не должно было быть“. Анна перемѣнила разговоръ и встала, какъ показалось Китти, чѣмъ-то недовольная. Она сердилась на тотъ микроскопическій еще зародышъ чувства къ Вронскому, который противъ ея воли и полубезсознательно для

нея шевелился въ ея душѣ. Когда въ тотъ же вечеръ она мелькомъ увидала Вронскаго на лѣстницѣ, зародышъ задвигался сильнѣе, и „странное чувство удовольствія и, вмѣстѣ, страха чего-то шевельнулось у нея въ сердцѣ“. Въ его выраженіи она замѣтила что-то пристыженное и испуганное, и его странный пріѣздъ, удивившій всѣхъ, всего болѣе страннымъ и нехорошимъ показался Аннѣ.

Черезъ нѣсколько дней былъ балъ, и Анна, стоя въ углу залы, торжествовала надъ всѣми своей изваянною красотой. Неясное чувство недовольства собой и Вронскимъ сказалось въ ней, когда она не отвѣтила на поклонъ подходившаго Вронскаго, умышленно его не замѣчая; но скоро, очень скоро, оно замѣнилось восторженнымъ чувствомъ полнаго успѣха. Она танцовала съ Вронскимъ въ кадрили, и въ ея блистающихъ глазахъ, счастливой улыбкѣ и точности граціозныхъ движеній сказывалось увлеченіе Вронскимъ и его восхищеннымъ поклоненіемъ ей. Они говорили о ничтожныхъ предметахъ, но безсодержательныя бальныя слова звучали для ихъ восхищеннаго слуха поэзіей первыхъ мгновеній пробуждавшейся страсти. Но оньяняющая музыка ихъ словъ и взглядовъ передавала торжество одной лишь Анны: одна Анна была полна счастьемъ,—не она была покорена, а Вронскій. На ея лицѣ было написано счастье успѣха, а на его—не было видно ничего, кромѣ покорности и страха.

Но все это было еще инстинктивнымъ и еще не достигало сознанія; иначе Анна не подозвала бы къ себѣ Китти во время мазурки,—ей стало бы жаль ея. Но тогда она не сознавала, тогда она безсознательно слѣдовала жестокому инстинкту женскаго самолюбія и призвала Китти какъ бы для того, чтобы Китти лицомъ къ лицу увидѣла свое пораженіе и торжество Анны.

Но на другой день сознаніе проникло въ ея новое чувство, и Анна, недовольная собой и разстроенная, старалась подавить въ себѣ неопредѣленную неловкость совѣсти въ усиленныхъ заботахъ и приготовленіяхъ къ отъѣзду. Она рѣшила уѣхать раньше, чѣмъ думала прежде, и уѣзжала потому именно, что замѣтила, какъ сильно ей хотѣлось остаться, чтобы подольше видѣть Вронскаго; и потому она хотѣла убѣжать отъ своего желанія и болѣе съ Вронскимъ не встрѣчаться.

Совѣсть неопредѣленно ее упрекала, и она почувствовала потребность сдѣлать признаніе Долли, въ которомъ, однако, также инстинктивно старалась себя оправдать. Анна говорила Долли про

свои skeletons, и „неожиданно, послѣ слезъ, хитрая, смѣтливая улыбка сморщила ея губы“. Перевѣсъ все же оставался на сторонѣ влеченія, а не сознанія и совѣсти. „Но право, право, я не виновата, или виновата немножко“,—сказала она тонкимъ голосомъ, протянувъ слово *немножко*. Долли замѣтила, что Анна сказала это совсѣмъ какъ Стива, тѣмъ полупокорнымъ, полухитрымъ тономъ, который какъ бы говорилъ, что хотя увлеченіе и нехорошо, но все же характеръ, полный молодыхъ силъ, долженъ имѣть свободу для своихъ влеченій. Сравненіе со Стивой оскорбило Анну, и она съ негодованіемъ отвѣтила Долли. Но, еще не договоривъ отвѣта, она почувствовала, что онъ несправедливъ: мысль о Вронскомъ приводила ее въ волненіе. Она не могла его преодолѣть, но не могла и отказаться отъ сознательной потребности его побороть. Въ дорогѣ она все боролась и колебалась между этими противорѣчивыми чувствами. Сначала она пробовала читать англійскій романъ, но ей было непріятно читать, — ей слишкомъ хотѣлось самой жить,—и, читая, она переносила на себя всѣ дѣйствія лицъ въ романѣ. И вдругъ ее охватилъ безпричинный стыдъ, слагавшійся въ неясную ассоціацію съ чтеніемъ романа. Но желаніе жизни было такъ полно, что перебиравшее свои воспоминанія сознаніе не могло отыскать опредѣленнаго объясненія чувству стыда, и стыдъ этотъ, непонятно для Анны, соединялся съ такимъ горячимъ возбужденіемъ жизни, что она „чуть вслухъ не засмѣялась отъ радости, вдругъ безпричинно овладѣвшей ею“. Нервное возбужденіе окрашивало всѣ притекавшія извнѣ впечатлѣнія въ свой веселый и фантастическій цвѣтъ. Поѣздъ подошелъ къ станціи, и Анна вышла изъ вагона. Она отворила дверь, и метель и вѣтеръ, рванувшіеся ей навстрѣчу, были полны тѣмъ самымъ возбужденнымъ весельемъ, которое было у Анны. И все, и даже снѣжный, морозный воздухъ, который она вдыхала въ себя полною грудью,—и онъ весь былъ сдѣланъ изъ оживленнаго ожиданія жизни и любви, переполнившаго сердце у Анны. Буря бушевала, люди весело бѣгали по платформѣ—все въ томъ же тонѣ возбужденія Анны. Какая-то фигура, подойдя, заслонила Аннѣ свѣтъ фонаря, и Анна въ ту же минуту узнала Вронскаго. Не отвѣчая ему, она вглядывалась въ его лицо и узнала прежнее его выраженіе почтительнаго восхищенія. Противорѣчиво ея мыслямъ, но совершенно послѣдовательно ея настроенію, радостная гордость охватила Анну: она угадала, что привело сюда Вронскаго. И Вронскій сказалъ ей то самое, чего желала ея душа,

но чего она боялась разсудкомъ. Неудержимая радость и оживленіе сіяли на ея лицѣ, которому она безсильна была придать строгое выраженіе. Войдя въ вагонъ, она не вспоминала ихъ разговора, но чувство говорило ей, что онъ сблизилъ ихъ, и это одновременно пугало ее и дѣлало счастливою. И ее снова и сильнѣе охватили прежнее радостное напряженіе и жгучія грёзы. Но къ утру Анна задремала, а когда проснулась, поѣздъ подходилъ къ Петербургу; мысли о домѣ, о мужѣ и сынѣ, заботы обыденныя—заняли ее и отвлекли.

Чувственная подкладка ея увлеченія Вронскимъ сейчасъ же, однако, сказалась. Черты лица ея мужа физически-непріятно поразили ее прежде всего. – особенно уши и упорное выраженіе его усталыхъ глазъ. Тяжелѣе всего было недовольство собой, охватившее Анну при встрѣчѣ съ мужемъ, —недовольство тѣмъ чувствомъ притворства въ отношеніяхъ къ мужу, которое она испытывала и прежде, но не такъ сильно, и не сознавала.

Московскія впечатлѣнія Анны были такъ сильны, что дома даже любимый единственный сынъ вызвалъ въ ней чувство, похожее на разочарованіе. Теперь между ея чувствомъ и сыномъ стоялъ Вронскій, и ей теперь показалось, что прежде она воображала сына лучшимъ, чѣмъ онъ былъ въ дѣйствительности. Она не знала, что не сынъ, а ея собственное къ нему чувство прежде было лучше, потому что было исключительнѣе.

Привычная обстановка и старыя условія жизни подѣйствовали на нее успокоительно, чувство безпричиннаго стыда и волненіе исчезали, она снова почувствовала себя твердой и безупречной и съ удивленіемъ вспоминала свое недавнее настроеніе, показавшееся ей до того незначительнымъ, что она рѣшила даже не разсказывать о немъ мужу. Вечеромъ она съ удовольствіемъ слушала привычные разговоры мужа, находя, что *„все-таки* онъ хорошій человѣкъ, правдивый, добрый и замѣчательный въ своей сферѣ“. Анна какъ бы въ сознаніи защищала мужа передъ своимъ безсознательнымъ стремленіемъ чувства, которое обвиняло мужа и говорило, что его нельзя любить. Но инстинктъ былъ сильнѣе сознанія, и какъ ни послѣдовательны были разсужденія Анны, а все же уши мужа поражали ее странно своими размѣрами, и когда Анна передъ сномъ вошла въ спальню, огонь ея улыбки и глазъ былъ спрятанъ и казался потушеннымъ: она шла къ мужу безъ оживленія.

Внутренняя перемѣна Анны повела за собою перемѣну въ ея

отношеніяхъ къ свѣту и тѣмъ тремъ главнымъ ярусамъ его, въ которыхъ она бывала прежде. Кругъ исключительно офиціальный совсѣмъ утратилъ для Анны интересъ. Другой кружокъ, черезъ который ея мужъ сдѣлалъ карьеру, — кружокъ старыхъ, некрасивыхъ, добродѣтельныхъ женщинъ и умныхъ, ученыхъ и честолюбивыхъ мужчинъ, — сталъ невыносимъ Аннѣ. Это былъ кружокъ ея мужа, и потому, въ связи съ ея настроеніемъ, онъ ей опостылѣлъ. Третій кругъ — собственно свѣтъ. Связь ея съ этимъ кругомъ держалась черезъ княгиню Бетси Тверскую, жену ея двоюроднаго брата и кузину Вронскаго. Сначала Анна не любила этого свѣтскаго круга, но теперь она избѣгала остальныхъ и ѣздила къ Бетси и другимъ, гдѣ могла встрѣтить Вронскаго. Она ѣздила туда не потому, чтобы любила большой свѣтъ, — нѣтъ, она оставалась ему внутренно чужда; но ея страсть къ Вронскому разрушила ея связь съ кружками мужа, и она бывала только тамъ, гдѣ бывалъ Вронскій. Ей казалось, что Вронскій преслѣдуетъ ее, и она не замѣчала, что она сама его ищетъ, какъ сама и увлекла его при первой же встрѣчѣ. Ей казалось, что она не подастъ ему повода, что она недовольна его преслѣдованіемъ; но она увидѣла скоро, что его преслѣдованіе не только не непріятно ей, но что оно одно составляетъ весь интересъ ея жизни.

Мы встрѣчаемъ ее слѣдующій разъ за чайнымъ столикомъ въ гостиной у Бетси, гдѣ послѣ оперы сидѣлъ весь большой свѣтъ.

Анна пріѣхала сказать Вронскому, чтобъ онъ пересталъ ее преслѣдовать и вернулся къ Китти. „Я никогда ни передъ кѣмъ не краснѣла, а вы заставляете меня чувствовать себя виновною въ чемъ-то“, — сказала она Вронскому, который смотрѣлъ на нее пораженный новою духовною красотой ея лица. Но это были ея послѣднія отчаянныя усилія противостать ея страсти.

Теперь уже не она торжествовала, а Вронскій. „Если вы любите меня, какъ вы говорите, — прошептала она, — то сдѣлайте, чтобъ я была спокойна“. Но въ этой граціозной и трогательной мольбѣ Вронскій былъ способенъ схватить лишь ноту отчаянія ея воли, безсильной передъ страстью. Онъ не былъ тронутъ; напротивъ, лицо его просіяло, и онъ не съ жалостью, а съ восторгомъ сказалъ ей, что можетъ дать ей не спокойствіе, котораго не видитъ впереди ни для нея, ни для себя, а лишь несчастье или счастье.

Хотя Вронскій говорилъ однѣми губами, но Анна его услышала, и на его настойчиво-восторженный шопотъ, отвергшій ея послѣднюю мольбу, отвѣтила тѣмъ же экстазомъ любви. И съ

этого мгновенія она жила одною волей Вронскаго и принадлежала ему безвозвратно.

Анна и Вронскій слишкомъ долго и естественно разговаривали вдали отъ другихъ гостей, и гости сочли это неприличнымъ,— ихъ это стѣсняло. Алексѣй Александровичъ замѣтилъ общее впечатлѣніе и счелъ себя обязаннымъ сдѣлать Аннѣ замѣчаніе. Придумавъ для него слова, Каренинъ сталъ говорить ей, и она, отвѣчая ему, сама удивлялась непроницаемости той брони лжи, въ которую чувствовала себя одѣтою. Она упорно не хотѣла понять мужа, и тотъ понялъ, что душа Анны закрылась для него навсегда. Но нѣкоторое время все наружно оставалось попрежнему. Анна часто ѣздила къ Бетси, встрѣчалась вездѣ съ Вронскимъ; Алексѣй Александровичъ видѣлъ это, но не могъ прекратить, и жилъ въ инстинктивномъ ожиданіи послѣдняго удара.

Когда онъ, наконецъ, разразился, то обрушился прежде всего на самое Анну. Чувственная страсть ея на мгновеніе была удовлетворена, и когда она изъ-за исполненнаго желанія услышала голосъ, сказавшій ей, куда она шла, стыдъ передъ своею духовною наготой овладѣлъ ею. Со страннымъ для Вронскаго выраженіемъ холоднаго отчаянія она разсталась съ нимъ. „Она чувствовала, что въ эту минуту не могла выразить словами чувства стыда, радости и ужаса передъ этимъ вступленіемъ въ новую жизнь“. Но и послѣ она не находила ни словъ для этого сложнаго чувства, ни яснаго сознанія своего новаго положенія. Она думала, что пойметъ все, когда успокоится. Но это спокойствіе уже никогда не наступало. Каждый разъ при воспоминаніи о случившемся на нее находилъ ужасъ, и она отгоняла отъ себя эти мысли. Но во снѣ, когда она не имѣла надъ ними власти, онѣ осаждали и давили ее, и положеніе ея между любовникомъ и мужемъ представлялось ей во всей своей безобразной наготѣ.

Теперь, когда Анна окончательно связала со Вронскимъ свою судьбу, намъ надо взглянуть на него, чтобъ узнать, что̀ онъ былъ и что̀ въ немъ полюбила Анна.

III.

Вронскій былъ невысокій, плотно сложенный брюнетъ, съ добродушно-красивымъ и твердымъ лицомъ. Эта твердость и ровность характера въ немъ особенно поражали другихъ и произ-

водили тѣмъ болѣе сильное впечатлѣніе, что непроницаемая и изящная оболочка твердости скрывала отъ другихъ очень успѣшно весь кругъ его дѣйствительныхъ, незначительныхъ чувствъ. Онъ производилъ впечатлѣніе человѣка, который твердо знаетъ, чего хочетъ и не ошибается въ средствахъ для своей цѣли. И про него говорили, что онъ далеко пойдетъ. Твердость его была врожденнымъ свойствомъ его характера; она много объяснялась чрезвычайною точностью его воззрѣній, а эта точность вытекала изъ ихъ узкости и условности. На все у него были правила; они были очень относительны и нравственно-ограниченны, но тѣмъ тверже прилагалъ онъ ихъ къ своей жизни. Уже первое впечатлѣніе Вронскаго непріятно,—его изящно-безнравственное отношеніе къ Китти, гдѣ мы впервые видимъ проявленіе его основного правила — жить для влеченій и отдаваться имъ, не задумываясь и не разбирая послѣдствій. Онъ жилъ для влеченія своего сильнаго, чувственнаго тѣла и былъ твердо убѣжденъ, что въ этомъ онъ правъ. Когда онъ, увлекшись Анной, сѣлъ въ вагонъ, чтобы преслѣдовать ее, онъ „чувствовалъ, что всѣ его, доселѣ распущенныя, разбросанныя силы были собраны въ одно и съ страшною энергіей были направлены къ одной блаженной цѣли. И онъ былъ счастливъ этимъ“. Это совсѣмъ гармонировало съ его нравственными принципами, по которымъ нужно быть только „элегантнымъ, великодушнымъ, смѣлымъ, веселымъ, отдаваться каждой страсти не краснѣя и надъ всѣмъ остальнымъ смѣяться,—смѣяться надъ тѣми, кто вѣритъ, что одному мужу надо жить съ одной женой, что дѣвушкѣ надо быть невинною, женщинѣ стыдливою, что надо заработывать свой хлѣбъ, платить долги, и разныя, тому подобныя, глупости“. Въ его увлеченіи Анной сначала было не столько любви, не столько даже чувственной страсти, сколько упрямаго стремленія холодной воли—сдѣлать Анну своею любовницей.

Послѣ описаннаго разговора съ Анной у Бетси, когда Анна такъ ясно сказала ему свою любовь, въ его чувствѣ счастья было не столько нѣжной радости взаимной любви, сколько самолюбиваго торжества, что цѣль, которую онъ преслѣдовалъ съ такимъ долгимъ упорствомъ, наконецъ сама идетъ ему въ руки въ тотъ самый моментъ, когда онъ думалъ, что „не будетъ конца“. Когда въ тотъ же памятный вечеръ, прощаясь, Анна сказала Вронскому, что потому не любитъ слышать въ его устахъ слова о любви, что для нея любовь значитъ гораздо, гораздо больше, чѣмъ даже онъ можетъ подумать, она говорила правду. Любовь къ Аннѣ была для

него не любовь, а то же, что опасная охота, трудная скачка, и онъ такъ волновался отъ напряженія ею, что для успокоенія отвлекалъ свои силы на другую — простую лошадиную скачку. Тотъ же характеръ страстной охоты на крупнаго звѣря, волненіемъ его сильнаго организма удовлетворявшей его склонность къ сильнымъ ощущеніямъ, носила и третья его скачка—скачка честолюбія. У него не было никакихъ политическихъ и общественныхъ идеаловъ, служеніе которымъ могло бы давать энергію, смыслъ и цѣль его дѣятельности и желанію власти. Власть была для него не средствомъ, а цѣлью; и даже не самая власть, обычная цѣль честолюбцевъ, не она его привлекала, — самый процессъ ея достиженія, упорное стремленіе къ ней, возбужденное напряженіе всѣхъ чувствъ. Самый процессъ возбужденія и выдержки энергіи привлекалъ его: онъ искалъ не приза, а самой скачки. Онъ отказался отъ почетнаго назначенія лишь для того, чтобы набить себѣ цѣну, какъ на четырехверстной скачкѣ съ препятствіями онъ сначала далъ Малотину обогнать себя, чтобы тѣмъ вѣрнѣе потомъ опередить его и прійти къ столбу первымъ. Такова же была и любовь его къ Аннѣ. Не душа Анны его привлекала,—любовь къ ней не была для него источникомъ идеальныхъ влеченій и внутренняго роста, — но красота ея и полнота ея чувственной страсти сильно его волновали, и онъ любилъ въ ней не душу ея, а источникъ сильныхъ волненій, удесятеренныхъ опасностью интриги и остротой честолюбиваго чувства борьбы съ мнѣніемъ свѣта. Это былъ человѣкъ безъ идеаловъ, но съ сильнымъ организмомъ и волей. Когда нѣтъ идеаловъ, то надо наполнять жизнь волненіями. И Вронскій жилъ только для этихъ волненій. И въ Аннѣ онъ любилъ не иное что, какъ свои же волненія, которыхъ красота и страсть Анны требовали въ избыткѣ. Онъ взялъ отъ Анны всѣ волненія, какія она могла ему дать, пресытился ими и отвернулся отъ нихъ. Такова была сущность его характера. Ей нисколько не мѣшали тѣ формы, въ которыя она облекалась для свѣта, и то внѣшнее добродушіе здороваго, богатаго и удовлетвореннаго въ своихъ потребностяхъ человѣка, которое располагало къ нему товарищей и знакомыхъ. Внутри онъ остался тѣмъ, чѣмъ самъ, въ рѣдкія минуты полнаго самосознанія, себя признавалъ. Приставленный къ иностранному принцу, пріѣхавшему въ Петербургъ узнать русскія національныя удовольствія — битье посуды и шампанское, Вронскій противъ воли находилъ въ немъ собственныя черты. Принцъ

этотъ „былъ очень глупый и очень самоувѣренный, очень здоровый и очень чистоплотный человѣкъ“; больше въ немъ ничего не было, кромѣ привычекъ внѣшней порядочности. „Глупая говядина!.. Неужели я такой?“—думалъ Вронскій, вглядываясь въ свое непріятное зеркало. И зеркало говорило ему совершенную правду.

Въ драматизмѣ положенія Анны была та особенность, что ей былъ нуженъ именно такой человѣкъ какъ Вронскій, съ такимъ именно характеромъ и даже съ такимъ именно тономъ отношенія къ ней и ея чувству. Не удовлетворенная въ ранней молодости природа ея утратила равновѣсіе; поздно проснувшаяся потребность страсти явилась въ слишкомъ исключительной формѣ. Цѣлостность ея чувства, несмотря на сохранившуюся цѣлостность характера, была разрушена навсегда. Тотъ естественный ростъ чувства, въ которомъ ровно соединенные элементы страсти и духовныхъ влеченій созидаютъ прочную привязанность къ мужчинѣ и гармонирующую ей любовь къ ея дѣтямъ, былъ извращенъ въ ней съ самаго начала ея раннимъ и противоестественнымъ бракомъ съ Каренинымъ, котораго она не любила и не могла любить. Тотъ міръ интересовъ отвлеченнаго разсудка и материнской любви, въ который ввелъ ее Каренинъ, поглотилъ весь имѣющійся у нея запасъ духовнаго начала; онъ былъ израсходованъ весь, и для новой области чувства Анна его уже не имѣла. Но въ этомъ мірѣ отношеній къ Каренину главная пружина ея души—чувственное начало ея страсти—удовлетворено не было, а было только раздражено. Раздраженное и изолированное страстное влеченіе постепенно росло, и когда созрѣло, то обратилось на того, кто какъ разъ къ нему подходилъ—на Вронскаго. Все то, чего не было въ ея мужѣ, все это было въ избыткѣ у Вронскаго, и не только въ избыткѣ, но въ исключительности; и потому ея исключительная, отдѣленная отъ всего духовнаго, страсть на него и обратилась.

Такъ просто, такъ печально-просто совершилось въ душѣ Анны это роковое для нея событіе. Уже по своей сущности, уже по одной главной его чертѣ—по его исключительной чувственности—оно должно было кончиться несчастьемъ. Но неизбѣжность такого исхода была усугублена разъѣдающимъ вліяніемъ несчастія первой семьи и безсильной борьбы съ мнѣніемъ свѣта. И отъ такой двойной неизбѣжности разбилась жизнь этого прелестнаго, жалкаго въ своей неотразимой прелести, существа, и умерла милая Анна, къ которой такъ хорошо идутъ слова романса:

Не называй ее небесной
И отъ земли не отнимай:
Въ ней міръ иной, но міръ прелестный...

Таковы были столкновеніе однѣхъ и разладъ другихъ силъ, приведшихъ Анну къ катастрофѣ. Они такъ характерны, что, можетъ-быть, не нужно было бы слѣдить за подробностями развязки, если бы художникъ не облекъ ихъ такою высокою поэзіей и такимъ неподражаемымъ духовнымъ ясновидѣніемъ. Къ тому же, интересъ романа Анны не исчерпывается предѣлами ея собственнаго внутренняго міра. Ея драматическая исторія развиваетъ очень глубокую и вѣрную общую идею, обнажаетъ законъ человѣческой природы, который Анна тщетно хотѣла обойти.

Несмотря на всю осторожность Вронскаго и Анны, ихъ отношенія тотчасъ же стали извѣстны всему городу. И тотчасъ общество наложило свою тяжелую руку на ихъ чувства.

Весь свѣтъ, мать, братъ—всѣ были недовольны, а выраженіе ихъ недовольства своимъ вмѣшательствомъ во внутреннюю жизнь Вронскаго оскорбляло его и вызывало въ немъ злобу, отравлявшую его счастье. Инстинктъ не обманывалъ его, подсказывая, что если бъ его отношенія съ Анной были простою пошлою связью, его всѣ бы оставили въ покоѣ, — что именно серьезность этой связи всѣмъ непріятна. Страсть, хотя бы и преступная, но искренняя и полная, не подходила подъ тотъ оригинальный кодексъ приличія, замѣняющій нравственность, по которому дурное осуждается не за то, что оно дурно, и даже не за то, что оно на глазахъ у всѣхъ, а за то, что оно сопровождается влеченіемъ искреннимъ и исключительнымъ. Ничто не должно быть искреннимъ до самозабвенія среди этого круга, живущаго однимъ лишь легкимъ наслажденіемъ, чувство котораго нарушалось зрѣлищемъ истинной страсти, съ ея неподдѣльнымъ счастьемъ, съ ея трагизмомъ въ семьѣ, съ ея горемъ и безвыходнымъ бѣдствіемъ, со всѣми переходами ея слишкомъ яркаго блеска и слишкомъ мрачной тѣни. Но Вронскій, угадывая этотъ именно тонъ осужденія, не зналъ,— вѣрнѣе, забылъ,—что осужденіе сохраняло нѣкоторое подобіе права, нѣкоторое условное право. Членъ клуба, разъ обязавшись исполнять его правила, не долженъ претендовать на учрежденіе, когда несоблюденіемъ его устава вооружаетъ противъ себя остальныхъ сочленовъ. Вронскій былъ человѣкъ свѣта, и, увлекшись страстью, долженъ былъ приготовиться испытать отношеніе къ нему свѣта или же оставить этотъ свѣтъ вовсе.

Такъ онъ и сдѣлалъ впослѣдствіи; но теперь онъ только чувствовалъ оскорбленіе вмѣшательства и осужденія, и горечь этого чувства ложилась на его любовь къ Аннѣ. Теперь онъ переживалъ лишь первые мѣсяцы своей страсти; красота Анны и привлекательная новизна обладанія ею еще легко изгоняли тяжелыя впечатлѣнія. Потомъ они ложились незамѣтными слоями все больше и больше, пока медленно наросшая тяжесть ихъ не придавила и самое чувство.

Кромѣ тяжести мнѣнія свѣта, еще необходимость и трудность обмана, скрытности и притворства оскорбляли и Вронскаго и Анну, вызывая въ нихъ мучительное чувство стыда.

Но не одинъ свѣтъ съ его осужденіемъ и не одна неизбѣжность непривычной лжи нарушали полноту ихъ счастья. За ними скрывались еще болѣе опасные, еще болѣе непреодолимые подводные камни—отношенія къ несчастному сыну Анны и его отцу, особенно къ сыну, потому что Аннѣ онъ очень былъ дорогъ, а у Вронскаго онъ чаще былъ на глазахъ, чѣмъ самъ Каренинъ; и объ этомъ несчастномъ мальчикѣ имъ труднѣе было забыть, даже въ горячкѣ ихъ страсти, чѣмъ о жалкомъ, обманутомъ мужѣ. Самое мучительное было то, что мальчикъ инстинктивно чувствовалъ, что ихъ отношенія разрушили семью, которою онъ дышалъ и жилъ, недоумѣвая, какъ въ то же время мать можетъ быть довольна и счастлива этимъ ужаснымъ положеніемъ. Страдальческое недоумѣніе ребенка выражалось въ его робкомъ, испытующе-вопросительномъ, непріязненномъ взглядѣ, и этотъ невинный взглядъ говорилъ влюбленнымъ болѣе ужасныя вещи, чѣмъ осужденіе свѣта и чувство внѣшняго стыда отъ внѣшняго обмана. Онъ вызывалъ, особенно во Вронскомъ, то, казавшееся ему непонятнымъ и безпричиннымъ, чувство омерзѣнія, которое исходило отъ неяснаго голоса совѣсти, протестующей противъ неестественной смѣси любви съ преступленіемъ нравственнаго убійства. Убивалась чистота старой семьи и святыня младенческаго міра Сережи, и инстинктъ совѣсти предъ этимъ духовнымъ уродствомъ наполнялся чувствомъ омерзительно-безобразнаго, которое восторженная поэзія первой страсти могла мгновеніями заслонять, но не уничтожить.

Вся эта сложная, сильно волнующая путаница чувствъ, гдѣ такъ странно мѣшались восхищеніе и любовь со стыдомъ и горечью, особенно ярко выступаетъ въ сценѣ свиданія передъ скачками на дачѣ. Съ представленіемъ объ этой сценѣ такъ живо

рисуется въ воображеніи фигура Вронскаго, придерживающаго саблю, осторожно шагающаго по дорожкѣ сада къ террасѣ, думающаго лишь объ одномъ, что вотъ сейчасъ онъ увидитъ Анну, и, изъ-за счастья увидѣть ее живую, забывшаго всѣ горькія и злобой его волновавшія мысли объ отношеніи родныхъ и свѣта къ его любви. Кажется, такъ и видишь Вронскаго, слышишь ускоренный стукъ его сердца, бьющагося волненіемъ восторга и ожиданіемъ счастья. Видишь Анну живою, какъ она, одѣтая въ бѣлое платье, сидѣла, не слыша его, за цвѣтами въ углу террасы и, склонивъ свою чудную голову, прижала лобъ къ холодной лейкѣ и обѣими своими изваянными руками обнимала лейку. Намъ кажется, что не Вронскій, а мы остановились и съ восхищеніемъ смотримъ на ея неспособную приглядѣться красоту. Мы слышимъ, какъ Анна, почувствовавъ приближеніе Вронскаго, оттолкнула лейку и повернула къ нему свое разгоряченное лицо,—намъ кажется, что мы это не читали, что мы это видѣли сами, что это теперь совершается въ нашихъ глазахъ, и не хотимъ вѣрить, что есть зло, обманъ и несчастіе въ этой чудной картинѣ; намъ жаль думать, что есть хотя что-нибудь дурное въ этой благоухающей предъ нами поэзіи красоты и любви.

Передъ тѣмъ, какъ Анна повернула голову къ Вронскому, она думала все одну и ту же свою постоянную думу: она думала о своемъ счастіи и о своемъ несчастіи, теперь, когда она почувствовала въ себѣ зарожденіе новой жизни, вступившихъ въ еще болѣе твердыя и сложныя формы. Увидѣвъ Вронскаго и глядя на его счастливое, спокойное лицо, она не сразу рѣшилась сказать ему свою тайну, сознавая, что не проститъ ему, если онъ не пойметъ всего ея значенія, и чувствовала, какъ рука ея, игравшая сорваннымъ листомъ, дрожала все сильнѣе и больше. Она сказала, наконецъ, и Вронскій. услышавъ ея два маленькія слова, „поблѣднѣлъ, хотѣлъ что-то сказать, но остановился, выпустилъ ея руку и опустилъ голову. Да, онъ понялъ все значеніе этого событія,—подумала она, и благодарно пожала ему руку“. Но она ошиблась, полагая, что онъ понялъ извѣстіе такъ, какъ она его понимала. Его только охватило сильнѣе то знакомое чувство страннаго омерзѣнія, и онъ понялъ, что скрывать ихъ связь отъ мужа больше нельзя и надо выйти изъ этого неестественнаго положенія. Онъ рѣшительно высказалъ, что необходимо кончить ложь ихъ положенія: ей оставить мужа, объявивъ ему все, и соединить свою жизнь съ Вронскимъ навсегда. Онъ былъ

твердо увѣренъ, что теперь это неизбѣжно, и былъ пораженъ, услышавъ отъ Анны въ отвѣтъ одни слова недоумѣнія и недовѣрія. Онъ предлагалъ ей бѣжать съ нимъ, но она со злобой отвергла эту мысль о бѣгствѣ, которое должно было поставить ее открыто въ положеніе его любовницы и — съ возможностью чего она еще не могла примириться — погубить ея сына. Она не могла даже сказать этого Вронскому: инстинктъ говорилъ ей, что между сыномъ и Вронскимъ есть что-то исключающее другъ друга, что она не можетъ сказать Вронскому прямо, что не бѣжитъ съ нимъ только изъ-за сына, какъ сыну не могла разсказать о своей любви къ Вронскому. Она не могла отказаться ни отъ того, ни отъ другого. Она знала въ глубинѣ души, что это несогласимо, но она боялась думать о мгновеніи, когда ужасный выборъ изъ ожиданія сдѣлается фактомъ. Она хотѣла забыться и продлить неопредѣленное положеніе. Она удивляла Вронскаго злобой, проявлявшеюся въ ея голосѣ, когда онъ предлагалъ ей рѣшеніе, клонившееся къ оставленію сына, и она становилась нѣжна и задушевна, чтобъ удержать при себѣ Вронскаго. Въ его любви она видѣла еще пока съ избыткомъ вознаграждающее возмездіе за всю низость и ужасъ ея положенія.

Изъ-за восторга любви они забыли о своемъ положеніи. Но жизнь ихъ не забыла, и ея теченіе скоро разбило въ прахъ ихъ шаткій компромиссъ и приблизило для Анны трагическую развязку ея дилеммы. Еще въ тотъ же вечеръ, на скачкахъ, описаніе которыхъ принадлежитъ къ тѣмъ перламъ романа, въ оцѣнкѣ которыхъ сходятся всѣ, — еще въ тотъ самый вечеръ одно неожиданное, совсѣмъ, въ сущности, ничтожное происшествіе сняло маску съ Анны и заставило ее объясниться съ мужемъ. Вронскій упалъ съ лошади, сломалъ ей спину неловкимъ движеніемъ, и Аннѣ, съ ея мѣста, показалось, что Вронскій убитъ. Ея лицо, блѣдное и строгое еще тогда, когда она видѣла Вронскаго скачущимъ, было безсильно скрыть теперь ея отчаяніе. Она совершенно потерялась и стала биться какъ пойманная птица, а когда узнала, что ея отчаяніе было напрасно и Вронскій живъ и невредимъ, силы ее оставили, и она не могла удержать рыданій, подымавшихъ ея грудь. Пришло простое человѣческое чувство къ искренней Аннѣ—страхъ за жизнь любимаго человѣка, и мгновенно разбилась личина, которую она носила передъ свѣтомъ и ненавистнымъ ей мужемъ. Притворство было раскрыто, и длить долѣе обманъ, по крайней мѣрѣ передъ мужемъ, видѣвшимъ всю эту сцену,

было невозможно. Но не только невозможно,—и сама Анна была въ тотъ моментъ къ тому неспособна. Она вся полна была заботой о Вронскомъ, а видъ мужа въ каретѣ, его неискренній голосъ и замѣчаніе о неприличіи — все это ее перемогло, и она сама объявила ему о любви и отношеніяхъ своихъ къ Вронскому; несмотря на весь страхъ, она чувствовала неодолимую потребность признанія и прекращенія лжи.

Одна изъ самыхъ симпатичныхъ сторонъ таланта гр. Толстого, это—та, что люди, ихъ чувства и поступки выходятъ изъ-подъ его пера въ той самой пропорціи свѣта и тѣни, изъ которой слагается дѣйствительная жизнь. И теперь, раскрывая намъ душу Анны, когда она, на другой день послѣ скачекъ, проснувшись, подпадаетъ впервые отчаянію при мысли объ ожидающемъ ее позорѣ, когда ей кажется, что уже всѣ о немъ узнали, что сейчасъ придутъ выгонять ее изъ дома и ей некуда будетъ приклонить голову, и она боится взглянуть въ глаза сыну и даже прислугѣ, — гр. Толстой поражаетъ жизненностью своего правдиваго разсказа, чуждаго всякой ложной идеализаціи. Чувство униженія охватило Анну при мысли о томъ, чтобы предложить себя Вронскому, и она отвергла ее съ отвращеніемъ. Почва совсѣмъ исчезла подъ ея ногами, и она первый разъ въ жизни почувствовала, что внутренняя опора правоты и мѣрило добра и зла ее оставили. Она не знала сама, чего она боится и чего желаетъ. Не имѣя духа наказать провинившагося сына, она вышла на террасу, чтобы скрыть отъ него свои слезы, и тамъ, въ холодномъ и ясномъ осеннемъ воздухѣ, въ холодномъ солнцѣ, сквозившемъ сквозь обмытые, блистающіе листья колебавшихся отъ вѣтра осинъ, она поняла, что люди, такъ же какъ эта холодная и чистая природа, не простятъ ей ея преступленія. И опять въ душѣ ея внутренній ужасъ поколебалъ сознаніе и рѣшимость на то, что̀ теперь можно еще сдѣлать, чтобы спасти себя. Оставить мужа и Вронскаго, уѣхать съ сыномъ—одно это, она чувствовала, ей оставалось. Но неожиданное требованіе мужа, чтобы все наружно оставалось попрежнему, разрушило и эту послѣднюю опору. Думая объ этомъ, Анна неподвижно сидѣла и плакала: мечта ея объ опредѣленіи своего положенія казалась ей разрушенною навсегда. Она думала теперь, что все останется не только попрежнему, но даже хуже прежняго. Она сознавала, что ея положеніе въ свѣтѣ ей дорого и она не будетъ въ силахъ промѣнять его на позорное положеніе женщи-

ны, бросившей мужа и сына и соединившейся съ любовникомъ, что она никогда не испытаетъ свободной любви и навсегда останется преступною женой. Она потомъ переступила черезъ эти, казавшіяся ей теперь непреодолимыми, преграды для свободной любви, но внутренно инстинктъ ея не обманывалъ, и внутренно она не выходила изъ положенія любовницы, и ею погибла.

Вронскій тоже не былъ въ то время расположенъ къ энергическому выходу изъ ихъ тягостнаго положенія. Чаша униженія и первой страсти еще не была допита до конца, и послѣдняго толчка, который бы заставилъ ихъ забыть все кругомъ и убѣжать для одной любви, — этого толчка внѣшняя жизнь еще не давала, а внутри себя они его еще не находили. И Анна и Вронскій — оба не могли сразу покончить съ тѣми привычными интересами жизни, которые лежали въ сторонѣ отъ ихъ любви и удаляли ихъ другъ отъ друга. Анна еще не собралась съ духомъ оставить для Вронскаго свое положеніе въ свѣтѣ, а Вронскій, въ свою очередь, еще не настолько глубоко привязался къ Аннѣ, чтобы пожертвовать для нея всею своею карьерой, оставить Петербургъ и выйти изъ полка. Изображеніе всѣхъ ступеней послѣдовательнаго развитія страсти, которая преодолѣла и это внутреннее препятствіе, есть новая заслуга гр. Толстого, новое проявленіе его глубокаго знанія человѣческой души. Люди рѣдко знаютъ законы своей душевной природы; они всегда склонны думать, что все въ ихъ душѣ такъ же гладко и условно-просто, какъ въ ихъ умѣ: люди сходятся, влюбляются въ другихъ, расходятся съ прежними и соединяются съ новыми привязанностями,— коротко-де и ясно. Но глубокій психологъ говоритъ имъ: неправда, чувство вырастаетъ не сразу,—оно долго борется со множествомъ сложныхъ, враждебныхъ ему силъ и не сразу переходитъ въ дѣйствіе.

У Анны и Вронскаго этотъ моментъ еще не наступилъ, и потому ихъ объясненіе въ саду Вреде ничѣмъ не кончилось. Третье лицо, заинтересованное въ ихъ отношеніяхъ, тоже не желало никакой внѣшней перемѣны. Это былъ несчастный мужъ Анны, Алексѣй Александровичъ. Онъ все надѣялся, что страсть Анны пройдетъ, какъ все проходитъ на свѣтѣ, и въ сохраненіи внѣшней обстановки жизни Анны желалъ оставить ей золотой мостъ для будущаго внутренняго возвращенія въ семью мужа. Онъ требовалъ пока одного—сохраненія приличій и чтобы Вронскій не бывалъ

въ его домѣ. Но мы до сихъ поръ еще ничего не говорили о самомъ Каренинѣ, и теперь необходимо на него взглянуть, чтобъ опредѣлить его мѣсто въ романѣ Анны.

IV.

Можетъ-быть, для критики характеръ Каренина и значеніе его личности есть самое трудное мѣсто во всемъ романѣ гр. Толстого. Прежде всего потому, что сочувствіе читателя такъ явно на сторонѣ Анны, что образъ ненавистнаго ей мужа невольно рисуется ему въ несимпатичномъ тонѣ, и ему трудно не только быть справедливымъ, но и понять тѣ глубокія тайны человѣческаго сердца, которыя раскрылъ авторъ въ этомъ лицѣ, составляющемъ художественное созданіе еще болѣе высокой цѣнности, чѣмъ сама Анна. Но не только симпатіи читателя,—все вниманіе его направлено исключительно на Анну и лишь бѣгло скользитъ по кажущемуся безцвѣтнымъ и ничтожнымъ лицу ея мужа. Къ тому же, читатель—человѣкъ, и, какъ человѣкъ, онъ носитъ въ себѣ ту самую склонность холоднаго, презрительнаго и враждебнаго отношенія къ несчастью внѣшняго униженія и позора, которую такъ глубоко, такъ безпощадно-вѣрно представилъ гр. Толстой въ людяхъ, окружавшихъ Каренина,—и онъ также склоненъ осудить Каренина за его несчастье. Наконецъ, самая глубина авторскаго таланта мѣшаетъ отчасти читателю понять его созданіе: какъ это ни странно, но это—правда. Графъ Толстой слишкомъ глубоко проникъ во внутренній міръ этого лица, и его разнородныя черты, каждая отдѣльно, представлены такъ ярко, что съ перваго взгляда не можешь разглядѣть ихъ глубокой связи. Также мѣшаетъ и самый хронологическій порядокъ, въ которомъ развертывается предъ нами этотъ характеръ. Когда сначала увидишь оборотную сторону медали, то потомъ по лицевой скользишь глазами небрежно,—и не увидишь ни ея достоинствъ, ни ея связи съ другою стороной. Есть какая-то тайная связь между любовью и знаніемъ, и того, чего мы не любимъ, мы часто не желаемъ знать и потому не знаемъ.

Какъ ни странно думать, чтобы между молодою, красивою, полною страсти, жизни и искренности Анной и некрасивымъ, холоднымъ, безжизненнымъ и дѣланнымъ Каренинымъ могло быть какое-нибудь сходство,—тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что между ними была болѣе глубокая параллель, чѣмъ какую имъ могли дать

внѣшнія узы ихъ брака и совмѣстной жизни. Оба они чѣмъ-то пренебрегли въ своей жизни, и оба, въ неизбѣжное за то наказаніе, погибли. Оба они долгое время не знали самихъ себя и въ этомъ незнаніи совершили такія дѣйствія, которыя были неисправимы и потомъ привели ихъ къ гибели. Оба они увидѣли свою ошибку только тогда, когда для одной полная смерть, а для другого нравственная—были неизбѣжны. Оба они нарушили одинъ и тотъ же законъ человѣческой природы, близоруко и самоувѣренно его не замѣтивъ, и навлекли на себя бѣдствіе тѣхъ отрицательныхъ силъ, которыми этотъ законъ караетъ людей за каждое отъ него уклоненіе. Оба они, хотя и изъ разныхъ побужденій, пренебрегли чувствомъ и любовью, которая одна есть истинный источникъ жизни и жизнь, и потому не нашли себѣ въ ней мѣста и были ею отвергнуты.

Каренинъ, человѣкъ одного честолюбія, отвлеченной мысли, человѣкъ голой воли и голаго разсудка, по принципу своей натуры пренебрегалъ чувствомъ, котораго у него и отъ природы было такъ мало. Онъ былъ сухъ отъ природы, но его раннее сиротство, отсутствіе друзей и жизнь въ одной бюрократической сферѣ, жизнь одними интересами честолюбія, изсушили его еще больше. Онъ для идеи отвлеченнаго долга такъ систематически подавлялъ въ себѣ всякое проявленіе чувства, что даже случайное и невольное его выраженіе считалъ недостойною слабостью.

Можетъ-быть воспитаніе и служба, можетъ-быть природный флегматическій, холодный темпераментъ играли тутъ первую роль въ образованіи такого характера,—мы не знаемъ. Но въ романѣ онъ является уже сразу тѣмъ типическимъ образчикомъ петербургскаго бюрократа чистой крови,—человѣкомъ, у котораго все разсчитано по часамъ, и, несмотря на честность, благородство, образованіе, любознательность и серьезное отношеніе къ государственной дѣятельности, человѣкомъ, у котораго нѣтъ мѣста ни живой мысли, ни живому чувству и самая способность къ послѣднимъ въ немъ атрофирована. Это былъ человѣкъ съ большою волей и съ большимъ умомъ, но совсѣмъ безъ чувства, какъ его сухопарое и хрящеватое тѣло съ большими костями и жилами, но безъ мускуловъ и крови, какъ его большіе глаза съ ихъ упорнымъ, но усталымъ и безжизненнымъ выраженіемъ. Онъ жилъ въ своемъ воображаемомъ бумажномъ мірѣ и, самъ теряя свой небольшой запасъ чувства, постепенно утратилъ способность понимать это чувство въ другихъ, и потому все удалялся отъ настоящей жизни.

Онъ до сихъ поръ не признавалъ главнаго двигателя дѣйствительной жизни—чувства; и когда онъ неожиданно столкнулся съ его требованіями, онъ былъ застигнутъ врасплохъ и навсегда потерялъ равновѣсіе. И теперь, желая предостеречь Анну, онъ находилъ, однако, что вопросы о ея чувствахъ—не его дѣло: они касаются одной ея совѣсти, и потому не входятъ въ составъ ихъ общихъ семейныхъ интересовъ, а принадлежатъ вѣдомству религіи,—и сейчасъ же почувствовалъ облегченіе при сознаніи, что найденъ тотъ пунктъ узаконеній, которому подлежало возникшее обстоятельство. Онъ не находилъ въ себѣ въ этотъ моментъ усиленнаго прилива чувства, которое одно могло бы удержать и спасти Анну; онъ только составилъ отвлеченную теорію логическихъ аргументацій, которыя не могли оказать на Анну никакого живого дѣйствія. Когда онъ, развивая ей свои доказательства, случайно сказалъ: „Я мужъ твой и люблю тебя“,—Анна подумала, что ея мужъ не можетъ любить и не знаетъ, что̀ такое любовь, и это было самымъ сильнымъ опроверженіемъ всей его искусственной аргументаціи.

По мѣрѣ сближенія Анны съ Вронскимъ, Каренинъ начиналъ понимать, что только добротой и нѣжностью, т. е. только проявленіемъ и вліяніемъ *чувства,* можно ее спасти; но каждая попытка его въ этомъ родѣ кончалась неудачей въ самомъ началѣ, потому что онъ не находилъ въ себѣ ни самаго чувства, ни умѣнья его выразить.

Анна отдалась Вронскому, и Каренинъ инстинктомъ чувствовалъ, что жены у него нѣтъ болѣе. Но умомъ онъ не хотѣлъ признавать того, потому что оно было слишкомъ страшно. „И онъ въ душѣ своей закрылъ, заперъ и запечаталъ тотъ ящикъ, въ которомъ находились его чувства къ семьѣ, т. е. къ женѣ и сыну. Эти чувства и мысли о нихъ становились тѣмъ страшнѣе, чѣмъ дольше они тамъ лежали. Онъ не позволялъ себѣ думать о поведеніи жены, и не думалъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ въ глубинѣ своей души, никогда не высказывая этого самому себѣ и не имѣя на то никакихъ не только доказательствъ, но и подозрѣній, зналъ несомнѣнно, что онъ былъ обманутый мужъ, и былъ отъ того глубоко несчастливъ“. Именно потому, что онъ былъ раздавленъ, онъ, когда его спрашивали о женѣ, имѣлъ въ выраженіи лица что-то гордое и строгое. Пріѣхавъ къ женѣ на дачу и слушая ея неискренне-простой тонъ, Алексѣй Александровичъ теперь не приписывалъ ея тону никакого значенія. „Онъ слышалъ только ея

слова и придавалъ имъ только тотъ прямой смыслъ, который они имѣли".

Услышавъ отъ плачущей Анны о ея невѣрности, Каренинъ долго молчалъ, съ выраженіемъ на лицѣ торжественной неподвижности мертваго, и только подъѣзжая къ дому онъ сказалъ Аннѣ, что требуетъ соблюденія внѣшнихъ условій приличія до тѣхъ поръ, пока онъ приметъ и сообщитъ ей мѣры, обезпечивающія его честь.

Если бъ Алексѣй Александровичъ обладалъ хотя малѣйшею способностью чувства или любилъ бы Анну живою любовью, а не простою привычкой продолжительныхъ отношеній, онъ бы убилъ Анну или Вронскаго или что-нибудь другое сдѣлалъ бы—разошелся бы съ женой, вызвалъ бы ея любовника,—но никакъ не то, что̀ онъ сдѣлалъ въ дѣйствительности. Онъ только разсуждалъ, и эти разсужденія его поражаютъ своимъ безчувствіемъ и эгоизмомъ. Для всякаго человѣка въ положеніи Каренина нѣтъ выхода, т. е. выхода хорошаго. Но одинъ чувствуетъ отчаяніе разбитой любви или ревности, заботится о томъ, чтобы какъ-нибудь покончить съ этимъ мученіемъ чувства, и здѣсь ищетъ выхода; другой же, какъ Каренинъ, страдаетъ болѣе внѣшнимъ самолюбіемъ и думаетъ лишь о томъ, какъ соблюсти свои выгоды, чтобы не потерять внѣшняго своего положенія. И потому Каренинъ не могъ остановиться ни на одномъ изъ представлявшихся ему радикальныхъ выходовъ изъ его положенія. Онъ отвергъ дуэль, потому что боялся быть убитымъ или раненымъ,—онъ былъ способенъ бояться за свою жизнь и здоровье въ этомъ положеніи. Онъ отказался и отъ мысли о разводѣ, сопряженномъ со скандаломъ, который неизбѣжно поколебалъ бы его высокое положеніе въ свѣтѣ и государствѣ,—онъ былъ способенъ предпочесть внѣшній почетъ своего положенія внутреннему своему достоинству. И онъ остановился на сохраненіи внѣшняго statu-quo, подъ условіемъ прекращенія для Анны отношеній съ любовникомъ, при чемъ удовлетворялось единственное живое—злобное, но все-таки живое—желаніе мести женѣ, желаніе, чтобы она, лишивъ мужа его спокойствія и чести, сама пострадала и не воспользовалась плодами своего преступленія. Въ отношеніи Алексѣя Александровича къ этому дѣлу не было ничего религіознаго; но мысль, что, не отпуская преступную жену, онъ тѣмъ поступаетъ религіозно, якобы давая ей возможность исправленія, была для него очень пріятна, и эта неискренняя, выдуманная санкція давала ему успокоеніе и удовлетвореніе. „Ему радостно было думать, что и въ столь важномъ жизненномъ дѣлѣ

никто не въ состояніи будетъ сказать. что онъ не поступилъ сообразно съ правилами той религіи, *которой знамя онъ всегда держалъ высоко среди общаго охлажденія и равнодушія*". Онъ нашелъ статью циркуляра и облекъ ее въ красивую фразу. И онъ написалъ женѣ гладкое французское письмо, гдѣ не говорилось о дѣйствительныхъ его, такихъ мелкихъ, побужденіяхъ, но были красивыя слова о невозможности разрыва узъ, связанныхъ властью свыше, и говорилось о раскаяніи и деньгахъ. И онъ отдалъ письмо, довольный и слогомъ его, и рѣшеніемъ своимъ, и употребленіемъ своихъ красивыхъ и удобныхъ письменныхъ принадлежностей, и сталъ думать о государственныхъ дѣлахъ.

Но стоило Алексѣю Александровичу увидѣть Анну, чтобъ его искусственная высота и напускное равнодушіе разлетѣлись какъ дымъ, и чтобы сознаніе того, что онъ въ конецъ раздавленъ, охватило его снова.

Положеніе, придуманное Каренинымъ и молчаливо принятое Анной и Вронскимъ, было, однако, слишкомъ искусственно, и они скоро всѣ трое это почувствовали и всѣ, но каждый изъ различныхъ побужденій, стали стремиться изъ него выйти. Та стрѣлка часовъ, которая тогда, во время свиданія въ саду Вреде, еще не дошла до своего мѣста, теперь придвинулась, и часы стали бить. Анна забыла о свѣтѣ и отдалась Вронскому вся. Вронскій забылъ о своемъ честолюбіи и, увлекаясь увлеченіемъ Анны, привязывался къ ней все сильнѣе и глубже. Каренинъ, тщетно стараясь зарыться въ служебныхъ занятіяхъ, все глубже чувствовалъ свое несчастье и терялъ способность удовлетворяться своимъ дѣланнымъ величіемъ. Всѣ трое страдали и инстинктивно ждали перваго внѣшняго толчка, который бы расторгъ ихъ неестественную связь. Толчкомъ этимъ оказалась случайная встрѣча Вронскаго съ Каренинымъ въ его домѣ, когда Вронскій шелъ къ Аннѣ, больной и несчастной отъ недѣли разлуки съ нимъ. Анна недѣлю не видала Вронскаго, тосковала по немъ и ревновала его къ той непонятной для нея жизни, которую онъ велъ отдѣльно отъ нея.

„Эти припадки ревности, въ послѣднее время все чаще и чаще находившіе на нее, ужасали его и, какъ онъ ни старался скрывать это, охлаждали его къ ней, несмотря на то, что онъ зналъ, что причина ревности была любовь къ нему. Сколько разъ онъ говорилъ себѣ, что ея любовь была счастье; и вотъ она любила его, какъ можетъ любить женщина, для которой любовь перевѣсила всѣ блага въ жизни,—и онъ былъ гораздо дальше отъ счастья, чѣмъ

когда онъ поѣхалъ за ней изъ Москвы. Тогда онъ считалъ себя несчастливымъ, но счастье было впереди; теперь же онъ чувствовалъ, что лучшее счастье было уже назади. Она была совсѣмъ не та, какою онъ видѣлъ ее первое время; и нравственно и физически она измѣнилась къ худшему... *Онъ смотрѣлъ на нее, какъ смотритъ человѣкъ на сорванный имъ и завядшій цвѣтокъ, въ которомъ онъ съ трудомъ узнаетъ красоту, за которую онъ сорвалъ и погубилъ его.* И, несмотря на то, онъ чувствовалъ, что тогда, когда любовь его была сильнѣе, онъ могъ, если бы сильно захотѣлъ этого, вырвать эту любовь изъ своего сердца; но теперь, когда, какъ въ эту минуту, ему казалось, что онъ не чувствовалъ любви къ ней, онъ зналъ, что связь его съ нею не можетъ быть разорвана".

Страстность въ чувствѣ Вронскаго къ Аннѣ ослабѣвала, но нравственная связь его съ нею возросла. И оба они сильно чувствовали потребность полнаго соединенія. А Каренинъ, думая, что сердится на Анну за нарушеніе ею его требованія—не принимать любовника въ домѣ мужа, въ дѣйствительности радовался случаю, чтобы покончить съ Анной и воспользоваться поводомъ къ разводу. Въ той отвратительно-правдивой сценѣ, когда Каренинъ объявилъ о томъ женѣ, оба они глубоко чувствовали свое обоюдное униженіе. Чаша униженія переполнилась, и они должны были разстаться. Но когда къ этому сдѣланъ былъ, казалось, послѣдній шагъ, дѣло неожиданно вдругъ и совершенно измѣнилось. Алексѣй Александровичъ уже поручилъ дѣло адвокату и былъ въ Москвѣ, чтобы болѣе не возвращаться въ домъ жены, какъ вдругъ все перевернулось. Анна лежала при смерти въ родильной горячкѣ и звала къ себѣ мужа, умоляя его о прощеніи.

Сцена между Каренинымъ, Вронскимъ и Анной, лежащей въ горячечномъ бреду, быть-можетъ, самая лучшая во всемъ романѣ. Но она такъ неожиданна, ея идея такъ глубока и возвышенна, что возбудила въ критикѣ смѣшанное впечатлѣніе. Никто не могъ пройти мимо этой сцены равнодушно; всѣ чувствовали инстинктивно, что здѣсь есть что-то превышающее обыденный тонъ, и испытали строгое впечатлѣніе возвышенности и душевнаго умиленія. Но именно потому, что въ ней неожиданно выступали лучшія, драгоцѣннѣйшія, рѣдкія по высотѣ движенія человѣческаго сердца, они, неотразимо волнуя всѣхъ, не могли удовлетворить у каждаго его отвлеченныхъ требованій разсудка. И это совершенно понятно.

Мы всѣ—и религіозные и нерелигіозные люди — мы всѣ очень много толкуемъ о христіанствѣ, о человѣческомъ достоинствѣ, а въ глубинѣ души мы всѣ матеріалисты. Звѣрь еще слишкомъ крѣпко сидитъ въ насъ, и мы, употребляя идеальныя термины, какъ монету, назначенную для службы нашимъ ежедневнымъ потребностямъ, въ глубинѣ души не расположены придавать нашимъ идеаламъ значенія безусловнаго и не вѣримъ въ конечное ихъ торжество надъ отрицательною стороной человѣческой природы. И, когда случайно встрѣтимъ это, всегда новое для насъ, зрѣлище безусловнаго торжества добра надъ зломъ, мы бываемъ поражены и долго стоимъ передъ нимъ въ недоумѣніи и недовѣріи, чувствуя какую-то неловкость — неловкость послѣдовательности его тому, что̀ мы привыкли видѣть каждый день и на каждомъ мѣстѣ.

Такъ же и здѣсь. До сихъ поръ мы шагъ за шагомъ слѣдили съ невольнымъ сочувствіемъ, какъ въ Аннѣ развивалась и возрастала любовь къ Вронскому и съ нею одновременно ненависть къ мужу. И вдругъ мы видимъ, какъ глаза Анны смотрятъ на мужа съ такою умиленною и восторженною нѣжностью, какой мы за нею не знали; и вдругъ мы видимъ, какъ она, обнимая плѣшивую голову мужа, съ вызывающею гордостью поднимаетъ вверхъ свои сіяющіе взглядомъ глаза; и хотя мы потрясены и взволнованы, но мы говоримъ, что это невозможно. Мы привыкли видѣть Алексѣя Александровича человѣкомъ черствымъ, бездушнымъ, безсердечнымъ: наше чувство къ нему послѣдовательно смѣняло антипатію, брезгливость и отвращеніе. И вдругъ мы видимъ его полнымъ радостнаго чувства любви и прощенія къ врагамъ, видимъ рыдающимъ отъ этого новаго, никогда имъ не испытаннаго, высшаго счастья души. Мы неожиданно, но явственно слышимъ тихій, отъ полнаго чувства, голосъ Каренина, когда онъ говоритъ Вронскому, что счастье прощенія открыло ему его обязанность, что, хотя бы его затоптали въ грязь и сдѣлали посмѣшищемъ свѣта, онъ не оставитъ Анны и словомъ не упрекнетъ своего врага. И насъ трогаютъ слезы Каренина; взглядъ его глазъ, прежде всегда упорно холодныхъ и тусклыхъ, теперь свѣтлыхъ отъ полнаго, высшаго покоя души, вызываетъ въ насъ высокое и строгое чувство. Мы глубоко тронуты, но это слишкомъ противорѣчитъ нашему привычному чувству, и мы не сразу хотимъ вѣрить, не сразу можемъ понять. Намъ кажется, что авторъ произвольно приписалъ своимъ лицамъ чувства, совсѣмъ имъ несвойственныя, недоступныя имъ и также нашему міровоззрѣнію.

Въ дѣйствительности же это — глубочайшая правда, такая правда, что если бъ ея не было, то человѣку совсѣмъ не стоило бы жить на свѣтѣ. Если бъ онъ не могъ, хотя бы порою, хотя на мгновеніе, подниматься на высоту истиннаго добра, съ которой можно смотрѣть на жизнь съ безусловною и цѣльною вѣрой, его повседневное рабство инстинктамъ своей чувственной природы и тому жалкому компромиссу, который мы называемъ житейскою нравственностью, дѣлало бы жизнь слишкомъ невыносимо-ничтожною. И если ни Каренинъ, ни Анна и никто другой не могли и не могутъ удержаться на такой высотѣ навсегда, то все же она существуетъ, и ея присутствіе, хотя бы на кратчайшее мгновеніе и хотя бы въ одномъ человѣкѣ, непосредственно даетъ намъ всѣмъ абсолютный критерій и абсолютную цѣль.

Если внимательно прослѣдить исторію Анны до этого смертельнаго кризиса, то окажется, что инстинктивное чувство правоты мужа,—той особенной правоты, которая не зависѣла ни отъ его недостатковъ или достоинствъ, ни отъ его характера, ни даже отъ его отношенія къ Аннѣ, — правоты, заключавшейся въ томъ, что онъ былъ человѣкъ, изъ какихъ побужденій—все равно, но отдавшій ей въ руки *безвозвратно* свою честь и душевный покой, — это неясное, но несомнѣнное Аннѣ чувство *такой* правоты ея мужа вполнѣ никогда ея не покидало.

Оно сказывалось давно, еще въ томъ неясномъ для Анны чувствѣ виновности, за которое отвѣтственность она взводила на Вронскаго и которое исходило изъ нея самой. Оно проявлялось въ той возбужденной способности лжи и напускной натуральности, въ которую она инстинктивно рядилась, чтобъ успѣшно обманывать мужа. Сознаніе правоты мужа, какъ мужа, говорило въ ней ясно для нашего слуха, когда она, во время свиданія съ Вронскимъ на дачѣ передъ скачками, вспомнила Алексѣя Александровича „со всѣми подробностями его фигуры, манеры говорить, и въ вину ставя ему все, что только она могла найти въ немъ нехорошаго, *не прощая ему ничего за ту страшную вину, которою она была передъ нимъ виновата*“. Но сильнѣе всего возвышался голосъ этого сознанія въ Аннѣ тогда, когда она, негодуя на терпимость мужа, признавалась себѣ и даже Вронскому, что если бы мужъ убилъ ее или ихъ обоихъ, она бы перенесла не сопротивляясь и все бы простила. „О,—говорила Анна,—если бъ я была на его мѣстѣ, я бы давно убила, я бы разорвала на куски эту жену — такую какъ я!“ И именно за то, что мужъ не убивалъ

ея, не пользовался этимъ правомъ, которое, будто бы, имѣлъ, по мнѣнію Анны, за то, что онъ, наоборотъ, говорилъ ей: ты, ma chère, Анна, — за *это именно* она всегда сильнѣе ненавидѣла мужа. Она ненавидѣла его всего больше за то, что она передъ нимъ была неправа, за то, что онъ не поступаетъ съ нею согласно тому праву, какимъ, она думала, она его облекла, за то, что онъ былъ правъ передъ нею другимъ, лучшимъ правомъ, которое она чувствовала себя безсильною у него отнять.

Пока она была здорова, ея страсть къ Вронскому царила въ ней надъ всѣмъ и мѣшала ей прислушаться къ неясному голосу этого инстинктивнаго сознанія. Но когда она умирала и тѣло ея лежало безсильнымъ, душа ея, въ виду смерти, смягчилась, и тотъ, прежде неопредѣленный, голосъ вышелъ изъ своей глубины и заговорилъ съ такою силой и красотой, что она перенесла ихъ на прежде ненавистный ей образъ мужа, и въ эти мгновенія любила его тою высокою и чистою любовью, какую могла найти только въ предсмертномъ идеальномъ порывѣ. И свѣтъ этого чистаго порыва растопилъ прежде сухое и долго ожесточавшееся сердце Каренина, и онъ стоялъ передъ нею на колѣняхъ и рыдалъ какъ дитя, чувствуя неожиданно смягченною душой, „что то самое, что̀ было источникомъ его страданій, стало источникомъ его духовной радости,—то, что̀ казалось неразрѣшимымъ, когда онъ осуждалъ, упрекалъ и ненавидѣлъ, стало просто и легко, когда онъ прощалъ и любилъ“.

Чувство, поднявшее Анну и мужа ея на такую высоту, тѣмъ самымъ должно было унизить Вронскаго до послѣднихъ предѣловъ. Состояніе человѣка, вдругъ низвергнутаго съ своего лживаго пьедестала, потерявшаго подъ собою послѣднюю почву, тяжко страдающаго и близкаго къ умопомѣшательству и самоубійству, передано гр. Толстымъ неподражаемо.

Но навсегда остаться на такой высотѣ нравственнаго чувства человѣку невозможно. Если бы даже онъ самъ всею душой желалъ сохранить ее, то ему помѣшаютъ другіе и насильственно ее уничтожатъ. Прежде всего ее оставила Анна. Какъ только прошло въ ней размягченіе, созданное близостью смерти, всѣ прежнія чувства къ ней возвратились, она снова стала стремиться къ Вронскому, снова стала тяготиться мужемъ, бояться его и ненавидѣть. Почему же все это къ ней возвратилось? Не потому ли, что она менѣе кого-либо по натурѣ своей была характеромъ духовнымъ, не потому ли, что, когда это прелестное существо

снова вернулось къ землѣ, отнять его отъ земли стало опять невозможно?

Но и Алексѣй Александровичъ также не могъ долго оставаться на высотѣ исключительно духовнаго чувства. Онъ проводилъ часы и дни надъ чужимъ ему, безпомощнымъ ребенкомъ, и чувство состраданія и любви къ этой заброшенной, слабенькой дѣвочкѣ, когда онъ смотрѣлъ на ея спящее лицо, впервые наполняло его душу прежде ему невѣдомымъ міромъ. Онъ не зналъ, что уже извнѣ собралась и давно стоитъ наготовѣ та грубая сила, которая, противъ его воли, безъ жалости, со злобой и смѣхомъ, разрушитъ его новое счастье. Бетси и все это свѣтское общество смотрѣло на его положеніе совершенно иначе. Ему не было дѣла до души, до прощенія, до духовнаго счастья; оно испытывало неудержимую радость отъ новой забавы его праздному вниманію, — отъ того, казавшагося ему послѣднею степенью ridicul зрѣлища, что министръ Россіи няньчитъ на своихъ рукахъ ребенка, завѣдомо ему рожденнаго женой отъ ея любовника. И оно ворвалось въ святилище простившаго оскорбленіе мужа, и уничтожило его, и надругалось надъ нимъ.

Какъ прежде Вронскому, такъ теперь обманутому имъ мужу оно говорило: ты нашъ, не смѣй любить, прощать и подниматься душой на невѣдомую намъ высоту.

Но такова была животворная сила истиннаго чувства въ этомъ несчастномъ человѣкѣ, что даже разлагавшій духъ окружавшей его атмосферы не могъ сразу ее побѣдить. Она долго боролась, и долго Каренинъ въ полнотѣ любви былъ готовъ принять на себя весь позоръ и униженіе развода лишь для того, чтобы дать Аннѣ свободу. И Анна понимала это и цѣнила, какъ ни постылымъ былъ ей этотъ великодушный человѣкъ. Она отказалась наотрѣзъ отъ развода. Но и съ мужемъ она не осталась. Благородная Бетси свела ее съ Вронскимъ, и они, въ восторгѣ свиданья, напряженномъ сильнѣе отъ ужаса ихъ положенія, забыли все кругомъ и уѣхали туда, гдѣ, они думали, это страстное забвеніе жизни будетъ продолжаться всегда.

V.

И вотъ они, наконецъ, очутились на свободѣ. Оставивъ позади мужа, свѣтъ, все, что отравляло ихъ чувство, они, въ самой поэ-

тической обстановкѣ, въ Италіи, въ классической странѣ любви и страсти, были наединѣ съ тѣмъ, что куплено было ими такою дорогою цѣной. Но достигли ли они и теперь своей главной цѣли, были ли они счастливы?

Анна первое время, дѣйствительно, была вполнѣ и безусловно счастлива. Полное и свободное обладаніе Вронскимъ давало ей чувство непростительнаго счастья и жизненной радости, за которымъ она не могла помнить зла, причиненнаго мужу, и горя разлуки съ своимъ милымъ сыномъ. Утопая, она оттолкнула вцѣпившагося въ нее человѣка и тѣмъ погубила его. Но страшная и отвратительная его смерть была ея спасеніемъ, и она старалась подавить въ своей памяти эту ужасную картину, чтобъ имѣть силы радоваться тому, что сама она живетъ еще на свѣтѣ. Къ тому же, мысль, что она, отказавшись добровольно отъ развода, сама лишила себя имени и сына, сама наложила на себя возмездіе позора и разлуки, какъ бы утоляла ея инстинктъ справедливости. Дочь была съ нею, и разлука съ сыномъ была сначала легка. Одно было пятнышко на ея безоблачномъ небѣ: эта напряженность вниманія къ ней Вронскаго, эта атмосфера заботъ, которою онъ окружалъ ее, своею исключительностью ее иногда тяготили. Но все же Анна была счастлива.

Если Анна, женщина, отдавшая все своей любви, чувствовала легкое стѣсненіе отъ ея исключительности для свободы другихъ ея потребностей жизни, забытыхъ на время, то Вронскій, мужчина съ болѣе активными стремленіями, испытывалъ это стѣсненіе своей мужской свободы гораздо сильнѣе: онъ страдалъ отъ него. И это мѣшало его счастью съ Анной.

Въ душѣ Вронскаго поднялась тоска — неудовлетворенное желаніе желаній, и онъ инстинктивно хватался за каждый случайный капризъ, картины, книги, политику, принимая ихъ за цѣль для своей жажды дѣятельности.

И вотъ снова сомкнулся надъ ними тотъ заколдованный кругъ, который они, казалось, только-что раздвинули отчаяннымъ усиліемъ бѣгства. Они убѣжали туда, въ Италію, для свободы и любви и, дѣйствительно, сначала какъ будто нашли ее. Но, найдя ее, они потеряли другую свободу—свободу остальной жизни. И такъ какъ они хотя и пламенно любили другъ друга, но все же оставались людьми и, какъ люди, нуждались въ дѣятельности, обществѣ, родинѣ, то они не могли удовлетворяться исключительностью своей любви, стали скучать и вернулись на родину. Имъ надоѣло

плавать на маленькомъ искусственномъ озерѣ; но когда они вернулись въ родную стихію, то тамъ холодныя волны общественной вражды и бури созданнаго ими несчастья другимъ и стѣсненія собственной свободы размыли ихъ чувство и унесли съ собою послѣднія цѣли ихъ жизни,—и не только ихъ, но и того несчастнаго человѣка, интересы котораго были имъ главнымъ препятствіемъ. И еще одно существо они загубили — сына, Сережу, разрушивъ и осквернивъ его нѣжный младенческій міръ.

Алексѣй Александровичъ „никакъ не могъ примирить свое недавнее прощеніе, свое умиленіе, свою любовь къ больной женѣ и чужому ребенку, съ тѣмъ... что, какъ бы въ награду за все это, онъ теперь очутился одинъ, опозоренный, осмѣянный, никому ненужный и всѣми презираемый. Онъ чувствовалъ, что не можетъ отвратить отъ себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходитъ не отъ того, что онъ былъ дуренъ (тогда бы онъ могъ стараться быть лучше), но отъ того, что онъ постыдно и отвратительно несчастливъ. Онъ зналъ, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будутъ безжалостны къ нему. Онъ чувствовалъ, что люди уничтожатъ его, какъ собаки задушатъ истерзанную, визжащую отъ боли собаку. Онъ зналъ, что единственное спасеніе отъ людей—скрыть свои раны, и онъ это безсознательно пытался дѣлать, но почувствовалъ себя не въ силахъ продолжать эту неравную борьбу. Отчаяніе его еще усиливалось сознаніемъ, что онъ былъ совершенно одинокъ съ своимъ горемъ“. У него много было людей, связанныхъ съ нимъ служебными интересами, но личныхъ друзей у него не было. У него не было утѣшенія въ дружбѣ, которою онъ, такъ же какъ и всею областью чувства, ненадлежаще пренебрегъ. Онъ самъ этимъ лишилъ себя твердой почвы въ прочныхъ привязанностяхъ и ихъ опоры въ несчастіи и горѣ. Теперь онъ жалѣлъ объ этомъ, но уже было поздно, и попытки его завязать съ людьми подобныя дружескимъ сношенія были безуспѣшны. Онъ могъ сойтись только съ восторженною и мечтательною Лидіей Ивановной, и она увлекла его въ свой мистическій міръ — жалкую фешенебельную пародію истиннаго христіанства. Но успокоеніе, которое онъ находилъ въ мистицизмѣ, лучше всего доказывало, что это были уже развалины человѣка, которымъ уже не суждено было собраться и возродиться. Алексѣй Александровичъ не застрѣлился, не сошелъ съ ума,—онъ продолжалъ жить; но внутренняя его жизнь прекратилась: нравственно онъ умеръ, и это прежде всего отразилось въ той области,

ради которой онъ приносилъ всегда въ жертву свои душевные интересы,—прекратилось его служебное движеніе.

Страшно видѣть смерть человѣка, но еще страшнѣе видѣть нравственную смерть,—ту смерть, когда тѣло такъ отвратительно продолжаетъ ходить, двигаться и вести свою механическую жизнь, а души уже нѣтъ въ этомъ безжизненно-живомъ, никому ненужномъ болѣе существѣ. Но несравненно ужаснѣе всякой смерти отношеніе другихъ живыхъ людей къ тому безвыходному несчастью, которое создаетъ нравственную смерть. Это отношеніе показываетъ всю глубину зла въ человѣческой природѣ и ясно рисуетъ, что тысячелѣтія исторіи, культуры и религіи не искоренили въ ней звѣря. За рѣдкими исключеніями, люди склонны сочувствовать тѣлеснымъ страданіямъ другъ друга гораздо чаще, чѣмъ душевнымъ. Душевное горе, особенно душевное пораженіе несчастьемъ, они не прощаютъ никому. Въ ихъ натурѣ гораздо болѣе не помочь, не вылѣчить душевную рану, а добить израненнаго въ конецъ, придушить, чтобъ онъ не стоналъ тутъ передъ ихъ глазами.

Вронскій и Анна возвратились въ Россію, и тотчасъ же свобода ихъ жизни, а потому и обоюдной любви, была отравлена вліяніемъ свѣта и отношеніями Анны къ первому сыну. Свѣтъ не хотѣлъ признать этой связи. Благородная Бетси, сама прежде сводившая Вронскаго съ Анной, теперь не хотѣла принять Анну у себя. Также и родные Вронскаго и весь остальной свѣтъ. Это раздражало обоихъ, но для Анны еще тяжелѣе было быть въ одномъ городѣ съ сыномъ и не видѣть его. Она, мать своего сына, должна была хитрить и лукавить, чтобъ увидѣть его на нѣсколько минутъ. Сцену свиданія Анны съ Сережей нельзя читать иначе, какъ съ глубоко потрясенною душой.

Мальчика увѣряли, что его мать умерла, но онъ не вѣрилъ и все ждалъ ея возвращенія, глубиной своей дѣтской вѣры въ мать будучи убѣжденнымъ, что она не оставила его навсегда, и по цѣлымъ днямъ мечталъ о ней. Любимыя мечты о матери мѣшали ему слушать учителя; засыпая, онъ молился, чтобы пришла къ нему мать, слышалъ и чувствовалъ ее, какъ она стояла надъ нимъ и ласкала его любовнымъ взглядомъ. Въ смерть любимой матери онъ совсѣмъ не вѣрилъ, и это у него такъ уморительно-трогательно соединялось съ библейскимъ преданіемъ объ Енохѣ, взятомъ живымъ на небо. Еще меньше онъ могъ вѣрить, что она дурная. И когда мать дѣйствительно пришла къ нему, онъ не удивился и счелъ это совершенно натуральнымъ. Онъ даже не проснулся какъ

слѣдуетъ, когда она обняла его: ему отрадно было не просыпаться въ ея рукахъ, и онъ двигался подъ ея руками, чтобы разными мѣстами тѣла касаться ея рукъ, и обдавалъ ее тѣмъ дѣтскимъ милымъ соннымъ запахомъ и теплотой, и терся лицомъ объ ея шею и плечи. Что должна была чувствовать эта несчастная женщина, видя, съ какимъ безусловнымъ довѣріемъ и лаской лежалъ въ ея объятіяхъ сынъ, и думая, что сейчасъ, черезъ пять минутъ, она отравитъ его сладкую вѣру, наполнитъ его тоской, невѣріемъ въ любовь и добро, которыя изсушатъ его сердце? Она должна была чувствовать это даже за мучительною радостью свиданья, за горькимъ отчаяніемъ немедленной разлуки. Инстинктивное чувство должно было говорить ей, что она—преступница. Его восхищеніе при видѣ нѣжности няни къ матери, его сіяющіе глаза, когда онъ, держась за нихъ обѣихъ, топоталъ ножками отъ восторга, его невѣріе, чтобы мать была въ чемъ-нибудь виновата, его молчаливый вопросъ объ отцѣ, его жалость къ страданію матери и отчаяніе, съ которымъ онъ закричалъ, что лучше ея для него нѣтъ никого, и съ какимъ онъ прижималъ ее къ себѣ дрожащими отъ напряженія руками, когда она должна была уйти,—они говорили ей несомнѣнно, что относительно этого прелестнаго несчастнаго ребенка она совершаетъ не только преступленіе, но и послѣдней степени жестокость.

Сынъ былъ погубленъ въ жизни и потерянъ для Анны. Но выгодно ли это было для чувства Анны къ тому человѣку, ради котораго она пожертвовала сыномъ? И тутъ гр. Толстой провелъ новое глубокое наблюденіе, не доступное пониманію тѣхъ, кто къ труднѣйшему вопросу о свободѣ чувства относится съ тѣми же пріемами рѣшенія, какъ къ ариѳметической задачѣ. Анна инстинктивно негодовала на того, кто былъ внѣшнею цѣлью ея жертвы, негодовала тѣмъ болѣе, что знала, что Вронскій никогда всей цѣны этой жертвы не пойметъ. Она негодовала, и къ любви ея примѣшалась новая жестокая черта озлобленнаго разочарованія въ самыхъ дорогихъ надеждахъ. Но негодованіе не уменьшало въ ней любви къ Вронскому. Напротивъ, ея утверждавшееся въ исключительности чувство къ нему стало еще напряженнѣе, оно все стало тою страстною и горькою нѣжностью, съ какою мы обыкновенно любимъ тѣхъ, кто насъ не понимаетъ и, мы знаемъ, никогда не пойметъ.

Но съ еще болѣе поразительнымъ ясновидѣніемъ прослѣдилъ гр. Толстой то неуловимое вліяніе, какое имѣло на Анну отноше-

ніе свѣта къ ея связи. Свѣтъ холодно и грубо отвергъ ее, и Анна, изъ упрямства, оскорбленія и ненависти, выставила свою связь открыто, бросая перчатку мнѣнію свѣта, и свое положеніе любовницы возвела, такъ сказать, въ принципъ, съ внѣшнею гордостью и внутреннимъ отчаяніемъ выставивъ всѣмъ свое единственное послѣ утраты достоинства женственности оружіе—свою неотразимую, теперь такую жестокую красоту.

Но эта исключительность, эта невознаградимая горечь нѣжности, эта жестокость и нагота знамени любовницы должны были охлаждать къ ней любовь во Вронскомъ, и самая исключительность и напряженность средствъ исключали возможность достиженія единственной оставшейся ей цѣли—сохраненія любви къ себѣ Вронскаго. Она потеряла сына, порвала со свѣтомъ и вся отдалась Вронскому.

Проклятіе, тяготѣвшее надъ этими людьми, поставившими себя въ жизненно-ложное положеніе, преслѣдовало ихъ вездѣ. Они никуда не могли отъ него убѣжать. За границей имъ было скучно. Въ Петербургѣ, въ свѣтѣ, имъ было невыносимо холодно и душно. И вотъ они поѣхали въ деревню къ Вронскому.

Болѣе удобныхъ условій ужъ, кажется, нельзя было найти для ихъ счастья. Они были на собственной землѣ; ихъ окружалъ маленькій дворъ преданныхъ имъ людей; они видѣли того, кого хотѣли видѣть; у нихъ были средства, они были молоды и здоровы; у Вронскаго были увлекавшія его хозяйство и общественная дѣятельность; у нихъ была дочь; кажется—все. Но были ли они счастливы? Былъ ли счастливъ Вронскій въ своемъ мнимомъ величіи ландлорда, въ своей, для всякаго посторонняго взгляда завидной, участи обладанія прелестнѣйшею и любимою женщиной? Была ли, несмотря на свое несомнѣнное внѣшнее счастье, была ли Анна внутренно, душевно счастлива, тверда и покойна въ своемъ положеніи?—Нѣтъ.

И здѣсь Анна была непризнаннымъ членомъ общества,—ни хозяйкой, ни женой. Какъ прежде, она оставалась только любовницей.

Домъ былъ полонъ гостей, а общества, все-таки, не было. Былъ какой-то странный холостой кружокъ—Свіяжскаго, Весловскаго, была какая-то холостая княжна Варвара. Даже англичанки для дѣвочки Анна не могла найти порядочной. Были гости, былъ шумъ; были роскошь и порядокъ, но уютности не было, потому что все-таки не было ни общества, ни дома, ни семьи. И какъ

ни искусно играли всѣ свою роль, обманывая самихъ себя и другъ друга, но со стороны свѣжему человѣку неудачная поддѣлка подъ семью была очевидна,—и не только очевидна, но и лишала возможности присоединиться къ этому кругу и чувствовать себя естественно и просто въ этой натянутой атмосферѣ. Бѣдная Долли, о которой Вронскій думалъ, что она excessivement terre à terre и которая въ дѣйствительности была во сто разъ идеальнѣе и выше, чѣмъ не только Вронскій, но и сама Анна, и даже Китти,—Долли увидѣла все это сразу и не могла выжить у нихъ двухъ дней. Тонъ былъ не то что дурной, но какой-то безсемейный, напряженный отъ непрочности, и хорошіе семейные люди не могли войти въ простое, естественное и ровное отношеніе къ такому дому. И потому этотъ домъ долженъ былъ оставаться всегда внѣ настоящаго общества, а съ нимъ и сама Анна.

Анна не была также и хозяйка въ этомъ домѣ, казалось бы, именно для нея устроенномъ. Все дѣлалъ самъ Вронскій. Анна слѣдила за всѣми его занятіями, изучала пособія, но никакъ не могла сдѣлаться истинною не только хозяйкой дома, но даже помощницей хозяина. Даже въ дѣтской своей маленькой дѣвочки она была чужая.

И все это потому, что Анна не была женой, а была только любовницей. Она жила однимъ желаніемъ любви къ ней Вронскаго, — желаніемъ поддержать его чувство, приблизившееся къ началу охлажденія ея красотой,—и страстью. Она занималась туалетомъ и лицомъ и дѣтей не хотѣла. Она прибѣгала даже къ искусственнымъ средствамъ—къ возбужденію ревности, и кокетничала съ гостями. И она понимала, что средства эти послѣднія, отчаянныя, что они только ускоряютъ будущее охлажденіе. Она чувствовала, что скоро всему будетъ конецъ, но ужасъ его побуждалъ ее искусственно не думать о немъ, щуриться на свое настоящее и будущее.

Но почему же она, сознавая свое положеніе, не старалась изъ него выйти и все глубже въ него входила? Почему она не становилась женой Вронскаго?—По той простой причинѣ, что это было невозможно. Не потому только это было невозможно, что ее не согласились бы обвѣнчать съ Вронскимъ, но и по двумъ другимъ, въ концѣ концовъ равносильнымъ, причинамъ. Она не могла получить общественнаго признанія ни въ какомъ случаѣ. Но если бы даже она пріобрѣла его разводомъ съ первымъ мужемъ и замужствомъ съ Вронскимъ, то она все же теряла сына, а безъ него

ей ничего не было нужно. Бракъ съ Вронскимъ былъ невозможенъ. Просить человѣка, предъ которымъ виновата, чтобъ онъ добровольно принялъ на себя послѣднее униженіе, было невозможно. Но это было еще и безполезно, потому что и самый разводъ не разрѣшалъ дилеммы между сыномъ и любимымъ человѣкомъ, которая была бы для Анны несравненно труднѣе, нежели выборъ между любовью и свѣтомъ.

Но и безъ развода и брака жить съ Вронскимъ тоже было невозможно. Положеніе, въ которомъ ея любовь связывала руки Вронскому для всякой дѣятельности, раздражало Вронскаго и возбуждало въ немъ охлажденіе. Положеніе Анны, въ которомъ она не могла быть ни другомъ, ни помощникомъ, ни связующимъ общественнымъ звеномъ, ни матерью и женой, — положеніе, въ которомъ Анна ни въ своемъ чувствѣ, ни въ самомъ принципѣ своей жизни, въ своемъ raison d'être, не имѣла твердой почвы и прибѣгала къ искусственнымъ мѣрамъ кокетства, чтобъ удержать убѣгавшую почву,—такое положеніе должно было разрушать въ душѣ Вронскаго не только чувство любви къ Аннѣ, но даже простое къ ней уваженіе. Наконецъ, постоянная ревность, вспышки и т. д. должны были утомлять Вронскаго и наскучить ему; а требованіе, чтобъ онъ вѣчно торчалъ около ея юбки, раздражало его потребность свободы и дѣятельности. И все это разрушало послѣднюю цѣпь любви — силу привычки, которая не могла создаться отъ такой мрачной, лишающей свободы, исключительной и скучной своею странностью любви, любви совсѣмъ ужъ terre à terre.

Любовь, которая не связывала, а разрывала Вронскаго съ обществомъ, любовь, которая не могла срастись съ его домомъ, съ дѣтьми, со всею его жизнью, любовь, которая никогда не могла сдѣлаться семьей, а между тѣмъ мучительно и безплодно къ тому порывалась, которая не могла удовлетворять духовнымъ потребностямъ даже такого, невзыскательнаго въ области идеаловъ, человѣка, какъ Вронскій,—такая любовь не могла быть прочна. Самыя достоинства обоихъ были послѣднимъ и рѣшительнымъ препятствіемъ ихъ покою и счастью въ ихъ положеніи.

Есть люди, которые могутъ жить годы, иногда всю жизнь, въ отношеніяхъ любовника и любовницы, внѣ семьи. Но ни Анна, ни даже Вронскій не были такими. Они хотѣли создать изъ своей любви семью; но они искали ее на ложной почвѣ, нарушивъ законы человѣческой природы, и, нарушивъ ихъ, они не примирились съ созданнымъ ими зломъ и оба погибли. Но это еще впе-

реди, а теперь чаша еще не была допита. Еще оставалось нѣсколько мутныхъ капель съ острою горечью осадка.

Оба чувствовали неестественность и невозможность своего положенія. Вронскому вопросъ о Сережѣ былъ недоступенъ, и онъ все еще надѣялся, что разводъ ихъ устроитъ.

Но Анна не имѣла и этого призрачнаго утѣшенія. Инстинктомъ она знала, какой будетъ конецъ; она знала, что этотъ конецъ уже недалекъ, и, закрывъ глаза и забывшись, она допивала по каплямъ мучительно-сладкую отраву, не считая, сколько ихъ еще на днѣ оставалось, зная, что отъ послѣдней капли ей уже не проснуться.

Но когда уже тамъ почти ничего не осталось, она вдругъ оторвала уста и стала порываться снова искусственно составить прежній напитокъ и снова наполнить имъ чашу. Она вдругъ уцѣпилась за мысль о разводѣ, въ которую въ глубинѣ души сама не вѣрила. Утопающій не вѣритъ, что соломинка можетъ его спасти, но онъ все же за нее хватается. И послѣ печальной, глубокохудожественной сцены ожиданія и возвращенія Вронскаго изъ губернскаго города съ выборовъ Анна уѣхала съ Вронскимъ въ Москву, гдѣ поселилась съ нимъ супружески, вмѣстѣ.

Въ Москвѣ, конечно, всѣ неблагопріятныя стороны ихъ положенія должны были выступить еще яснѣе и обострить зарождавшуюся враждебную ноту въ ихъ отношеніяхъ еще рѣзче. Развода все еще не было, и Анна томилась, не выѣзжала и не принимала у себя дамъ, стараясь забыть натянутость, скуку и раздраженіе на свободнаго Вронскаго въ разныхъ искусственныхъ отвлеченіяхъ — въ воспитаніи англичанки-дѣвочки (когда у нея была собственная дочь), въ писаніи дѣтскаго романа и т. п. Но это ей не всегда удавалось, и случайныя вспышки досады, ревности и отчаянія, что Вронскій не можетъ насытить естественное для нея въ ея положеніи, но не исполнимое съ его стороны желаніе Анны, чтобы все время, всѣ силы его души принадлежали ей безраздѣльно, — эти вспышки охлаждали и даже вооружали Вронскаго. У нея же все возрастала неутолимая жажда невозможной, исключительной любви, и собственное безправіе и безпомощность возмущали ея чувство справедливости при видѣ полноты правъ Вронскаго. И вотъ въ ней самой, въ ея такой, казалось бы, исключительной, страстной и нѣжной любви вырастало другое страстное чувство—ненависти и мести къ любимому человѣку. И въ этой борьбѣ любви и вражды, въ отчаяніи безправіемъ и нрав-

ственною зависимостью она инстинктивно искала опоры извнѣ... И у нея не было другой силы кромѣ красоты, кромѣ того, для чего она пожертвовала всею своею жизнью,—кромѣ страсти. И вотъ она инстинктивно, какъ бы примѣриваясь къ другимъ, окружавшимъ ее и даже случайно встрѣчавшимся, какъ Левинъ, мужчинамъ, пробуя надъ ними степень власти сохранившейся красоты своей и симпатіи, искала помощи и поддержки себѣ въ сознаніи этой единственной оставшейся у нея силы, въ сознаніи возможности приложенія ея къ другимъ. Такъ утончаетъ гр. Толстой прежде непроницаемую завѣсу надъ возможнымъ будущимъ Анны,—тѣмъ будущимъ, которое было бы и вѣроятнымъ, если бы только Анна не была Анной, если бъ у нея не было ея задушевной искренности и совѣстливаго чувства правоты, если бы не было конца, выведеннаго въ романѣ.

Прошло еще полгода, и обоюдное раздраженіе все росло и росло.

Раздраженіе, раздѣлившее ихъ, не имѣло никакой внѣшней причины, и всѣ попытки объясненія не только не устраняли, но увеличивали его. Это было раздраженіе внутреннее, имѣвшее для нея основаніемъ уменьшеніе его любви, для него—раскаяніе въ томъ, что онъ поставилъ себя ради ея въ тяжелое положеніе, которое она, вмѣсто того, чтобъ облегчить, дѣлаетъ еще болѣе тяжелымъ.

Для нея весь онъ, со всѣми его привычками, мыслями, желаніями, со всѣмъ его душевнымъ и физическимъ складомъ, былъ одно—любовь къ женщинамъ, и эта любовь, по ея чувству, должна была быть вся сосредоточена на ней одной. Любовь эта уменьшилась; слѣдовательно, по ея разсужденію, онъ долженъ былъ часть любви перенести на другихъ, или на другую женщину,—и она ревновала. Она ревновала его не къ какой-нибудь женщинѣ, а къ уменьшенію его любви. Не имѣя еще предмета для ревности, она отыскивала его. По малѣйшему намеку она переносила свою ревность съ одного предмета на другой.

И, ревнуя его, Анна негодовала на него и отыскивала во всемъ поводы къ негодованію. Во всемъ, что было тяжелаго въ ея положеніи, она обвиняла его. Мучительное состояніе ожиданія, которое она, между небомъ и землею, прожила въ Москвѣ, медленность и нерѣшительность Алексѣя Александровича, свое уединеніе—она все приписывала ему. Если бъ онъ любилъ, онъ понималъ бы всю тяжесть ея положенія и вывелъ бы ее изъ него. Въ томъ,

что она жила въ Москвѣ, а не въ деревнѣ, онъ же былъ виноватъ. Онъ не могъ жить, зарывшись въ деревнѣ, какъ она того хотѣла. Ему необходимо было общество, и онъ поставилъ ее въ это ужасное положеніе, тяжесть котораго онъ не хотѣлъ понимать. И опять же онъ былъ виноватъ въ томъ, что она навѣки разлучена съ сыномъ.

Даже тѣ рѣдкія минуты нѣжности, которыя наступали между ними, не успокоивали ея: и въ нѣжности его она видѣла теперь оттѣнокъ спокойствія, увѣренности, которыхъ не было прежде и которыя раздражали ее.

И они постоянно ссорились: разъ—изъ-за англичанки, которую Анна, какъ упрекалъ ее Вронскій, любила болѣе, нежели ихъ дочь, другой разъ—изъ-за учительницы плаванія шведской королевы. Анна, сама наговоривъ и выслушавъ слова, полныя раздраженія, холода и ненависти, ушла къ себѣ съ мыслью, что все кончено, и Вронскій ее ненавидитъ. Сидя и думая, что̀ ей теперь дѣлать, Анна, изъ-за разныхъ мыслей объ этомъ и изъ-за чувства растерянности, не сразу сознала мысль, сначала неясно, но которая одна теперь ее интересовала. Это была мысль о смерти, которая одна разрѣшала все. „Да, умереть“,—думала Анна.

„И стыдъ, и позоръ Алексѣя Александровича и Сережи, и мой ужасный стыдъ—все спасается смертью. Умереть—и онъ будетъ раскаиваться, будетъ жалѣть, будетъ любить, будетъ страдать за меня...“ Съ остановившеюся улыбкой состраданія къ себѣ, она сидѣла на креслѣ, снимая и надѣвая кольца съ лѣвой руки, живо съ разныхъ сторонъ представляя его чувства послѣ смерти.

„Приближающіеся шаги—его шаги—развлекли ее. Какъ бы занятая укладываніемъ колецъ, она не обратилась даже къ нему.

„Онъ подошелъ къ ней и, взявъ ее за руку, тихо сказалъ:

„— Анна, поѣдемъ послѣ завтра, если хочешь; я на все согласенъ.

„Она молчала.

„— Что же?—спросилъ онъ.

„— Ты самъ знаешь,—сказала она, и въ ту же минуту, не въ силахъ будучи удерживаться болѣе, она зарыдала.

„— Брось меня, брось!—выговаривала она между рыданіями.— Я уѣду завтра... Я больше сдѣлаю. Кто я?—Развратная женщина, камень на твоей шеѣ. Я не хочу мучить тебя. Ты не любишь меня, ты любишь другую!

„Вронскій умолялъ ее успокоиться и увѣрялъ, что нѣтъ при-

знака, основанія ея ревности, что онъ никогда не переставалъ и не перестанетъ любить ее, что онъ любитъ больше, чѣмъ прежде.

„— Анна, за что такъ мучить себя и меня?—говорилъ онъ, цѣлуя ея руки. Въ лицѣ его теперь выражалась нѣжность, и ей казалось, что она слышала ухомъ звукъ слезъ въ его голосѣ и на рукѣ своей чувствовала ихъ влагу. И мгновенно отчаянная ревность Анны перешла въ отчаянную, страстную нѣжность; она обнимала его, покрывала поцѣлуями его голову, шею и руки“.

Примиреніе было полное, но непрочное. Равновѣсіе было потеряно, и возстановить его было уже невозможно. Во Вронскомъ, въ его нѣжности, было только состраданіе, а не было любви, не было того, что̀ одно было нужно Аннѣ и что̀ она сама въ немъ разрушила. И потому малѣйшій предлогъ долженъ былъ вызвать новую, уже послѣднюю ссору, — послѣднюю потому, что Анной всѣ средства были истощены: она вызывала въ немъ то жалость, то страхъ; они уже утратили силу, и для новаго примиренія уже не нашлось ихъ въ душѣ Вронскаго, которому это уже наскучило и опротивѣло. Такъ и случилось. Они опять поссорились изъ-за ничего, но уже окончательно. Пріѣхалъ Яшвинъ и при немъ они не говорили другъ съ другомъ. Когда Вронскій уходилъ отъ Анны, ему показалось, что она сказала что-то, и сердце его вдругъ дрогнуло отъ состраданія къ ней.

„Онъ и хотѣлъ остановиться и сказать ей утѣшительное слово, но ноги вынесли его изъ комнаты прежде, чѣмъ онъ придумалъ, что̀ сказать“.

Состраданіе въ немъ еще не вполнѣ исчезло отъ борьбы, но оно было такъ мало теперь, что не могло побѣдить простой инерціи его двигавшихся ногъ. А Анна, которая знала, что своею ревностью и местью она губитъ сама себя, но не могла ихъ побѣдить въ себѣ,—Анна чувствовала, что жизнь ея разбита. Внутренно съ этого мгновенія она перестала жить, и начался ея потрясающій предсмертный бредъ.

И въ этомъ бреду она колебалась еще между желаніемъ мести, между мыслью о смерти, какъ наказаніемъ Вронскому, и странными остатками прежней къ нему нѣжности, — желаніемъ, чтобы смерть ея возвратила въ немъ любовь къ ней. Вдругъ ясное сознаніе близости къ смерти поразило ее страхомъ. На мгновеніе она вернулась къ жизни и пошла къ нему въ кабинетъ. Освѣтивъ его спящее лицо, она долго на него смотрѣла, и снова лились ея слезы нѣжности и любви къ нему; но страхъ его холод-

наго взгляда, если бъ онъ проснулся, и предчувствіе собственнаго къ нему за то раздраженія заставили ее уйти.

На другой день они видѣли другъ друга только нѣсколько мгновеній,—только для того, чтобъ обмѣняться новыми, еще болѣе холодными и озлобленными словами вражды и обоюднаго раздраженія. Вронскій уѣхалъ на цѣлый день къ своей матери.

Анна осталась одна, и враждебное впечатлѣніе его отъѣзда, сливаясь съ воспоминаніями ночного бреда, холоднымъ ужасомъ наполняло ея сердце. Она послала Вронскому записку, гдѣ сознавалась въ своей винѣ, просила его успокоить ее и вернуться. Она ходила безпріютная, полная отчаянія и ужаса. Она начала играть съ дѣвочкой, но звонкій смѣхъ ребенка и его движенія бровью такъ живо ей напомнили Вронскаго, что, удерживая рыданія, она вышла изъ дѣтской. Она считала минуты, когда Вронскій можетъ вернуться; она не знала, одѣта ли она и причесана, и, глядя въ зеркало, не узнавала своего воспаленнаго лица, своихъ странно, испуганно блестящихъ глазъ. Ея записка не застала Вронскаго. Анна послала ему телеграмму, а сама поѣхала проститься съ Долли.

Когда она, сидя въ покойной коляскѣ, ѣхала къ Долли, быстро смѣнявшіяся впечатлѣнія домовъ, вывѣсокъ и людей развлекли ее. Она была утомлена, и за утомленіемъ мысль о смерти казалась ей теперь не такъ ясна, страшна и неизбѣжна.

И чувство униженія и утраты прежней чистоты охватило ее. Посѣщеніе Долли и затѣмъ встрѣча съ Китти прибавили еще чувство отчужденія отъ счастливыхъ и чистыхъ людей и ненависть къ нимъ за ихъ чистоту и счастье.

И снова начался холодный, безнадежный, безжалостный бредъ. Умеръ источникъ любви, закрылось для ея взора все доброе въ людяхъ и въ ней, и странный, новый свѣтъ ненависти освѣтилъ ясно въ ея, полной холоднаго, неподвижнаго отчаянія, душѣ одно зло человѣческой природы. Надежда людей на счастье и правду казалась ей теперь такою ничтожною, жалкою и глупою иллюзіей. Вѣра, церковь, звонъ вечерняго благовѣста представлялись ей неудачною ложью, бѣлыми нитками, безсильными скрыть единую истину жизни—вѣчную вражду, борьбу и ненависть людей.

Дома Анна нашла телеграмму, что Вронскій не пріѣдетъ раньше десяти часовъ вечера. И распространившаяся на всѣхъ, на жизнь, ненависть Анны и месть,—месть за оскорбленіе обмана въ желаніи добра, счастья и любви, — снова собравшись въ ней,

направились всею силой на прежній предметъ — на Вронскаго. И Анна уѣхала, чтобъ отомстить ему и наказать его, чтобъ уйти изъ этого ненавистнаго дома, гдѣ все — прислуга, вещи, стѣны вызывали и давили ее отвращеніемъ и злобой. Она хотѣла высказать ему все и потомъ остаться въ первомъ городѣ по дорогѣ за Москвой. Она сѣла въ коляску, чтобъ ѣхать на станцію, и снова ее охватили старыя впечатлѣнія и мысли, медленно и торжественно-ужасно проходившія предъ ея сознаніемъ. И передъ этимъ яркимъ и холоднымъ свѣтомъ, который теперь освѣщалъ ей жизнь, она впервые увидѣла свои отношенія къ Вронскому въ ихъ цѣломъ и вполнѣ. Она поняла теперь, что въ его первой любви къ ней было больше тщеславія успѣхомъ и страсти, чѣмъ истиннаго чувства. Она поняла также и смыслъ своего собственнаго къ нему отношенія.

„Моя любовь все дѣлается страстнѣе и себялюбивѣе, а его все гаснетъ и гаснетъ,—вотъ отчего мы расходимся... И помочь этому нельзя. У меня все въ немъ одномъ, и я требую, чтобъ онъ больше и больше отдавался мнѣ. А онъ все больше и больше хочетъ уйти отъ меня. Мы именно шли навстрѣчу до связи, а потомъ неудержимо расходимся въ разныя стороны. И измѣнить этого нельзя. Если бъ я могла быть чѣмъ-нибудь кромѣ любовницы, страстно любящей однѣ его ласки... но я не могу быть ничѣмъ другимъ. И я этимъ желаніемъ возбуждаю въ немъ отвращеніе, а онъ во мнѣ—злобу, и это не можетъ быть иначе“.

Анна увидѣла, что Вронскій давно ужъ ея не любитъ, и что поэтому и разводъ и замужство не имѣютъ смысла: новой любви они уже не дадутъ имъ. Безполезно также и соединеніе съ Сережей: онъ не перестанетъ думать о двухъ мужьяхъ своей матери. И при мысли о сынѣ, о томъ, что она промѣняла его на любовь къ Вронскому, казавшуюся ей теперь такою низменною и ничтожною,—при мысли о первомъ мужѣ, объ ея неестественныхъ къ нему отношеніяхъ, тоже носившихъ ненавистное ей имя любви, — она чувствовала отвращеніе къ себѣ и къ своему чувству любви. И холодный свѣтъ, такъ ослѣпительно-ярко свѣтившій на тотъ ложный міръ, который она прожила въ своей жизни, вызывалъ въ ней послѣднюю степень отчаянія, радость отчаянія, за которою она чувствовала смерть — его естественный конецъ и избавленіе. На станціи и въ вагонѣ Анна съ своимъ разрывавшимся и страшно бьющимся сердцемъ, сначала изъ-за охватившаго ее отвращенія къ встрѣчающимся людямъ, не могла

вернуться къ своимъ прежнимъ, такимъ важнымъ и рѣшительнымъ мыслямъ. Но вотъ вагонъ, тронувшись, прокатился мимо платформы, каменной стѣны, диска, мимо другихъ вагоновъ; колеса плавнѣе и маслянѣе, съ легкимъ звономъ, зазвучали по рельсамъ; окно освѣтилось яркимъ вечернимъ солнцемъ, и вѣтерокъ заигралъ занавѣской. Анна забыла о своихъ сосѣдяхъ въ вагонѣ и, на легкой качкѣ ѣзды, вдыхая въ себя свѣжій воздухъ, опять стала думать... о томъ, что̀ одно теперь ей оставалось. „И на то данъ разумъ, чтобъ избавиться, — стало-быть, надо избавиться. Отчего же не потушить свѣчу, когда смотрѣть больше не на что, когда гадко смотрѣть на все это?.. Все неправда, все ложь, все обманъ, все зло“, — думала Анна. Поѣздъ остановился. Анна, сторонясь отъ другихъ пассажировъ, какъ отъ прокаженныхъ, остановилась на платформѣ, не зная, что̀ ей дѣлать, не помня, для чего она здѣсь. Ей подали записку; она распечатала, и сердце ея сжалось раньше, чѣмъ она ее прочитала. Тамъ стояли холодныя слова и небрежныя буквы. Анна отпустила своего человѣка голосомъ, тихимъ отъ быстраго біенія сердца, мѣшавшаго ей дышать. Не помня ничего отъ внутренней боли, она думала лишь о томъ, какъ бы лишить всѣхъ свободы мучить ее, и съ неопредѣленною угрозой въ душѣ пошла по платформѣ мимо станціи... Видъ людей тяготилъ ее невозможно, и она шла отъ нихъ, сама не зная куда, и остановилась на краю платформы...

И вотъ умерла несчастная Анна, — умерла потому, что больше ничего ей не оставалось. Для страсти къ Вронскому она отдала все — сына, семью, положеніе въ обществѣ и свѣтѣ, свое имя и женское достоинство, свою совѣсть, т. е. всю свою душу. И когда она потеряла послѣднее, — то, за что̀ она пожертвовала всѣмъ, — то у нея ничего уже не осталось. Ни смысла, ни цѣли, ни силы жить уже не было, и вести долѣе жизнь стало невыносимо. Анна умерла.

Но когда она уже умерла для себя, она еще долго жила въ воспоминаніи близкихъ и въ тѣхъ слѣдахъ разрушенія, которое было произведено въ нихъ ея жизнью и ея самоубійствомъ. Она промелькнула въ отчаянныхъ, но скоро забытыхъ рыданіяхъ Стивы надъ ея изуродованнымъ трупомъ. Она осталась навсегда въ душѣ безнадежно разбитаго Вронскаго, съ тѣмъ застывшимъ, жалкимъ и ужаснымъ выраженіемъ, которымъ она торжествовала исполненную угрозу его неизгладимаго раскаянія. Она доживала въ

неподвижной мертвенности и жалкомъ величіи мужа. Она жила долго въ дѣтяхъ, которыя никогда не узнали лучшихъ движеній человѣческаго сердца, сохранили къ ней враждебную память и это охлаждающее преданіе передали, можетъ-быть, дальнѣйшимъ своимъ поколѣніямъ.

Но вотъ все уже кончено, и всѣ эти образы прошли предъ нами и скрылись изъ глазъ. И мы, закрывъ книгу, которая такъ глубоко и долго насъ волновала и трогала живыми страницами любви, ненависти, высокихъ движеній, нѣжности, зла и смерти, остались наединѣ съ ея сложнымъ, строгимъ и возвышающимъ чувствомъ. При свѣтѣ этого законченнаго впечатлѣнія намъ легче теперь окинуть однимъ взглядомъ весь путь, пройденный этими несчастными людьми. Они сначала пренебрегли чистымъ и искреннимъ чувствомъ и вступили въ искусственный и лживый союзъ внѣшняго расчета. Создалась семья, разрушившаяся при первомъ прикосновеніи чувства. Но позднее чувство не могло создать новой семьи. Невозможность его признанія обществомъ, несчастье мужа и сына, на которомъ оно было построено, его чувственный характеръ и чрезмѣрность обоюдной жертвы сдѣлали его исключительно страстнымъ, непрочнымъ, неспособнымъ обратиться въ органическую связь ни внутри ихъ обоюдныхъ отношеній, ни внѣ ихъ—съ обществомъ, со всею ихъ жизнью. Старая семья разрушилась, а новая не создалась. Оставались цѣною всей жертвы одни страстныя отношенія, — то, что̀ въ любви всего скоротечнѣе, — и это непрочное начало, лишивъ ихъ обоихъ свободы для всего остального, стало имъ ненавистно. И съ утратой послѣдняго разбилась связь, которую внѣшнія спайки—разводъ и т. д.—связать уже не могли, не потому, чтобъ ихъ вовсе нельзя было устроить, а потому, что онѣ внутренно были безполезны.

И все это такъ просто, ясно и неизбѣжно, что сомнѣніямъ нѣтъ уже мѣста. Та смутная и суетная вѣра въ достоинство и прочность произвольной смѣны человѣческихъ страстей, которыя называются приложеніемъ принципа свободы къ области чувства, любви, — эта quasi-либеральная вѣра въ романѣ Анны получаетъ смертельную рану. Художникъ доказалъ намъ, что въ этой области нѣтъ безусловной свободы, а есть законы, и отъ воли человѣка зависитъ согласоваться съ ними и быть счастливымъ, или преступать ихъ и быть несчастнымъ. Нѣтъ здѣсь свободы близоруко и преждевременно торжествующему въ наше время свою

ложную побѣду человѣческому разсудку, думающему, что онъ можетъ измѣнить законы человѣческаго духа, игнорируя ихъ силу, и преобразовать ихъ согласно своимъ отвлеченнымъ концепціямъ. Нельзя разрушить семью, не создавъ ей несчастія, и на этомъ старомъ несчастіи нельзя построить новаго счастія. Нельзя игнорировать общественное мнѣніе вовсе, потому что, будь оно даже невѣрно, оно все же есть неустранимое условіе спокойствія и свободы, и открытая съ нимъ война отравитъ, изъязвитъ и охладитъ самое пылкое чувство. Бракъ все же есть единственная форма любви, въ которой чувство спокойно, естественно и безпрепятственно образуетъ прочныя связи между людьми и обществомъ, сохраняя свободу для дѣятельности, давая силы для нея и побужденіе, создавая чистый дѣтскій міръ, создавая почву, источникъ и орудія жизни. Но это чистое семейное начало можетъ созидаться лишь на прочномъ основаніи истиннаго чувства. На внѣшнемъ расчетѣ построено оно быть не можетъ. И позднее увлеченіе страстью, какъ естественное послѣдствіе старой лжи, разрушивъ ее, не исправитъ тѣмъ ничего и приведетъ лишь къ окончательной гибели, потому что... „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ“.

VI.

Но, могутъ возразить, исчерпываетъ ли романъ Анны такъ называемый вопросъ о свободѣ женскаго чувства во всей его полнотѣ? — И да и нѣтъ. Очень много *да* и очень много *нѣтъ*.

Можно вообразить тысячи женщинъ, которыя изъ положенія Анны нашли бы другой, быть-можетъ, внѣшнимъ образомъ менѣе мрачный, исходъ. Однѣ не требовали бы слишкомъ много отъ Вронскаго и, удовлетворившись его остывающимъ и скучающимъ чувствомъ, остались бы жить съ нимъ до смерти въ положеніи наложницы. Другія нашли бы себѣ новыя привязанности. Третьи совершенно отказались бы отъ общества и жили бы половинчатою жизнью взаперти. Четвертыя сумѣли бы забыть Сережу. Нашлись бы еще и другія комбинаціи. Онѣ опредѣлялись бы въ каждомъ случаѣ индивидуальными различіями характеровъ. Но были ли бы всѣ эти комбинаціи нормальны? Дѣлали ли бы онѣ этихъ людей лучшими и счастливыми?—Очевидно, нѣтъ. Женщина не можетъ быть счастливою, когда для ея любви уже нѣтъ

человѣка и осталась одна животная природа, потому что женщина—не животное, а человѣкъ. Женщина не будетъ счастлива, мѣняя каждый день привязанности, потому что она—не вакханка, а человѣкъ. Женщина не можетъ быть счастлива, отказываясь отъ общества, потому что она не только женщина, но и человѣкъ. Женщина не будетъ счастлива, бросая для любимаго человѣка дѣтей отъ прежней семьи, потому что она—не только женщина, но и мать. Общество какъ бы деспотически, грубо, лживо и фарисейски даже ни выражало своихъ принциповъ, оно, поскольку оно есть общество людей, не можетъ не осуждать того, что возстаетъ противъ чувствъ человѣческой справедливости и достоинства. Конечно, удовольствіе и механическая жизнь въ такихъ условіяхъ возможны для многихъ, по счастье,—счастье человѣческое, требующее сознанія нравственной чистоты и правоты,—жизнь и развитіе духовное въ этомъ положеніи, очевидно, немыслимы. Несомнѣнно поэтому, что романъ Анны рѣшаетъ вопросъ въ предѣлахъ такихъ условій безусловно и окончательно.

Но возможны и другія условія. Возможны положенія, при которыхъ нѣтъ ни дѣтей отъ первой семьи, ни любви и несчастія мужа, ни чувственности характера личнаго и также самой любви. Какъ рѣшается вопросъ тогда? Въ какой степени тогда бываетъ право или неправо общественное осужденіе? Возможны ли или невозможны тогда нравственная чистота, общественная связь и личное счастье?.. На такой вопросъ романъ Анны не даетъ отвѣта. Онъ остается открытымъ; онъ, несмотря на меньшую сложность, еще труднѣе предыдущаго. По крайней мѣрѣ, такимъ онъ представляется намъ. У насъ нѣтъ достаточныхъ художественныхъ и психологическихъ данныхъ, чтобъ его рѣшить. Не будемъ прибѣгать къ казарменной и лживой фразѣ: „здѣсь не время и не мѣсто“, „это не входитъ въ предѣлы и задачи нашего изложенія“ и т. п., а скажемъ просто: мы этого не знаемъ. Мы знаемъ только, что существующія рѣшенія — всѣ, по крайней мѣрѣ, недоказательны, что истинное и ясное рѣшеніе еще не снилось и не извѣстно, когда еще приснится, нашимъ мудрецамъ; вѣроятнѣе всего—и вовсе не приснится до тѣхъ поръ, пока тотъ же самый гр. Толстой или какой-нибудь другой, новый великій художникъ не раскроетъ его для насъ всѣхъ — не въ разсужденіяхъ, не въ указанныхъ правилахъ, а въ самой душѣ человѣка, гдѣ оно лежитъ на глубинѣ недоступной разсудку, на высотѣ недосягаемой ни для какого гражданскаго закона.

Прежде чѣмъ перейти къ остальнымъ частямъ произведенія гр. Л. Н. Толстого, мы должны еще разъ возвратиться къ Аннѣ.

Размышляя о печальной смерти Анны, изъ-за тяжелаго чувства состраданія, не уступившаго даже свѣтлому впечатлѣнію художественной правды, я долго не могъ рѣшить главнаго, очень мучительнаго недоумѣнія. Это состраданіе, это художественное впечатлѣніе я никакъ, никакъ не могъ примирить съ чѣмъ-то гораздо болѣе для меня дорогимъ и важнымъ—съ моимъ чувствомъ о Богѣ живомъ и прощающемъ.

Не имѣя силы найти примиреніе собственнымъ разумомъ, я обратился къ другимъ людямъ и сталъ прислушиваться.

Либеральный чиновникъ говорилъ съ презрительною насмѣшкой, что Анна могла отлично и преспокойно жить, что „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ"—есть унижающая искусство прописная мораль, способная устрашить дѣтей, но безсмысленная для свободнаго человѣка.

Дѣйствительный статскій совѣтникъ, сіяя звѣздами и яснымъ лицомъ, кроткимъ голосомъ возражалъ ему и говорилъ, что безнравственная, испорченная женщина непремѣнно должна была принять заслуженную казнь, и что казнившій ее художникъ есть добрый сынъ отечества и благонамѣренный гражданинъ.

Иронія либерала и благосклонное замѣчаніе чистаго совѣстью дѣйствительнаго статскаго совѣтника вдругъ, сразу, объяснили мнѣ все.

Мораль либеральнаго чиновника не могла возвыситься до понятія о Богѣ, дающемъ человѣку законы, нарушеніе которыхъ ведетъ человѣка къ преступленію, несчастію и смерти. Дѣйствительный статскій совѣтникъ не понималъ другой формулы, кромѣ „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ", потому что, по его мнѣнію, она отлично къ нему подходила; онъ давно забылъ, что такое любовь и прощеніе, потому что его богъ былъ богъ статскаго генерала, который для себя самъ есть вполнѣ удовлетворительный богъ, не имѣющій, однако, ничего общаго съ Богомъ христіанскаго человѣчества.

Слова либеральнаго чиновника вдругъ объяснили мнѣ, почему должна была умереть несчастная Анна. Анна умерла потому, что въ ней умеръ источникъ жизни, въ ней умерла любовь. Анна разлюбила все, кромѣ своего прелестнаго тѣла и въ немъ—тѣла красиваго, чувственнаго Вронскаго. Анна для тѣла своего разлюбила простившаго ее, любившаго ее за зло, ему сдѣланное, мужа. Анна

изъ-за своего тѣла разлюбила сына Сережу, который молился о ней, какъ о святой, и ждалъ ее съ горячею и безжалостно разбитою надеждой; она разлюбила всѣхъ людей, она отъ всѣхъ ихъ отказалась для одного своего тѣла. Она утратила сама и разорвала связь свою съ другими въ томъ, *что есть въ людяхъ*. Анна отвергла то, *чѣмъ люди живы:* она умерла. Анна забыла любовь и Бога и — умерла: „Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ".

Я понялъ это, но все же еще никакъ не могъ отдѣлаться отъ томящаго чувства. Но когда заговорилъ генералъ, я понялъ нѣчто другое, драгоцѣннѣйшее перваго. Я увидѣлъ, что хотя Анна умерла, она, если бы хотѣла, *могла* бы не умереть. Если бы въ Аннѣ вдругъ проснулось сердце, если бы въ ней заговорила снова любовь къ людямъ, къ раздавленному ею мужу, къ заброшенному сыну, ко всѣмъ, отъ кого она убѣжала для своего тѣла,—если бъ она раскаяніемъ любви умолила ихъ возвратить ей ихъ любовь, — все бы ей простилось: она бы сдѣлала ихъ снова счастливыми, она не умерла бы тогда и жила бы на свѣтѣ. И мысль, что эта свобода, которой Анна не хотѣла приложить, все же была въ ней,— мысль, что она могла быть прощена Богомъ и любовью людей,— объяснила мнѣ, напомнила мнѣ все. Богъ есть любовь, а любовь есть прощеніе. Я разстался съ собесѣдниками и вернулся домой успокоеннымъ совершенно.

Я снова перечиталъ сочиненіе графа Толстого, и оно, казавшееся мнѣ прежде такимъ издавна знакомымъ, вдругъ открылось мнѣ въ новомъ свѣтѣ, исходившемъ съ высоты, прежде мнѣ недоступной.

Я понялъ тогда связь между романами Анны и Долли съ ея чистѣйшимъ въ себѣ и лишь во внѣшности грубымъ прототипомъ— Марьей Николаевной.

Анна была сначала не то что несчастна, а недостаточно лично счастлива. Она захотѣла полнаго личнаго счастья, — потеряла все и умерла. Другія двѣ, ея контрасты, были лично несчастливы, но любили истинно — и узнали счастье любви и жизнь.

VII.

Параллельно съ трагическимъ романомъ Анны, ея мужа и Вронскаго идетъ грустная и, въ то же время, отрадная исторія Долли, возвышающейся надъ ея семейнымъ несчастіемъ. Эта на-

раллель романа Долли и Стивы выясняетъ идею Анны еще свѣтлѣе и глубже.

Довольно характеренъ фактъ, что изъ всѣхъ лицъ романа вѣрнѣе другихъ угаданъ критикою типическій образъ Стивы Облонскаго. Характеръ Облонскаго такъ несложенъ, цѣленъ и простъ и, въ то же время, такъ типиченъ и ясенъ, что разгадать его было нетрудно. Къ тому же, съ нимъ не связано никакихъ трудныхъ вопросовъ, въ приложеніи къ которымъ могли бы сказаться узкія мѣрки и близорукій глазъ нашей раціоналистической критики, остановившейся съ недоумѣніемъ передъ образомъ Анны и съ раздраженіемъ—передъ оригинальными чертами Левина Константина. И потому критика радостно привѣтствовала въ портретной галлереѣ русскихъ типовъ незамысловатую фигуру Степана Аркадьевича Облонскаго, которая пришлась ей какъ разъ по плечу.

Этого милаго, безалабернаго Стиву, это погибшее, но милое созданіе мы всѣ давно видѣли и знали. Встрѣтиться съ нимъ снова тѣмъ пріятнѣе, что душѣ читателя (и критика: вѣдь, критикъ — тоже читатель), утомленной строгимъ и напряженнымъ впечатлѣніемъ судьбы его сестры и сложной психической исторіи туманнаго Левина, отрадно освѣтить свой взоръ видомъ человѣка, блаженнаго въ тѣхъ самыхъ условіяхъ, въ которыхъ погибла Анна,—человѣка, противно Левину, не мудрствующаго лукаво, не развивающагося, не измѣняющагося поминутно передъ нашими удивленными глазами, а разъ навсегда вылившагося въ опредѣленную, давно намъ извѣстную формулу, не вызывающую въ насъ ни мучительнаго сердечнаго состраданія, ни тягостнаго умственнаго недоумѣнія. Да, встрѣча со Стивой въ такой грустной и серьезной обстановкѣ вдвойнѣ пріятна. Она производитъ впечатлѣніе облегчающее, какъ будто послѣ похоронъ или долгаго тяжкаго сомнѣнія мы почувствовали себя способными снова жизнерадостно улыбнуться, глядя на человѣка, живущаго какъ птицы небесныя, въ блаженномъ невѣдѣніи добра и зла, однимъ инстинктомъ органическихъ наслажденій.

А главное — намъ пріятнѣе всего встрѣтиться съ тѣмъ, что намъ всего ближе, на что мы сами болѣе всего похожи, что вышло изъ этой самой толпы, которую мы всѣ составляемъ.

Степанъ Аркадьевичъ, хоть онъ и Рюрикова рода, есть, однако, не что иное какъ человѣкъ толпы, — той самой толпы, которая своими мыслями и чувствами живетъ изо дня въ день, образуя

ихъ, переживая и мѣняя такъ же органически-безсознательно, какъ птицы мѣняютъ свои перья, олень — свои рога или скотина — шерсть,—той образованной толпы, которая не подчиняетъ событій своимъ мнѣніямъ, а мнѣнія свои выноситъ изъ событій, идущихъ своимъ, ей непонятнымъ, чередомъ, и которая, пародируя фразу Щедрина, сегодня желаетъ конституціи, а завтра—севрюжины съ хрѣномъ. Это былъ человѣкъ не мудрствующій лукаво, не имѣвшій собственныхъ идей, плывшій спокойно по теченію. Такова же была и его дѣятельность. Онъ выбиралъ ее не по отношенію къ какимъ-нибудь отвлеченнымъ склонностямъ, а по окладу жалованья, необходимаго ему при его разстроенномъ состояніи. Равнодушіе же Облонскаго къ дѣятельности всякаго рода исходило изъ того, что онъ жилъ для однихъ наслажденій — женщинами, игрой, весельемъ. Ими онъ увлекался со страстью. Это было его главное свойство, опредѣлявшее всѣ остальныя. Онъ любилъ наслажденія: наслажденія были, — и онъ былъ веселъ и добръ. Жить на нѣсколько домовъ было не по средствамъ, — онъ служилъ за жалованье. Жалованья недоставало,— онъ дѣлалъ долги. Долги нужно было платить, — онъ разорялъ жену и дѣтей. Ихъ состояніе пришло къ концу, — онъ сталъ искать службы по желѣзнымъ дорогамъ. Получить такую службу съ огромнымъ жалованьемъ можно было только кланяясь разнымъ жидамъ,— и Стива, потомокъ Рюрика, просиживалъ часы въ пріемной у жида Болгаринова, ѣздилъ на мистическіе сеансы къ графинѣ Лидіи Ивановнѣ и притворялся предъ нею вѣрующимъ. Мгновеніями онъ чувствовалъ неловкость, иногда приходилъ въ отчаяніе, но вообще не задумывался и всегда былъ веселъ. „Пейте, пойте, играйте, пляшите“, — вотъ чѣмъ онъ жилъ.

Больше у него ничего собственнаго своего не было; это была совершенно цѣльная натура. Все остальное онъ бралъ изъ того, что̀ вмѣстѣ съ нимъ плыло по житейской волнѣ, не вникая въ смыслъ, цѣли и правила ея движенія. И потому онъ былъ одновременно и честный человѣкъ и такой, что, по выраженію Левина, его можно было купить за двугривенный. Онъ не могъ измѣнить слову, данному кулаку Рябинину, который покупалъ у него лѣсъ жены за безцѣнокъ, и, въ то же время, онъ не могъ прямо сознаться въ своемъ невѣріи передъ Лидіей Ивановной, отъ которой ждалъ протекціи для полученія мѣста съ огромнымъ жалованьемъ.

Но эта темная сторона Облонскаго выступаетъ лишь при бли-

жайшихъ къ нему отношеніяхъ. Для общества онъ, несмотря на все, неизмѣнно остается тѣмъ самымъ Стивой, появленіе котораго съ его веселымъ, оживленнымъ и здоровымъ лицомъ непосредственно радостно дѣйствуетъ на всѣхъ. Мы, сомнѣвающіеся, разсуждающіе, не вѣрящіе въ веселіе жизни людей XIX столѣтія, — мы невольно оживляемся при видѣ существа не сомнѣвающагося, не мудрствующаго и вкушающаго отъ земныхъ благъ съ ничѣмъ не поврежденнымъ наслажденіемъ. Нашъ измученный взоръ освѣжается; мы благодарны ему за впечатлѣніе безотчетнаго веселья; мы даже склонны снисходительнѣе посмотрѣть на крупныя слабости этого человѣка.

И въ этомъ непосредственно веселящемъ вліяніи такихъ натуръ, какъ Облонскій, заключается ихъ жизненное raison d'être — ихъ общественное положеніе, цѣль, смыслъ и оправданіе ихъ существованія.

Дѣло было бы еще лучше, если бы Стива былъ холостъ и могъ предаваться своей страсти къ наслажденіямъ съ послѣдствіями, вредными лишь для него одного. Но Стива былъ женатъ. И это бы еще съ полгоря, если бы жена у него была такая, какъ онъ самъ, или что-нибудь въ родѣ Бетси Тверской или баронессы Штольцъ. Но Стива былъ женатъ на Долли Щербатской и имѣлъ отъ нея дѣтей.

VIII.

Эта бѣдная, сѣренькая Долли, эта безотвѣтная насѣдка почти незамѣтна среди Анны и Китти, особенно при первомъ чтеніи романа, когда невольно бросаешься на то, что ярче. И самый образъ Анны и трагическая исторія ея любви одѣты такою возбуждающею поэзіей страсти, такою волнующею силой молодости и красоты, и Китти выходитъ передъ нами съ такимъ очарованіемъ изящества и первой дѣвственной свѣжести, что старѣющіяся черты некрасивой Долли, измученной дѣтьми, невѣрностью мужа, разореніемъ семьи, безплодною тратой молодости въ ежедневныхъ заботахъ, ничѣмъ и ни отъ кого не вознаграждаемыхъ, — что черты Долли представляются намъ сначала безцвѣтными, сѣренькими и неинтересными. Но это только при первомъ чтеніи. Когда вы потомъ, желая дать себѣ безпристрастный отчетъ, снова начнете просматривать страницы романа, то тѣ изъ нихъ, гдѣ выступаетъ

Долли, дадутъ вамъ наибольшее, послѣ мимолетныхъ встрѣчъ съ Марьей Николаевной, внутреннее удовлетвореніе. И вы увидите, что если все очарованіе цвѣтовъ и красокъ автора принадлежитъ Аннѣ и менѣе Китти, то его нравственныя симпатіи принадлежатъ этой несчастной дѣвушкѣ и также Долли.

Не блистающая Анна, не граціозная Китти, не онѣ—героини романа, рѣшающаго проблему семейнаго счастья и горя, а безцвѣтная на видъ и ничѣмъ для большинства не очаровательная Долли. Долли несчастна съ мужемъ, но она права, и ея правота дѣлаетъ ее счастливою другимъ, лучшимъ, счастьемъ.

Когда Долли узнала о невѣрности мужа, молодого, тридцатичетырехлѣтняго, полнаго жизни человѣка,—невѣрности ей, состарѣвшейся, измученной, некрасивой женщинѣ,—она не нашла его правымъ, она была глубоко оскорблена. Ея отношенія къ браку, къ семьѣ и мужу были выше и чище, чѣмъ у Стивы, и эта чистота ея была поругана и осквернена.

Когда прошла первая горечь разочарованія и обиды, она простила мужа. Измѣнивъ о немъ мнѣніе, съ разрушеннымъ сердцемъ, она не переставала его любить; она осталась съ нимъ и съ его дѣтьми, какъ будто между ними ничего не случилось. Она продолжала прежній скромный и высокій подвигъ любви безъ счастія въ еще болѣе прежняго тяжкихъ условіяхъ. Счастія не было, было даже униженіе. Она позволяла себя обманывать, и къ ея любви примѣшалось презрѣніе: она презирала и мужа и себя за эту слабость. Но за этою слабостью было нѣчто другое, высшее, чего другіе, напримѣръ Китти, не понимали. Китти, оскорбленная Вронскимъ, переносила свою мѣрку на Долли, и презирала сестру, которая вернулась къ измѣнившему ей человѣку. Китти не знала женскаго сердца; она не знала, какъ оно можетъ прощать, любить нелюбящихъ его, любить съ горечью отравленнаго счастья и отрадой прощенія и великодушія. Китти не знала, что у Долли были дѣти; она не понимала, что дѣти связывали ее съ мужемъ въ такую связь, которая могла быть исковеркана, испорчена, но не уничтожена.

У Долли родился шестой ребенокъ, и она перебралась съ дѣтьми на лѣто въ полуразрушенный флигель Ергушова. Предоставленная мужемъ самой себѣ, она вся была охвачена заботами о болѣющихъ, заболѣвающихъ или могущихъ заболѣть дѣтяхъ. Хлопоты лишали ее спокойствія, но давали ей то единственно возможное счастье, которое ей оставалось.

Это было совсѣмъ особенное, ея собственное, царство, ея жизнь; ея счастіе составляли не только радости, но и горести этого ея задушевнаго дѣтскаго міра. Уѣзжая въ церковь, гдѣ Долли хотѣла причастить дѣтей, она одѣвалась съ удовольствіемъ и волненіемъ не для своей красоты, а для того, чтобъ она, какъ мать этихъ прелестей, не испортила общаго впечатлѣнія. Долли улыбалась блаженною, восторженною улыбкой, увидѣвъ Таню, какъ та принесла свой кусокъ сладкаго пирога наказанному брату. Даже скучный процессъ купанья дѣтей составлялъ для Долли особенную прелесть.

Инстинктомъ женскаго сердца она знала сущность отношеній между Китти и Левинымъ, и на его проявленіе оскорбленной гордости она отвѣчала какъ бы презрѣніемъ за низость этого чувства въ сравненіи съ тѣмъ другимъ чувствомъ, которое знаютъ однѣ женщины; и въ то же время она смотрѣла съ грустною нѣжностью на Левина, угадывая чутьемъ, что онъ еще любитъ Китти, и ей казалось смѣшнымъ, что этотъ сильный и умный мужчина не знаетъ самого себя, не видитъ того, что̀ ей такъ сразу очевидно ясно.

Со своею натурой Долли не могла сочувствовать Каренину въ его намѣреніи развестись съ Анной. Долли ясно видѣла, что въ случаѣ развода Анна погибнетъ, и поэтому, всею душой сочувствуя и ей и ея мужу, умоляла его не отказываться отъ Анны окончательно и простить ее.

На свадьбѣ у любимой сестры Долли одна была дѣйствительно растрогана. „Слезы стояли у нея на глазахъ, и она бы не могла ничего сказать не расплакавшись. Она радовалась на Китти и Левина. Возвращаясь мыслью къ своей свадьбѣ, она взглядывала на сіяющаго Степана Аркадьевича, забывала все настоящее и помнила только свою первую невинную любовь. Она вспомнила не одну себя, но всѣхъ женщинъ, близкихъ и знакомыхъ ей; она вспомнила о нихъ въ то единственное торжественное для нихъ время, когда онѣ, такъ же какъ Китти, стояли подъ вѣнцомъ съ любовью, надеждой и страхомъ въ сердцѣ, отрекаясь отъ прошедшаго и вступая въ таинственное будущее. Въ числѣ всѣхъ этихъ невѣстъ, которыя приходили ей на память, она вспомнила милую Анну, подробности о предполагаемомъ разводѣ которой она недавно слышала. *И она также чистая стояла въ померанцевыхъ цвѣтахъ и вуали...*“

Долли иногда утомлялась своимъ положеніемъ, и въ такія ми-

путы она склонна была относиться къ нему слишкомъ отрицательно и мечтать о другихъ положеніяхъ, въ которыхъ потребность къ личному счастію была бы болѣе удовлетворена. Проводя лѣто у молодыхъ Левиныхъ, она собралась навѣстить Анну, вернувшуюся съ Вронскимъ изъ-за границы и поселившуюся въ его имѣніи en famille.

Дома Долли, всегда полная заботъ о дѣтяхъ, никогда не имѣла времени думать о себѣ, всегда жила интересами минуты. Теперь, сидя одна въ коляскѣ, она въ первый разъ взглянула сбоку на свою жизнь, и ей неожиданно пришли такія мысли, какихъ она прежде не знала. Красивая молодайка на постояломъ дворѣ сказала ей, что радуется смерти своей дѣвочки, какъ избавленію отъ излишней обузы; и, какъ ни отвратительны были для Долли эти циническія слова, она чувствовала, что въ нихъ есть доля правды,—дурной, но правды.

„Да и вообще,—думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать лѣтъ замужества,—беременность, тошнота, тупость ума, равнодушіе ко всему и, главное, безобразіе—безобразныя страданія, эта послѣдняя минута... потомъ кормленіе, эти безсонныя ночи, эти боли страшныя... Потомъ болѣзни дѣтей, этотъ страхъ вѣчный; потомъ воспитаніе, гадкія наклонности, ученье, латынь; все это такъ непонятно и трудно. И сверхъ всего—смерть этихъ же дѣтей... И опять въ ея воображеніи возникло вѣчно гнетущее ея материнское сердце жестокое воспоминаніе смерти послѣдняго, грудного малютки, его похороны, всеобщее равнодушіе предъ этимъ маленькимъ розовымъ гробикомъ, и своя, разрывающая сердце, одинокая боль передъ блѣднымъ лобикомъ съ вьющимися височками, передъ раскрытымъ и удивленнымъ ротикомъ, виднѣющимся изъ гроба въ ту минуту, какъ его закрывали розовою крышкой съ галуннымъ крестомъ. И все это зачѣмъ? Что жъ будетъ изъ всего этого?—То, что я, не имѣя ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вѣчно сердитая, ворчливая, сама измученная и другихъ мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь, и вырастутъ несчастныя, дурновоспитанныя и нищія дѣти... Если предположить самое счастливое: дѣти не будутъ больше умирать, и я кое-какъ воспитаю ихъ,—въ самомъ лучшемъ случаѣ они только не будутъ негодяи. Вотъ все, что̀ я могу желать. Изъ-за всего этого столько мученій, столько трудовъ, загублена вся жизнь!..“

И снова Долли показалось, что въ гадкихъ словахъ молодайки

была часть грубой правды. И Долли представилось, что все кругомъ ея живетъ для счастія, и только ей одной нѣтъ мѣста въ радостяхъ жизни. Она пожалѣла, что не бросила мужа, когда узнала объ его измѣнѣ; она жалѣла, что не попыталась начать тогда новую, навѣрное,—думала она,—болѣе счастливую жизнь. Долли вспомнила мужчинъ, которымъ она нравилась, и ей казалось, что еще и теперь, несмотря на все, она могла бы быть счастливой и жить для себя. И ей представлялись самые невозможные и страстные романы съ воображаемымъ собирательнымъ мужчиной; въ воображеніи она признавалась во всемъ мужу, и мысль объ удивленіи и замѣшательствѣ Степана Аркадьевича заставляла ее улыбаться.

Но когда Долли увидѣла Анну и Вронскаго и ихъ холостой домъ, ея мечтанія разсѣялись какъ дымъ. День, проведенный въ этой безсемейной, искусственной, роскошной гостиницѣ, гдѣ Анна и Вронскій какъ будто на время занимали номера, совершенно измучилъ Долли. Она увидѣла, что съ этимъ, въ воображеніи представлявшимся ей въ такихъ очаровательныхъ краскахъ, съ этимъ міромъ любви внѣ разъ данной семьи, хотя бы несчастной и бѣдной, она въ глубинѣ души не имѣетъ ничего общаго. Долли только-что передъ тѣмъ тяготилась дѣтьми; но когда услышала отъ Анны теорію перожденія дѣтей, она почувствовала омерзѣніе; она увидѣла, что лучше всю жизнь мучиться и болѣть, преждевременно старѣться и дурнѣть, нежели быть красивой, какъ Анна, цѣною такихъ отвратительныхъ жертвъ. Долли страдала отъ бѣдности и разоренія; но теперь ей не нравилось богатство Вронскаго, покупавшееся такою сухостью души. И воспоминанія о своемъ разоренномъ домѣ, о нищихъ дѣтяхъ, изъ грустныхъ и безнадежныхъ стали для нея особенно дорогими,—стали для нея новою, сіяющею прелестью. Измучившія ее материнскія заботы, о которыхъ она думала дорогой съ такою ненавистью, явились ей въ новомъ свѣтѣ и непреодолимо тянули къ себѣ. Казавшійся ей тогда такимъ безсмысленнымъ, безцѣльнымъ, сѣренькимъ міръ ея заботъ, лишеній, несчастій и радостей сталъ теперь для нея такъ дорогъ и милъ, что она не могла прожить внѣ его ни одного лишняго дня.

Въ этомъ мірѣ она и осталась до конца своихъ дней. Иногда она возмущалась противъ мужа. Разъ она воспротивилась новой продажѣ лѣса. Другой разъ она не хотѣла продать имѣніе, но потомъ уступила мужу, спасая его честь.

Вотъ все, что мы о ней знаемъ, но этого немногаго достаточно, чтобъ имѣть объ ея характерѣ вѣрное понятіе. Есть натуры, которыя слишкомъ цѣльны, чтобы быть не только счастливыми, но даже и вѣрно оцѣненными въ массѣ. Какъ чистое золото слишкомъ тяжело и мягко, чтобы быть прочнымъ и удобнымъ для обращенія, такъ и чистые люди неудобны въ житейскомъ обиходѣ, несчастны и большею частью даже незамѣтны, остаются въ неизвѣстности и забвеніи. Вотъ и Долли: въ сущности, по своей задушевности, по безкорыстію своей любви, по идеализму своихъ побужденій, она стоитъ несравненно выше не только Анны, но и Китти; а между тѣмъ она стоитъ на второмъ планѣ, не только для большинства, но, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, даже для самого автора. Авторъ, рисующій ея характеръ съ такою задушевностью и часто съ такою высокою поэзіей, все же больше мѣста и силъ отводитъ Аннѣ и Китти. Почему?—Художникъ изображаетъ жизнь, а въ жизни цвѣтетъ и блистаетъ лишь то, что живетъ своими индивидуальными цѣлями и силами; ему въ жизни бываетъ первое мѣсто: ему—весь блескъ, вся красота формъ, всѣ блага земли, все личное счастье; то же, что, совершивъ величайшій подвигъ, отреклось отъ своей личности,—то, пріобрѣтая въ глазахъ большинства второстепенное значеніе, отходитъ въ мірѣ дѣйствительности на дальній планъ. И объективный художникъ, соблюдая перспективу оригинала, передаетъ ее своему снимку. И вотъ Долли отведено второстепенное по размѣрамъ мѣсто въ романѣ, рисующемъ дѣйствительную жизнь. Но зато ей отведены хотя сравнительно и не многія, но лучшія страницы романа.

Не надѣленная красками, кажущаяся безцвѣтною, Долли, среди блистающихъ и благоухающихъ женскихъ образовъ романа, изъ всѣхъ свѣтскихъ его женщинъ одна свѣтитъ алмазомъ чистой воды. Долли—худенькая и слабенькая, сидящая съ своими порѣдѣвшими волосами въ спальнѣ у Анны, въ своей заплатанной кофточкѣ, съ волненіемъ и жалостью слѣдящая за разсказомъ красавицы Анны; Долли, положившая свою нѣжную, исхудалую руку на головку провинившейся, рыдающей слезами раскаянія Маши; Долли, нѣжно упрекающая Левина за его суетное и близорукое самолюбіе, умоляющая Каренина простить Анну и въ подтвержденіе, забывая гордость, открывающая ему свое собственное семейное горе; Долли, платящая мужу добромъ за зло, прощеніемъ и любовью за пренебреженіе и разореніе; Долли, горюющая всѣми болѣзнями

и горестями дѣтей, счастливая однѣми ихъ утѣхами и радостями; Долли, неспособная промѣнять этотъ міръ, полный личныхъ несчастій, на всѣ блага земли,—*эта* Долли, дѣйствительно, героиня, а ея страницы—однѣ изъ самыхъ возвышенныхъ во всемъ романѣ. Она знала другое счастье, другое удовлетвореніе—счастье безкорыстной любви, полное удовлетвореніе собственною внутреннею правотой, непонятныя для большинства съ его побужденіями эгоизма и самолюбія, но для нея несомнѣнныя. Къ ней, какъ къ Татьянѣ Пушкина, Лизѣ Тургенева, матери (въ *Дѣтствѣ*) и Мари Болконской того же графа Толстого, могутъ быть примѣнены слова, которыя такъ любилъ Бѣлинскій:

Я все земное совершила,—
Я на землѣ любила и жила.

IX.

Въ романѣ гр. Толстого чуть-чуть мелькаетъ иногда одно лицо, на которомъ онъ какъ будто стыдился останавливаться подробно и долго. Это очень, очень жаль, потому что почти незамѣтно пріотворенная дверь, изъ-за которой такъ рѣдко и лишь на короткія мгновенія виднѣется вдали мелькающій образъ, эта отдаленная дверь ведетъ въ лучшія комнаты дома, въ лучшую часть души человѣка, гдѣ рождаются самые чистые и самые высокіе звуки поэзіи графа Толстого. Какъ будто художникъ не рѣшается ввести въ свою патріархальную, но все же аристократическую гостиную, гдѣ сидятъ Долли, Китти и Анна, какъ будто онъ конфузится провести туда и посадить съ ними рядомъ ту самую женщину, которую онъ же, освободивъ отъ ея позора и несчастія, надѣлилъ возвышающими ее надъ всѣми женщинами романа, трогающими насъ, самоотверженіемъ и чистотой.

Да и какъ, въ самомъ дѣлѣ, ему было ввести Марью Николаевну въ ея старомъ шерстяномъ платьѣ, безъ рукавчиковъ и воротничковъ, съ ея голыми пухлыми руками и шеей, съ ея рябоватымъ, добродушно-тупымъ лицомъ,—ввести ее въ великосвѣтскую залу, на балъ, въ это море кружевъ, тюля и лентъ, и посадить ее рядомъ съ Китти въ сложномъ тюлевомъ платьѣ на розовомъ чехлѣ, съ розетками, кружевными бертами, въ розовыхъ туфляхъ, веселящихъ ножку, съ говорящею бархоткой медальона на шеѣ,—рядомъ съ Анной въ черномъ бархатномъ платьѣ, обши-

томъ венеціанскимъ гипюромъ, съ маленькою гирляндой анютиныхъ глазокъ въ черныхъ чудныхъ волосахъ и ниткой жемчуга на точеной крѣпкой шеѣ? Согласитесь сами, это невозможно.

Да Марья Николаевна и сама бы туда не пошла. Она бы, конечно, не захотѣла видѣть снова выраженіе жаднаго любопытства въ томъ взглядѣ, которымъ Китти смотрѣла на нее — на эту непонятную для Китти, ужасную женщину; она бы снова вся сжалась и покраснѣла до слезъ. Она бы не желала, чтобы Левинъ, — тотъ самый Левинъ, которому она писала о всѣхъ нуждахъ Николая, — чтобы онъ въ ея присутствіи сталъ снова разрываться отъ стыда и страха за сахарную чистоту своей изящной куколки-жены. А если бъ она увидѣла Анну съ ея изящною, веселою и оживленною естественностью и простотой, она бы ужъ совсѣмъ потерялась.

Вѣроятно, Марья Николаевна, если бы какъ-нибудь случайно попала къ княгинѣ Бетси Тверской пить чай послѣ оперы въ ея городскомъ домѣ — въ ея школѣ злословія и безкровно-холоднаго разврата съ Тушкевичемъ à la Louis XV и лакеями всѣхъ сортовъ, или обѣдать въ обществѣ Лизы Меркаловой и Сафо Штольцъ съ ихъ мирно между собой уживающимися любовниками, — она, вѣроятно, и тамъ не имѣла бы духу досидѣть до конца. Здѣсь ей не пришлось бы краснѣть за свой прошедшій позоръ, — настоящее этихъ женщинъ было безспорно хуже ея прошлаго. Но, вспоминая свою прежде безсильную борьбу съ нищетой, быть-можетъ продажностью матери, жестокостью и развратомъ общественныхъ нравовъ, она слишкомъ бы тяжко страдала при видѣ тѣхъ женщинъ, которыя на верху земного могущества заливали грязью, безъ борьбы и стыда, послѣдніе обрывки человѣческаго достоинства. При видѣ этого отребья она ужаснулась бы за всю человѣческую породу. Она поколебалась бы на минуту въ той вѣрѣ въ человѣка, которая зажглась въ ея благодарномъ сердцѣ, когда Левинъ Николай взялъ ее изъ „дома“, когда онъ защищалъ ее у мирового судьи отъ полиціи, желавшей ее туда возвратить, когда онъ отъ брата Константина требовалъ ей уваженія и признанія, просилъ у любимаго брата сочувствія ей и любви. Отъ блестящаго паркета большой залы, изъ благовоннаго покоя à la Louis XV она съ восторгомъ вернулась бы въ зловонную комнату московскихъ номеровъ, въ грязную гостиницу губернскаго города, чтобы тамъ снова ходить съ любовью за своимъ умирающимъ другомъ, удерживать его отъ водки, смирять своимъ шопотомъ отъ раздраженія

и гнѣва, самой не слушая брани его болѣзненнаго каприза; чтобы писать Константину, изъ незаслуженнаго изгнанія, о несчастіи и нуждахъ обидно презрѣвшаго ее Николая, чтобы ѣхать съ нимъ за границу, чтобы на его долгомъ смертномъ одрѣ, забывая о будущей одинокой нищетѣ среди враждебнаго къ ней человѣческаго міра, смиренно стараясь сдѣлать себя незамѣтной, не оскорбить своимъ присутствіемъ хорошенькую, богатую, счастливую Китти, сослужить человѣку, который возвратилъ ей чистоту души,—сослужить ему, подавляя щемящую боль сиротѣющаго сердца, сослужить ему на этомъ свѣтѣ послѣднюю службу.

Я назвалъ Долли героиней. Но для Марьи Николаевны я не могу подыскать столь же точнаго опредѣленія. Я не могу послѣ Долли назвать ее героиней, но не потому, чтобы Долли вела свой родъ отъ людей, которые были возвеличившимися и прославленными тысячелѣтнею службой народу потомками иноземнаго пришельца,—а дѣвушка и вовсе никакого родового прозвища, извѣстнаго намъ, не имѣла,—не поэтому я не рѣшаюсь назвать Марью Николаевну героиней, а потому, что этотъ литературный терминъ слишкомъ для нея казарменъ, слишкомъ неспособенъ выразить всей ея высоты. Я знаю только одно слово, которое могло бы собою выразить все, и я бы сказалъ его, если бы литературная критика обладала властью канонизировать чистые образы художника, который неспособенъ утратить вполнѣ своей высоты даже въ слабостяхъ и заблужденіяхъ, недостойныхъ его великаго таланта.

Чистый солнечный лучъ не нуждается въ широкихъ окнахъ, въ рѣзныхъ рамахъ, въ граненомъ зеркальномъ стеклѣ. Ему этого не нужно, чтобъ освѣтить и согрѣть надеждой и вѣрой душу сидящаго въ тюрьмѣ человѣка. Довольно, если въ крышѣ есть маленькая, незамѣтная въ пасмурную погоду, щель. Лучъ озолотитъ ея края и прольется свѣтлою, золотою полосой до самаго дна. И измученная душа увѣруетъ снова въ сіяющее тамъ съ высоты на весь широкій міръ горячее солнце—и сдѣлается радостна, спокойна и свободна.

Чистый образъ несчастной дѣвушки не нуждался въ художественныхъ декораціяхъ, украшающихъ случайныя и тлѣнныя формы, не нуждался въ художественной перспективѣ, безсильной скрыть ничтожество, холодъ и мракъ, неспособной умалить и скрыть истинное добро и истинную славу. Онъ пробрался самъ сквозь маленькую щель, нечаянно оставленную для него искуснымъ строителемъ, пробрался—и вдругъ освѣтилъ всю мрачную и на развалины обреченную башню стариннаго за́мка.

Пусть другіе негодуютъ на него за мракъ его башни, пусть его будетъ впередъ по возможности меньше,—мы же не можемъ помнить одинъ окружавшій насъ мракъ, мы не можемъ забыть, что видѣли лучъ, возрождавшій въ насъ надежду и жизнь.

X.

Китти, которую гр. Толстой рисуетъ такими нѣжными и все же немного блѣдными красками,—княжна Китти Щербатская была самая обыкновенная, хорошая дѣвушка московскаго стародворянскаго круга. Въ ней было много изящества и граціи, правдиваго и нѣжнаго чувства, но не было дѣятельной мысли и широкихъ требованій жизни. Она не выходила изъ своего родного традиціоннаго круга и внѣ его ничего не искала. Она была, правда, цѣльная, но очень несложная натура, и этимъ существенно отличалась отъ Левина, съ его глубокими и сложными интересами духа, съ его чрезмѣрною тонкостью и широтой воспріимчиваго впечатлѣнія и неумѣренно развитою рефлексіей при слабыхъ сдержкахъ объединяющей отвлеченной мысли. Китти слишкомъ несложна въ сравненіи съ Левинымъ, который, повидимому, инстинктивно сознавая, что у него и у самого сложности довольно, даже слишкомъ, искалъ поэтому того, чего ему недоставало—ясной простоты и цѣльности. И это у нея было.

Графъ Толстой всегда съ любовью говоритъ о Китти, видимо сочувствуя вкусу Левина. И дѣйствительно, нѣкоторыя страницы романа Китти отличаются необыкновенно тонкими и нѣжными красками. Но, несмотря на то, ея образъ блѣденъ и немножко даже безцвѣтенъ. Вѣроятно, такъ вышло помимо расчетовъ гр. Толстого, который приписываетъ Китти „въ высшей степени“ ту черту, которой не доставало Варенькѣ—индивидуальность—и которая въ дѣйствительности выдѣлила бы черты Китти болѣе выпукло и энергично. Чего у нея было дѣйствительно много, это—породы, изящества безсознательной, органической, такъ сказать, культуры—этой чисто аристократической черты.

„Дѣтскость выраженія ея лица въ сравненіи съ тонкою красотой стана составляла ея особенную прелесть“. Но главное въ ней было „выраженіе ея глазъ — кроткихъ, спокойныхъ, правдивыхъ, и, въ особенности, ея улыбка, всегда переносившая Левина въ волшебный міръ, гдѣ онъ чувствовалъ себя умиленнымъ и

смягченнымъ, какимъ онъ могъ запомнить себя въ рѣдкіе дни своего ранняго дѣтства".

Но что было, что скрывалось тамъ за этою трогательно-правдивою непосредственностью ея дѣтской натуры?—Ничего, кромѣ кроткаго признанія окружающей жизни; ничего, кромѣ потребности имѣть любимаго человѣка-мужа и семью. Она была кротка, спокойна и проста не потому, чтобы все ей было ясно, а потому, что она ничего не вопрошала и ничѣмъ лично, кромѣ тихой патріархальной любви, не интересовалась. Это совсѣмъ не Лиза Калитина; это даже не княжна Марья Болконская,—это просто добрая, невинная дѣвушка безъ особеннаго содержанія, но сильная своею непосредственностью и цѣльностью.

Кругъ ея жизни въ ту минуту, когда завязывается двойной узелъ ея романа, очень несложенъ, чтобы не сказать—ординаренъ. Это—жизнь не мудрствующей лукаво барышни изъ „хорошаго" дома, которая начала жить съ тѣхъ поръ, какъ ее стали „вывозить", и вывозить, между прочимъ, въ особенности для того, чтобы выдать замужъ.

Ея отецъ, человѣкъ такой же милый своею простотой и непосредственностью, какъ и она, дорожитъ высоко ея достоинствомъ и чувствуетъ себя оскорбленнымъ, замѣчая въ женѣ планы на Вронскаго, котораго онъ такъ вѣрно угадалъ, говоря, что такихъ въ Петербургѣ на машинѣ дѣлаютъ. И Китти, также страдая отъ матеріализма побужденій матери и искренно увлекаясь твердостью и ясностью ограниченнаго Вронскаго, однако, невольно подкупается соображеніями о блестящей будущности съ этимъ богачомъ. Не то чтобъ она прямо думала о деньгахъ, но жизнь этого богатаго человѣка казалась ей блестящею, и этотъ тонъ „грубой и роскошной петербургской жизни" ее инстинктивно привлекалъ. Нѣкоторую безсознательную нечистоту этихъ побужденій она сама инстинктивно чувствовала: „какъ будто фальшь какая-то была не въ немъ,—онъ былъ очень простъ и милъ,—но въ ней самой". Такъ что нравственный тонъ Китти, подъ вліяніемъ матери и, вообще, ея круга, былъ не то чтобъ очень высокъ тогда. Вронскій, этотъ „глянцовитый голландскій огурецъ", конечно, и не могъ возбуждать къ себѣ чувства съ оттѣнкомъ идеальнымъ. И это чувство низшаго порядка Китти предпочла зарождавшейся истинной и духовной привязанности къ Левину. Когда она думала о прошедшемъ, она съ удовольствіемъ, съ нѣжностью останавливалась на воспоминаніяхъ своихъ отношеній къ Левину. Воспо-

минанія дѣтства и воспоминанія о дружбѣ Левина съ ея умершимъ братомъ придавали особенную поэтическую прелесть ея отношеніямъ къ нему. Его любовь къ ней, въ которой она была увѣрена, лестна и радостна ей. И ей легко было вспоминать о Левинѣ; съ Левинымъ она чувствовала себя совершенно простою и ясною. Но она была увлечена блескомъ ограниченнаго, яснаго и безсодержательно-твердаго Вронскаго, и въ сравненіи съ нимъ будущее любви духовно-одареннаго Левина казалось ей туманнымъ и неяснымъ. Она была слишкомъ низко настроена, чтобы выбрать Левина.

Вспоминая Левина, его лицо, она чувствовала слезы; счастіе ея съ Вронскимъ было отравлено. Но какъ мизерны были и эта жалость и это сомнѣніе! Мысль, что она виновата передъ Левинымъ, не вызывала въ ней страстнаго раскаянія, мучительно-горькихъ провѣрокъ совѣсти. Она себя утѣшала, она могла заснуть въ эту ночь. И какъ ни прелестна съ художественной стороны сцена, когда Китти передъ баломъ ведетъ у Долли съ Анной бальные разговоры, но она не можетъ загладить впечатлѣнія насупленныхъ бровей и отчаяннаго лица Левина, и производитъ грустное дѣйствіе.

Еще болѣе слышна эта нота въ Китти на балѣ, описаніе котораго такъ художественно объективно, что оставляетъ тяжелое впечатлѣніе. Вся эта свѣтская атмосфера бала представлена съ одной ея праздничной стороны, и даже болѣе—со стороны однихъ туалетовъ и пошлостей танцовальныхъ разговоровъ. Это чувствуется такъ сильно, что невольно вспоминаются слова Достоевскаго о „коленкоровыхъ манишкахъ безпощадныхъ Ювеналовъ“. Балъ Наташи Ростовской въ *Войнѣ и мирѣ*—совсѣмъ другое. Это чувствуетъ всякій, кто внимательно читалъ эти, столь различныя по нравственному тону, картинки. И Китти, при всей внѣшней ея миловидности, въ этой атмосферѣ несимпатична. И потому даже несчастіе ея на этомъ балѣ какъ-то не вызываетъ особеннаго сочувствія, — несчастіе открывшагося самообмана, благодаря которому она отказала человѣку, котораго, можетъ-быть, она любила, —отказала незаслуженно, вѣря въ любовь другого, въ свѣтскомъ смыслѣ болѣе блестящаго.

Китти не могла примириться съ своею уязвленною гордостью и заболѣла. То „нехорошее“, что̀ въ ней происходило, такъ много было проникнуто дешевою и довольно мелкою злобой на себя и на Вронскаго, что вызываетъ въ читателѣ сожалѣніе, но сожалѣ-

ніе не очень лестнаго для Китти разбора. Она не чувствовала потребности къ очищенію, которое является въ несчастіи у натуръ, одаренныхъ духовно и развивающихся, растущихъ отъ несчастія; она чувствовала только самолюбивый стыдъ и довольно мелкую злобу, которыя не оставили ея и тогда, когда добрая, сама несчастная Долли пришла къ ней со словами любви и утѣшенія. Изъ этого состоянія былъ одинъ выходъ: признать себя виноватою, прямо взглянуть истинѣ въ глаза, покориться и стряхнуть съ себя этотъ ложный и мелкій стыдъ и снова зажить по-старому. И когда отецъ, съ его добротой и ясностью, въ такихъ трогательно-простыхъ словахъ намекнулъ ей на этотъ единственно-вѣрный выходъ, Китти смѣшалась и заплакала; она чувствовала, какъ прямо они попадали въ цѣль.

Китти дошла до крайнихъ предѣловъ этого настроенія, и въ его крайности нечувствительно произошелъ переломъ въ ея душѣ. Она, наконецъ, сознала, куда она шла по дорогѣ къ Вронскому, почувствовала нравственную грубость атмосферы, въ которой жила и въ которой зародилось увлеченіе ея Вронскимъ. Послѣднимъ актомъ этого грубаго настроенія было оскорбленіе, нанесенное бѣдной, ее же утѣшавшей, Долли. Сознаніе жестокости этого поступка было первымъ поворотомъ къ ясному сознанію прежней лжи. Стоя на колѣняхъ передъ сестрой и со слезами прося ее простить ради ея горя, Китти высказала тогда впервые свое новое настроеніе—новый фазисъ. „Ты можешь ли понять,—говорила она Долли,—что мнѣ *все стало* гадко, противно, *грубо и, прежде всего—я сама?* Ты не можешь себѣ представить, какія у меня гадкія мысли обо всемъ,—какъ будто все, что было хорошаго во мнѣ, все сейчасъ *спряталось*, а осталось одно самое гадкое... Папа сейчасъ мнѣ началъ говорить, и мнѣ кажется, онъ думаетъ только, *что мнѣ нужно выйти замужъ.* Мама везетъ меня на балъ: мнѣ кажется, что она только затѣмъ везетъ меня, чтобы поскорѣе выдать замужъ... Жениховъ такъ называемыхъ я видѣть не могу“... Китти не могла отдѣлаться отъ этихъ мыслей. Совѣсть теперь сознательно объективировала въ ея глазахъ ту ложь и нравственную грубость свѣтскихъ интересовъ замужества, въ которой она дѣйствительно прежде жила и которая привела ее къ душевной катастрофѣ. Китти говорила, что она знаетъ, что все это неправда теперь; но она чувствовала, что прежде и долго это было въ принципѣ ея жизни дѣйствительно такъ. И совѣсть неотступно ее мучила. Она съ радостью набросилась на случай—болѣзнь дѣтей

Долли, чтобъ уединиться отъ опостылѣвшаго ей свѣта, чтобъ уйти отъ ненавистной *себя* въ этомъ грубомъ свѣтѣ. Но это не помогло. Сердце ея все же было разбито. И родные повезли лѣчить ее за границу.

На водахъ добрая, но пустая и мелочно-свѣтская мать Китти окружила ее сейчасъ тою же старою, привычною свѣтскою атмосферой. Она заставила Китти представиться принцессѣ, которая надѣялась, „что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико", и очень тщательно заботилась, чтобы, при кристаллизаціи элементовъ „водяного" общества, въ ихъ княжескій кристаллъ не попало никакихъ демократическихъ крупинокъ. Но эта кристаллизація не помогла Китти и уже не могла ее интересовать. Ея душа была настроена въ другую сторону, нравственно болѣе строгую той атмосферы, какую могла предложить ей старая княгиня.

Душа Китти искала свѣжаго предмета для дѣятельности. Китти чувствовала потребность выйти изъ своего круга интересовъ личной любви, который до сихъ поръ одинъ она знала и который былъ такъ тѣсно связанъ съ ея прежнею свѣтскою жизнью; Китти желала обратить работу своей, искавшей выздоровленія, души на что-либо внѣшнее этому старому личному кругу. И поэтому она не могла не увлечься попыткой предаться тому внѣличному дѣлу милосердія и отвлеченной любви къ страдающему человѣчеству, которому служила Варенька; не могла не подчиниться вліянію этой дѣвушки, носившей въ себѣ воплощеннымъ то духовное лѣкарство, котораго инстинктивно жаждала и Китти для себя.

Въ сущности, Китти чувствовала то же, что всѣ люди болѣе или менѣе испытываютъ въ неудачахъ этого рода. Всѣ чувствуютъ потребность изъ разрушеннаго міра личнаго чувства перейти въ совершенно противоположный ему міръ внѣшней дѣятельности ума и воли и въ немъ найти отвлеченіе и жизнь, невозможную въ прежней области сердца. Только мужчинѣ это легче, потому что у него всегда готова эта объективная сторона внѣсердечной дѣятельности, а женщинѣ ее нужно создавать. Мужчинѣ легче найти этотъ отвлеченный міръ, въ которомъ скорѣе и проще ему смотрѣть на свѣтъ уже безъ того „розоваго флера", который прежде, когда онъ ждалъ личнаго счастья или имѣлъ его, окрашивалъ все въ веселый, радостный и яркій цвѣтъ, а потомъ, отдернувшись, открылъ ему однѣ развалины его души. Дѣвушкѣ же все это труднѣе, — ей нужно выдумывать объектъ этой нравственно-лѣкарственной дѣятельности. Но потребность ея живетъ и въ ней.

И пока не заживутъ эти болящія струны, пока не явится сама собою потребность новой любви, не заговоритъ снова голосъ личнаго счастья, до тѣхъ поръ и она будетъ искать прибѣжища въ этой, въ сущности посторонней для нея и уже безусловно-внѣшней ей, дѣятельности на пользу не отдѣльнаго человѣка, а всего общества.

То же было и съ Китти. Но это лѣченіе у нея продолжалось недолго. Оно тянулось ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы внутреннія ея раны затянулись и сила индивидуальной жизни пробудилась снова. Это обнаружилось, прежде всего, внѣ самой Китти. Въ Вареньку ея больные не влюблялись: они инстинктивно чувствовали, что источникъ индивидуальной жизни въ этой дѣвушкѣ уже изсякъ. Но въ Китти онъ только замеръ на короткое время. И когда онъ сталъ пробиваться снова наружу, она сейчасъ же стала способна, хотя и не преднамѣренно, увлечь собою человѣка. Это открытіе сразу показало ей ложь ея положенія и тщету надежды на пополненіе собственной ея жизни идеалами Вареньки. Она отшатнулась отъ нихъ тогда, когда внутреннее начало близости къ нимъ исчезло, и эти идеалы ея душѣ уже болѣе стали ненужны. Когда Китти *лично* выздоровѣла, тогда она сразу замѣтила, что неспособна болѣе увлекаться искренно-самоотверженнымъ служеніемъ дѣлу милосердія и общественной пользы. Она снова захотѣла сознательно того, для чего незамѣтно и безсознательно для нея выросли исцѣлившіяся, освѣженныя силы. Китти снова желала личной любви и личнаго счастія. Но пройденная школа несчастія дѣлала уже невозможнымъ возвращеніе того прежняго свѣтскаго круга интересовъ и свѣтской любви,—Китти была настроена уже болѣе духовно. Она еще не любила Левина, но она была настроена такъ, что была наклонна полюбить человѣка левинскаго круга. И когда она встрѣтила Левина снова, она полюбила его, и полюбила тѣмъ легче, что зародышъ любви къ нему уже давно жилъ въ ея душѣ.

Не будемъ слѣдить подробно за дальнѣйшею исторіей Китти. Читатель, конечно, помнитъ и самъ тѣ граціозныя сцены, гдѣ Китти, встрѣчаясь съ Левинымъ въ гостиной у Стивы передъ его тонкимъ обѣдомъ, испуганная, робкая, пристыженная и отъ того еще болѣе прелестная, покраснѣла, поблѣднѣла, опять покраснѣла и замерла, чуть вздрагивая губами, ожидая его. Или гдѣ она тщетно старалась поймать вилкой непокорный, отскальзывающій грибъ и, встряхивая кружевами, сквозь которыя бѣлѣли ея руки,

повернувъ къ нему свою прелестную головку и улыбаясь, говорила ему ничтожныя слова о медвѣдѣ, а въ нихъ звучали ему и просьба прощенія, и довѣріе къ нему, и нѣжная, робкая ласка, и обѣщаніе, и надежда, и любовь. Или гдѣ Китти, стоя подъ вѣнцомъ, вся полна была испуганнаго и радостнаго ожиданія, таинственнаго и глубокаго чувства, вступающаго въ новую жизнь, выражавшагося свѣтомъ и тихимъ сіяніемъ ея лица. Или какъ Китти послѣ свадьбы въ Покровскомъ, не проявляя, повидимому, никакихъ интересовъ, болѣе серьезныхъ, нежели *broderie anglaise* своего туалета и кладовой, въ душѣ, собирая силы и готовясь къ страшному будущему труду быть женой своего мужа, хозяйкой дома и матерью своихъ дѣтей, не упрекала себя за минуты беззаботнаго счастья любви, радостно имъ отдавалась и весело свивала свое будущее гнѣздо. Или какъ Китти передъ рожденіемъ сына, съ глубокимъ чувствомъ въ свѣтящихся глазахъ, быстро подойдя къ мужу, взяла его за руку и вся прижалась къ нему, обдавая его своимъ горячимъ дыханіемъ, страдая, жалуясь ему и любя его за свои страданія. Или ея идиллія съ Митей на рукахъ, когда она сердцемъ чувствуетъ мысли грудного ребенка, радуется добротѣ мужа, или въ лѣсу, подъ грозой и дождемъ, закрываетъ телѣжку съ беззаботно спящимъ подъ раскатами грома маленькимъ сыномъ.

Эти сцены прелестны, и Китти въ нихъ такъ миловидна и такъ привлекаетъ своею искренностью и тонкою простотой, что забыть ихъ, конечно, невозможно. Свѣжая почка сдѣлалась прелестною розой, развернула всѣ свои благоухающіе лепестки. Смотрѣть на нее и не любоваться на нее, конечно, нельзя. Любоваться, радоваться и ... только.

Графъ Толстой водилъ насъ по такимъ мѣстамъ и возбуждалъ въ насъ такія настроенія, что хотя, конечно, намъ пріятно провести нѣсколько минутъ въ хорошенькой, розовенькой комнатѣ съ маленькими и изящными куколками vieux saxe; хотя мы благодарны ему и за это новое художественное впечатлѣніе, но долго оставаться тамъ мы бы, все-таки, не могли. Лучъ, который обрадовалъ насъ тамъ, въ холодѣ и мракѣ, кажется намъ здѣсь слишкомъ уже розовымъ, неспособнымъ вызвать сильнаго освѣжающаго чувства. Намъ хочется поскорѣе выйти изъ этого розоваго міра и поскорѣе увидать, какъ солнечный лучъ, не окрашенный никакими отраженіями, играетъ золотомъ тамъ, на свободѣ, освѣщая дома въ городахъ и деревняхъ, искусство и природу, „лица добрыя и злыя“.

XI.

Вокругъ этихъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ романа движется огромное множество второ- и третьестепенныхъ фигуръ такъ же точно, какъ это бываетъ и въ дѣйствительной жизни, гдѣ люди разбиваются на кружки и гдѣ около каждой семьи и каждой отдѣльной личности вращается много другихъ лицъ. Для того, чтобы судить о мастерствѣ художественной перспективы романа, нужно знать, что, при удивительной живости этихъ второстепенныхъ образовъ, которые—одни часто, другіе лишь на мгновеніе—появляются передъ нами, но всегда и всѣ съ чертами опредѣленными и живыми, ихъ очень много, и это множество производитъ впечатлѣніе не пестроты и хаотичности, а необыкновенной жизненности,—до такой степени, что самое количество ихъ какъ-то скрадывается. Не считая дѣтей, на болѣе далекихъ планахъ стоитъ ни болѣе ни менѣе, какъ 99 лицъ изъ образованнаго класса и 67 человѣкъ изъ остальныхъ общественныхъ слоевъ. И всѣ эти полтораста фигуръ проходятъ передъ нами такъ, что каждая имѣетъ свои типическія черты, не мѣшается съ другими и не нарушаетъ впечатлѣнія отъ лицъ первостепенныхъ, составляя для нихъ фонъ необыкновенной жизненности.

Старики Щербатскіе, родители Долли, Китти и Наташи Львовой, нарисованы какъ живые. Старая княгиня, съ ея добротой, ординарнымъ аристократизмомъ и низменностью стремленій, и ея мужъ, старый князь, съ его живымъ, здравымъ и яснымъ умомъ, гордостью и простымъ, добрымъ сердцемъ, съ его чисто-русскою натурой, — оба очень типичны, такъ что я жалѣю, что планъ и цѣль статьи не позволяютъ мнѣ послушаться чувства и подольше на нихъ остановиться. Спокойная красавица Наташа Львова и ея мужъ, съ его тонкимъ и изящнымъ характеромъ и полнотою любви къ дѣтямъ, стоятъ немного подальше. Вокругъ нихъ — желтая графиня Нордстонъ, несимпатичная Левину, притворяющаяся гувернантка Китти, m-lle Linow, московскій полковникъ на водахъ, либеральничающій на время отпуска, m-me Шталь, піэтистка по случаю короткой ноги, чахоточный живописецъ Петровъ, влюбленный въ Китти, и ревнующая Китти жена его, Анна Павловна. Долли окружена дѣтьми: Таней, любимицей отца, съ его прекрасными глазами, наказаннымъ Гришей, преступницей въ ма-

линѣ Машей; нянюшкой Матреной Филимоновной, устраивающею все и въ московскомъ домѣ и въ Ергушовѣ; приказчикомъ ергушовскимъ, опредѣленнымъ въ эту должность Стивой изъ швейцаровъ за красивую и почтительную наружность и на всѣ вопросы Долли отвѣчающимъ, что съ „этимъ народомъ ничего не подѣлаешь"; Туровдинымъ, добродушнымъ, влюбленнымъ въ нее, ухаживающимъ за ея дѣтьми и утѣшающимся въ „Chateau des fleurs",—конторщикомъ и кучеромъ изъ Покровскаго, раздѣляющими ея антипатію къ Вронскому, мрачно и рѣшительно въѣзжающими въ старой и съ заплатанными крыльями коляскѣ въ роскошный подъѣздъ Вронскаго, и т. д. и т. д.

У Стивы тоже свой міръ: товарищъ Гриневичъ, съ длинными ногтями и кольцами на выхоленныхъ рукахъ, приводившихъ Левина въ раздраженіе; краснѣющая отъ поцѣлуевъ и коральковъ танцовщица Маша Гибисова; Васенька Весловскій, поджимающій ногу въ присутствіи дамъ, постыдно изгоняемый Левинымъ за волокитство и потомъ радостно встрѣчающій у Анны свидѣтельницу его позорнаго изгнанія — Долли; Бартнянскій, утѣшающій Стиву въ долгахъ; старый другъ камердинеръ Матвѣй, утѣшающій барина во всѣхъ скорбяхъ; татаринъ съ развѣвающимися фалдами въ „Англіи", ублажающій плотоядные вкусы Степана Аркадьевича; купецъ Рябининъ съ приказчикомъ, эксплуатирующіе его мотовство. У Левина, кромѣ погибшаго брата Николая съ его подругой, Марьей Николаевной, прежде всего—няня Агаѳья Михайловна. Она—первый другъ Левина, патріархально засѣдаетъ съ чашкой чаю въ его кабинетѣ, слушаетъ всѣ его разсужденія, знаетъ его насквозь, воюетъ и потомъ примиряется съ Китти. Рядомъ—главный врагъ Левина—его приказчикъ, радующійся каждой неудачѣ своего господина, изъ-за несочувствія барскимъ измышленіямъ, со своею всегда безнадежною и унылою миной. Потомъ—скотникъ Николай, который сочувствуетъ барину въ его желаніи жениться; Ермилъ, Титъ старый и Миша, учившіе Левина косить и чувствовавшіе себя въ равныхъ съ нимъ отношеніяхъ; староста Парменычъ, который у себя такъ радушно принимаетъ Левина, но въ то же время скрываетъ отъ Левина враждебныя его интересамъ хитрости мужиковъ; сынъ Парменыча, Ванька, и его молодая красавица-жена, увлекающіе Левина деревенскою идилліей; богатый мужикъ изъ Суровскаго уѣзда, у котораго все спорится, когда помѣщики сосѣдніе всѣ разоряются; его молодайка въ калошкахъ; сотрудники Левина въ артельномъ хозяйствѣ—Иванъ скотникъ, Рѣзуновъ и

Шкураевъ, полагающіе, что если кто будетъ обманутъ въ артельномъ дѣлѣ, то ужъ никакъ не они; красавецъ-извозчикъ, котораго Левинъ взялъ такъ, чтобы не обидѣть другихъ, и округляющій локти лакей у Дюссо, Егоръ, выслушивающій отъ помѣшаннаго счастьемъ Левина теорію любви; Кузьма, добросовѣстно полагающій, что баринъ можетъ ѣхать къ вѣнцу въ надѣванной рубашкѣ; солдатъ съ мальчикомъ въ сараѣ, разсуждающіе о собакахъ; старуха-хозяйка, что показываетъ Левину дорогу на болото и называетъ его касатикомъ; Ѳедоръ подавальщикъ, разсуждающій съ Левинымъ о Богѣ; старикъ благообразный, пчельникъ, который полагаетъ, что о войнѣ все обсудитъ самъ Александръ Николаевичъ, и т. д. и т. д.

Потомъ образованные люди, окружающіе Левина: помѣщикъ Свіяжскій, у котораго Левинъ никакъ не могъ различить связи между его мыслями и жизнью, умъ котораго имѣлъ особые этажи для себя и особые для публики—для общественнаго употребленія; его простая жена, его свояченица, съ вырѣзкой на груди — по адресу Левина; старый помѣщикъ, подобно Левину соблюдавшій, безъ всякихъ для себя выгодъ, огонь стародворянскаго алтаря; священникъ, смущающій Левина на исповѣди вопросомъ, какъ Левинъ поведетъ религіозное воспитаніе дѣтей, и потомъ передъ вѣнчаніемъ благословляющій жениха и невѣсту съ грустнымъ и усталымъ видомъ и съ невольною нѣжностью къ Китти; дьяконъ, ловко прячущій кредитку въ карманъ; шаферъ, мировой судья Чириковъ, сотрудникъ Левина по медвѣжьей охотѣ; товарищъ Левина по университету, профессоръ Катавасовъ, добродушный, съ ограниченно-ясвымъ умомъ и опредѣленно-узкими на все воззрѣніями,—очень типичный образъ; Песцовъ — въ томъ же родѣ, любящій разсуждать до конца, фразирующій объ искусствѣ, въ которомъ ничего не понимаетъ; молодой земскій врачъ—болтунъ, только-что со школьной скамейки; графиня Боль, къ которой Левинъ боится ѣхать съ визитомъ.

Вокругъ Китти, по поводу ея свадьбы: графъ Синявинъ и имѣющая на него виды хорошенькая княжна Чажская, знающая, что хотя Синявинъ и жалѣетъ, что онъ не десятый шаферъ, а все же будетъ скоро стоять съ нею передъ налоемъ, какъ Китти теперь съ Левинымъ; старая тетка Марья Дмитріевна; бабушка Наталья Борисовна, изъ-за близкой смерти которой торопятъ свадьбу, чтобы трауръ не отсрочилъ ея; зрительницы, любующіяся на пюсовое платье и жалѣющія „нашу сестру“; полицейскій

офицеръ у входа, пренебрегающій морозомъ для своего сіяющаго мундира.

Потомъ Вронскій, съ его товарищами: Петрицкимъ, который сообщаетъ, что его хотятъ посадить въ яму, что командиръ полка гонитъ, но что, вообще, все превосходно; князь Кедровъ, который вмѣстѣ съ Петрицкимъ пристаетъ къ какой-то нѣмкѣ, титулярной совѣтницѣ. Тутъ же хорошенькая любовница Петрицкаго, баронесса Шильтонъ; тутъ же, въ разсказѣ Петрицкаго, Бузулуковъ, стащившій на придворномъ балѣ конфеты и пойманный съ поличнымъ великою княгиней; полковой командиръ—старый юноша, наслаждающійся шампанскимъ и красненскимъ театромъ; князь Яшвинъ — игрокъ, человѣкъ съ безнравственными правилами, но смѣлый и прямой, любящій Вронскаго искренно и его первый другъ въ полку. И—самая крупная фигура въ этомъ мірѣ военныхъ—князь Серпуховской, съ его сіяніемъ успѣха и власти въ лицѣ, съ его аристократическою теоріей вліянія независимыхъ людей, по рожденію близкихъ солнцу, съ его нѣжнымъ участіемъ и деликатнымъ покровительствомъ Вронскому, съ его прекраснымъ сравненіемъ и глубокою фразой, что, зная одну женщину, которую дѣйствительно любишь, знаешь ихъ тысячи. Потомъ—губернаторъ кашинскій—Масловъ-Катька, страшный въ губерніи, но Вронскому только младшій, благосклонно покровительствуемый товарищъ по Пажескому корпусу. Потомъ — деревенскій дворъ Вронскаго: нѣмецъ-управляющій, который за столомъ вынимаетъ записную книжку; болѣзненный докторъ, сообщающій, что больная не въ авантажѣ обрѣтается, и, по аристократическому опредѣленію Анны, „хотя и не совсѣмъ нигилистъ, но ѣстъ ножомъ“; художникъ Михайловъ въ Римѣ — человѣкъ нервный и странный, тяжелый, но талантливый и независимый въ своемъ мірѣ искусства, который косвенно сводитъ его съ Вронскимъ; жена этого художника, перебранивающаяся съ мужемъ и все же составляющая его счастье; тамъ же, въ Италіи, встрѣтившійся товарищъ по корпусу Голенищевъ, лицо котораго Михайловъ занесъ въ своей художественной памяти въ число фальшиво-значительныхъ и которое на Вронскаго дѣйствовало такъ мучительно видомъ своихъ раздраженныхъ, безсильно жалующихся глазъ.

Наконецъ, родные Вронскаго: мать—женщина, имѣвшая сотни романовъ въ молодости, не любившая сына, холодная и безсердечная, желавшая купить сына деньгами, радовавшаяся его связи

съ Анной, какъ средству свѣтской шлифовки; братъ — кутила, но въ то же время придворный; его жена, Варя, согласившаяся принять подарокъ въ 75 тысячъ дохода, ухаживавшая за Вронскимъ послѣ его попытки самоубійства, но отказавшаяся принять у себя Анну по возвращеніи ея изъ Италіи.

Анна вводитъ насъ опять въ особенный міръ высшаго свѣта. Тамъ встрѣчаются Бетси Тверская съ Тушкевичемъ и ливрейнымъ лакеемъ; Лиза Меркалова — брильянтъ между стеколъ, съ ея усталымъ выраженіемъ неизъяснимыхъ глазъ; Сафо Штольцъ, крутая и подбористая, съ двумя неотступными поклонниками — упитаннымъ Васькой и княземъ Калужскимъ; глуповатая, но прямая, „единственная“ княгиня Мягкая, сдѣлавшая зеленый соусъ въ восемьдесятъ пять копеекъ и одна защищавшая Анну; княжна Варвара, за жизнь въ богатомъ домѣ Вронскаго прощавшая Аннѣ ея непризнанную свѣтомъ связь; Картасовы, сдѣлавшіе Аннѣ глупую сцену въ театрѣ; потомъ люди Анны: швейцаръ Капитонычъ, пускающій ее, несмотря на страхъ передъ Карениным, въ комнату къ сыну; Аннушка, горничная неразлучная; еще глупый Петръ, антипатичная семья въ вагонѣ, грязный, бородатый истопникъ, котораго Анна видѣла въ своемъ пророческомъ снѣ.

Наконецъ, служебный кругъ Каренина: правитель дѣлъ Слюдинъ и докторъ, близкіе и далекіе ему одновременно; Стремовъ— противникъ Алексѣя Александровича по службѣ, который ловко подставляетъ ему ножку, но въ свѣтѣ любезничаетъ съ женою врага; придворные, на выходѣ поздравляющіе Каренина съ лентой и, въ то же время, завидующіе ему и злобствующіе на него за его несчастіе; адвокатъ, неудержимо радующійся горю своего кліента и ловящій моль; помощникъ его, не одобряющій содержанія визитной карточки Каренина. И среди этого моря зависти, злорадства, интриги и злобы единственный островъ любви — тощая и восторженная графиня Лидія Ивановна.

Мы припомнили здѣсь далеко еще не всѣхъ. Всѣ эти лица, перечисленіе которыхъ здѣсь такъ утомительно и скучно, въ романѣ расположены такъ, что помогаютъ изображенію главныхъ лицъ и составляютъ для нихъ необходимый фонъ. Тамъ они поставлены такъ хорошо, что масса ихъ становится незамѣтна, какъ на большой картинѣ. Мастерство художественной перспективы поражаетъ еще и въ другомъ — внутреннемъ отношеніи. Въ образованіи человѣческихъ симпатій и связей, можетъ-быть, играютъ

роль не столько пространство и время, случайно сводящія людей въ извѣстный часъ и на данномъ мѣстѣ, сколько вліяніе общихъ или противоположныхъ склонностей, влеченій и привычекъ. Это внутреннее начало связываетъ людей или разъединяетъ, роднитъ или дѣлаетъ врагами. И если сравнить два-три кружка, сейчасъ можно замѣтить, что въ каждомъ изъ нихъ связующимъ началомъ является какая-либо общая склонность, дающая ему особый, отличительный тонъ. И здѣсь талантъ гр. Толстого является въ новомъ блескѣ. У него вы сейчасъ увидите этотъ психологическій реактивъ, этотъ показатель внутренней связи и отдаленности. Не остается никакихъ сомнѣній, никакихъ недоумѣній, почему Левинъ сходится съ Китти, Анна съ Вронскимъ, почему старый князь любитъ Левина и враждебенъ къ Вронскому, а жена его—наоборотъ; почему Левинъ сошелся съ Львовымъ, Катавасовымъ и былъ холоденъ къ своему брату; почему въ жизни Левина играла такую большую роль няня Агаѳья Михайловна. Однихъ соединяли задушевность и искренность характера, несмотря на разницу развитія и мнѣній, другихъ—органическая страстность природы, третьихъ—потребность обоюднаго дополненія. Совершенно понятно, почему у Бетси есть Тушкевичъ à la Louis XV и лакей, нисколько не похожій на Агаѳью Михайловну или Ѳедора подавальщика и, несмотря на пропасть, раздѣляющую его отъ его сіятельной госпожи, въ сущности одинакихъ съ нею вкусовъ и достоинства. Совершенно ясно, почему Левинъ Константинъ нѣжно любилъ Левина Николая, но никогда не могъ съ нимъ ужиться; почему Каренинъ, оставленный женой, сблизился съ Лидіей Ивановной; почему всѣ женщины свѣта, встрѣчающіяся у Бетси, — всѣ, кромѣ Анны и развѣ еще княгини Мягкой, — какъ будто сдѣланы изъ одного и того же тѣста; почему Вронскому ближе были такіе люди, какъ Яшвинъ, такой же охотникъ въ душѣ, какъ и онъ, но только на другого звѣря,—такіе люди, какъ Петрицкій, князь Кедровъ, князь Серпуховской; почему Вронскому не о чемъ было говорить съ Левинымъ даже въ минуту душевнаго размягченія. Сразу видишь какъ бы вышедшими наружу тѣ тайныя силы, которыя сблизили людей каждаго изъ этихъ разнохарактерныхъ кружковъ, одѣли ихъ каждаго въ особый тонъ, надѣлили особымъ кругомъ интересовъ, мнѣній и вкусовъ. Можетъ-быть, другіе укажутъ писателей, равныхъ графу Толстому или превосходящихъ его въ талантѣ схватывать такія неуловимо-тонкія черты внутренней близости и различія; но я позволяю себѣ сказать, что такихъ писателей я не

знаю ни въ нашей ни въ европейской литературѣ, что въ знаніи *этой* глубочайшей области человѣческаго сердца я не знаю другого, равнаго графу Толстому, таланта.

XII.

Романъ, главное содержаніе котораго есть дилемма семейнаго счастія и исторія душевной эмансипаціи рефлектирующаго русскаго человѣка XIX столѣтія, есть романъ семейный и философскій прежде всего. Но онъ, въ то же время, и общественный, такъ какъ въ немъ рисуются отношенія общества къ браку и семьѣ, такъ какъ въ немъ выводится человѣкъ, воплощающій въ себѣ моментъ исторіи общественнаго духа. Глубокое проникновеніе въ сущность такихъ основныхъ въ общественной жизни вопросовъ, какъ бракъ и семья, рисуетъ таинственныя разсудку формы человѣческаго общежитія, не зависящія отъ мѣста и времени. Но романъ обнажаетъ не одни внѣшніе устои общественнаго зданія: онъ раскрываетъ таинственнѣйшіе вопросы самой души общества, его важнѣйшихъ духовныхъ потребностей, воплощая въ художественномъ образѣ поворотъ общественнаго духа отъ стариннаго раціонализма къ непосредственному общенію съ природой и Божествомъ.

Анна Каренина есть романъ общественный, въ наиболѣе глубокомъ значеніи этого слова. Но большинству публики этого недостаточно. Оно требуетъ другого. Ему нужно, чтобы всѣ подлинныя событія современной общественной жизни были непремѣнно представлены, и притомъ съ такой точки зрѣнія, съ какой смотритъ на нихъ самый либеральный читатель. Вотъ тогда романъ называется общественнымъ. Или если въ немъ рисуются мечтательные и неосуществимые идеалы современной революціонной молодежи, выводятся воображаемые люди или небольшой кружокъ этой молодежи. Это напоминаетъ разсказъ о двухъ невѣждахъ, изъ которыхъ одинъ соглашался признать достоинство картины лишь въ томъ случаѣ, когда подъ каждою изъ ея фигуръ будетъ сдѣлана подпись съ обозначеніемъ возраста, чина и фамиліи, во избѣжаніе недоумѣній, а другой совѣтовалъ одѣть ихъ по своему вкусу.

Если прочитать *Анну Каренину* внимательно и безъ предвзятаго взгляда, то распространенное мнѣніе, что романъ этотъ

чуждъ общественной жизни, поражаетъ своею близорукостью. Въ сущности, на страницахъ романа не только что общество попадается на каждомъ шагу, но внѣ его тамъ ничего и нѣтъ, и оно представлено цѣльнымъ и вполнѣ, несмотря на спеціальную, повидимому, тему его. И это составляетъ его величайшее художественное достоинство.

Общество является не только въ типическомъ образѣ Анны и драматической коллизіи ея страсти съ семейнымъ началомъ и общественными требованіями, не только въ еще болѣе типичномъ Левинѣ, съ его исторіей внутренней борьбы и освобожденія и съ его отношеніями къ рабочимъ, къ крестьянамъ, къ помѣщикамъ, къ ученымъ и художникамъ, но всѣ остальныя полтораста фигуръ, съ ихъ миніатюрною отдѣлкой, — всѣ онѣ являются представителями разныхъ слоевъ общества, носителями его интересовъ, выразителями его современныхъ мнѣній и отношеній.

Въ романѣ гр. Толстого мы встрѣчаемся со всѣми слоями общества. Мы видимъ и высшій свѣтъ, и просто свѣтъ, и бюрократическія сферы, и бытъ военно-гвардейскихъ офицеровъ, и жизнь помѣщиковъ, и ученое сословіе, и врачей пяти сортовъ, и землевладѣльцевъ съ рабочими и крестьянами, даже съ кулаками. Все это — общество, во всѣхъ его перегородкахъ. Мы видимъ его и тогда, когда оно все соединяется—въ церкви, на свадьбѣ, въ клубѣ, въ театрѣ, на балѣ, на каткѣ, на выборахъ, на водахъ за границей, въ благотворительныхъ учрежденіяхъ, на концертахъ, въ университетѣ, на скачкахъ, въ комитетѣ министровъ, въ деревнѣ, на пашнѣ, на болотѣ, въ лѣсу, въ грязной уѣздной гостиницѣ, въ свѣтской гостиной, въ студенческихъ номерахъ, въ полковой артели, на маленькомъ семейномъ обѣдѣ, на пиру у полкового командира, на холостой квартирѣ офицера въ лагерной палаткѣ, на дачѣ, въ вагонѣ, на станціи, на рельсахъ желѣзной дороги. Вездѣ мы видимъ общество — и въ раздѣленіи, и во всевозможныхъ комбинаціяхъ, и даже ничего другого, кромѣ общества.

Все зданіе — передъ нашими глазами, со всѣми его этажами, флигелями и комнатами. Когда вы стоите передъ нимъ, вы не можете отрицать его существованія; но если вамъ не нравится его лѣстница или его освѣщеніе, то вы, когда васъ приглашаютъ войти, сдѣлаете видъ, что вовсе его не замѣтили, и васъ извиняютъ, если слухъ вашъ плохъ или зрѣніе слабо, но зданіе все-таки стояло и стоитъ.

Если войти въ этотъ большой домъ, то самыя свѣтлыя и вполнѣ

отдѣланныя будутъ тѣ комнаты, гдѣ живутъ дѣти, и особенно—комната Сережи, сына Карениной. Этотъ добрый, умный, одаренный Сережа кажется гувернеру, учителю и даже отцу мальчикомъ непослушнымъ, лѣнивымъ и неспособнымъ. Гувернеръ велѣлъ Сережѣ, чтобъ онъ самъ снялъ съ себя поддевку, вернувшись съ гулянья, а Сережа не обратилъ вниманія на слабый голосъ славянина и стоялъ со старымъ швейцаромъ, съ довѣріемъ опираясь на его перевязь, и разговорился съ нимъ о самыхъ задушевныхъ предметахъ: о несчастномъ подвязанномъ чиновникѣ, котораго они сговорились устроить такъ, чтобъ Алексѣй Александровичъ принялъ его просьбу, объ игрушкахъ въ подарокъ отъ Лидіи Ивановны, о томъ, что отцу отъ Царя награда вышла, и т. д.

Гувернеръ сѣлъ съ Сережей приготовлять урокъ грамматики къ приходу учителя, а Сережа задумался о наградахъ отцу и себѣ, когда онъ будетъ большой. Сережу хотѣли учить грамматикѣ, наукѣ о формѣ словъ, называющихъ явленія жизни, а Сережа хотѣлъ думать о самой жизни, а не о словахъ.

И вотъ онъ, слушая гувернера, не слыхалъ его словъ и замечтался о томъ, какъ будутъ выдумывать новые ордена, старше нынѣшнихъ, и какъ онъ сейчасъ же ихъ и заслужитъ. Пришелъ учитель и сталъ толковать объ „обстоятельствахъ времени, мѣста и образа дѣйствія“, и мальчикъ не могъ никакъ понять, какъ такое маленькое и совершенно понятное слово — „вдругъ“ — должно означать цѣлыхъ три длинныхъ и уже совершенно непонятныхъ слова: „обстоятельство (?) образа (?) дѣйствія (?)“. И мальчикъ, огорченный огорченіемъ учителя и обвиняя себя за свое непониманіе, былъ въ недоумѣніи, зачѣмъ это всѣ его воспитатели будто сговорились говорить одно скучное ему и ненужное. Отецъ пришелъ дать Сережѣ урокъ закона Божія, и Сережа замечтался объ Енохѣ, взятомъ живымъ на небо, и съ этимъ соединялъ мечты о матери, будто бы, по словамъ окружающихъ, умершей, во что онъ совершенно не вѣрилъ.

Противорѣчіе между нашею, поистинѣ варварскою, педагогіей русскаго языка и законами дѣтской природы представлено здѣсь необыкновенно тонко и трогательно. Педагогія нынѣшняя толкуетъ о всевозможныхъ премудростяхъ и не знаетъ простѣйшаго психологическаго закона, заключающагося въ томъ, что логическія опредѣленія, а потому и грамматическія категоріи, есть труднѣйшій для процесса обобщенія экстрактъ изъ огромнаго круга понятій и представленій. Педагогія не понимаетъ того элементарнаго пра-

вила, что нельзя начинать воспитаніе ума, этого въ ребенкѣ столь нѣжнаго органа, съ того, что есть труднѣйшее дѣло даже для окрѣпшаго вполнѣ разсудка взрослаго человѣка, — не понимаетъ того, всѣмъ извѣстнаго, положенія, что всякое дѣло надо начинать съ начала, а не съ конца. И вотъ педагоги-методики впадаютъ именно въ эту грубѣйшую ошибку: не расширяя въ ребенкѣ круга его *впечатлѣній* и *представленій*, закрывая ему путь къ образованію *понятій*, они сразу наваливаютъ на его мозгъ страшную работу, прямо пичкаютъ его *опредѣленіями!* Но добро бы еще опредѣленіями понятій о чемъ-либо конкретномъ, — это бы еще полбѣды, — нѣтъ, они учатъ опредѣленіямъ не вещей, не понятій даже, но опредѣленіямъ ихъ названій, не вещей, но *словъ!* И этому они учатъ не взрослыхъ людей, а маленькихъ дѣтей съ приготовительнаго класса! И потому коротенькая, прелестная сцена уроковъ Сережи Каренина объ этомъ печальномъ „обстоятельствѣ“ истинно постыднаго для русской педагогіи „образа дѣйствія“ такъ много мнѣ говоритъ, — больше, чѣмъ длиннѣйшіе ученые трактаты.

Воспитатели Сережи „жаловались, что онъ не хотѣлъ учиться; а душа его была переполнена жаждою знанія. И онъ учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василья Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отецъ и педагоги ждали на свои колеса, давно уже просочилась и работала въ другомъ мѣстѣ“. Это „другое мѣсто“ у Сережи было хорошее, потому что Капитонычъ-швейцаръ и няня-старушка были прекрасные люди; но... люди не всѣ хороши, а у другихъ дѣтей часто вода, просачиваясь черезъ гніющія доски ветхаго шлюза, работаетъ въ дурномъ мѣстѣ и для дурного дѣла.

XIII.

Графъ Л. Н. Толстой, съ его тонкимъ умомъ и глубокимъ чувствомъ чуткаго сердца, не могъ отнестись иначе, какъ отрицательно, не только къ современной педагогіи, но и къ другимъ формамъ общественной дѣятельности, ко всему ея господствующему направленію. Нельзя относиться серьезно къ „бывшему“ студенту Крицкому, организующему слесарную артель въ деревнѣ, гдѣ она не нужна, къ занятію тѣхъ милыхъ людей, которые тамъ, въ залѣ Кашинскаго собранія, утѣшались выбираніемъ себѣ предводителя, или къ комитету 4 августа, гдѣ засѣдали и подкапывались другъ

противъ друга Каренинъ и Стремовъ. Нельзя относиться къ этимъ вещамъ иначе, какъ къ игрушкѣ, иногда очень милой, иногда очень опасной,—не потому, чтобъ онѣ сами по себѣ были безсмысленны, а по той, всѣмъ давно извѣстной причинѣ, что существуютъ такія, очень разнородныя, но все равно непреодолимыя стихійныя силы, которыя, иногда смѣшно, иногда ужасно, приводятъ всѣ эти попытки общественной дѣятельности къ нулевому и даже, большею частью, къ отрицательному результату. Здѣсь у гр. Толстого есть нѣкоторая не то что связь, а мостикъ, по которому желающіе могутъ перебраться къ Щедрину. И потому противъ такихъ сценокъ, какъ выборы предводителя дворянами Кашинской губерніи, или засѣданіе комитета 4 августа, или комиссіи 18 сентября объ инородцахъ въ отношеніяхъ этнографическомъ, экономическомъ, религіозномъ и т. д., — противъ этихъ прелестныхъ по тонкости чутья и мысли картинокъ можно сказать развѣ то, что въ нихъ графъ Л. Н. Толстой вступаетъ въ такую область, которая составляетъ спеціальность талантовъ другого характера и другихъ направленій, разработавшихъ ее если не такъ добродушно и тонко, какъ графъ Л. Н. Толстой, зато несравненно сильнѣе и типичнѣе. Но такое возможное возраженіе само по себѣ не важно и имѣетъ лишь формальный характеръ. Для критики эти сцены— дорогая даже находка, потому что онѣ кидаютъ, во-первыхъ, очень яркій свѣтъ на многое, прежде бывшее непонятнымъ въ болѣе раннихъ произведеніяхъ гр. Толстого, и, во-вторыхъ,—что̀ тоже очень важно,—уясняютъ его связь съ другими областями жизни и литературы, его отдаленное отношеніе къ другой вершинѣ современной русской мысли — къ Щедрину.

Таковъ былъ постоянный тонъ отношенія графа Л. Н. Толстого къ идеѣ общественной дѣятельности, для которой онъ, повидимому, не только симпатіями своего таланта, но и убѣжденіемъ находилъ одну лишь сколько-нибудь возможную арену — литературу и народную школу. И нѣтъ сомнѣнія, что въ глубинѣ своихъ основаній этотъ тонъ былъ совершенно вѣренъ.

Но умы, болѣе грубые, и чувства, не такъ далеко проникающія, не понимали мысли гр. Толстого и съ близорукою страстностью порицали его за ретроградное, будто бы, направленіе. Отъ этого дѣло запуталось и осложнилось. Случилось то самое, что̀ всегда бываетъ въ спорѣ именно тѣхъ людей, которые очень страстно дорожатъ чистотою своей задушевной идеи, которые, раздражаясь поэтому споромъ, теряютъ способность понимать другъ друга,

слишкомъ сгущаютъ свои краски, обостряютъ свои положенія, доходятъ до крайности и, наконецъ, достигаютъ послѣдней степени изолированія своей, прежде широкой, идеи, превращая ее въ узкую и безпристрастнаго свидѣтеля отталкивающую тенденцію. То же было и съ гр. Л. Н. Толстымъ. Его не понимали и бранили, и онъ сталъ отрицать уже всякій смыслъ, и уже во всякой общественной дѣятельности самъ, въ то же время, продолжая быть такимъ общественнымъ дѣятелемъ, какихъ у Россіи немного. И вотъ гр. Толстой, попрежнему уча общество тому, что оно забыло, попрежнему продолжая лѣчить современное общество отъ его душевной болѣзни, возрождая и расширяя въ немъ измельчавшую и исковерканную область непосредственнаго чувства, — графъ Толстой, хотя логически совершенно непослѣдовательно, но вполнѣ искренно и вѣрно своему изолировавшемуся отъ оскорбленія чувству, сталъ думать и говорить, что живетъ лишь для того, чтобъ „ему съ семьей было какъ можно лучше“.

Это соединялось у него чрезвычайно своеобразными путями и съ другимъ теченіемъ, тоже очень у него глубокимъ,—съ индивидуализмомъ. Гр. Л. Н. Толстой полагалъ вмѣстѣ съ Левинымъ, что *способность дѣятельности для общаго блага*, которой онъ чувствовалъ себя совершенно лишеннымъ, можетъ-быть и не есть качество, а, напротивъ, недостатокъ чего-то, — не недостатокъ добрыхъ, честныхъ, благородныхъ желаній и вкусовъ, но *недостатокъ силы жизни* (переводи: эгоистическаго индивидуализма), — того, что̀ называютъ сердцемъ (переводи: *непосредственнымъ влеченіемъ къ индивидуальному счастію)*,—того стремленія, которое заставляетъ человѣка изъ всѣхъ безчисленныхъ представляющихся путей жизни выбрать одинъ и желать этого одного (переводи: *выбрать одну женщину для любви и семьи и опредѣленный трудъ для благоденствія съ ними).* Гр. Толстой былъ такъ глубоко убѣжденъ, что вся непосредственная сила жизни цѣликомъ направлена на достиженіе лишь индивидуальнаго счастія, что всякое стремленіе къ счастію общему, къ общему благу, казалось ему исходящимъ не изъ сердца, а изъ теоретическаго разсужденія. И вотъ гр. Толстой вмѣстѣ съ Левинымъ полагалъ, что „и Сергѣй Ивановичъ (Кознышевъ), и многіе другіе (почему же не всѣ? было бы, по крайней мѣрѣ, послѣдовательно) дѣятели для общаго блага не сердцемъ были приведены къ этой любви къ общему благу, но умомъ разсудили, что заниматься этимъ хорошо, и только потому занимались этимъ“. Гр. Л. Н. Толстой и Ле-

винъ искренно думали такъ *тогда* (потомъ они стали думать иначе) и искренно *тогда* не сознавали, что эта ихъ мысль есть логически довольно тонкое, но нравственно очень грубое софистическое ухищреніе.

И вотъ гр. Толстой типическими представителями общественныхъ дѣятелей вывелъ Кознышева и Вареньку,—Кознышева, который противорѣчиво оказывается то нисколько не больше принимающимъ къ сердцу вопросы объ общемъ благѣ и безсмертіи души, чѣмъ о шахматной игрѣ, то вдругъ отдающимся всецѣло интересамъ сербской войны, — и Вареньку, которая дѣлается сестрой милосердія, потому что ее бросилъ женихъ, и которая потомъ очень была бы довольна, бросивъ своихъ больныхъ, выйти замужъ за Кознышева.

И тутъ графа Толстого постигла странная, очень характерная участь. Кознышевъ съ маленькою двойственностью, а Варенька вполнѣ, но все-таки оба—вышли живыми типичными лицами и останутся навсегда въ портретной галлереѣ типовъ русской литературы, а привязанная къ ихъ образамъ разсудочная тенденція индивидуализма, для доказательства которой они были введены въ романъ, казалась болѣзненной, никѣмъ не была принята и впослѣдствіи открыто была отвергнута самимъ графомъ Толстымъ.

Посмотримъ сначала на Вареньку.

XIV.

M-lle Варенька не всегда была совершенно такою безцвѣтною и безжизненною дѣвушкой, лишенною личности и молодости и отдавшею все свое существо дѣлу милосердія, самоотреченія, какою мы узнаемъ ее на водахъ въ Соденѣ. Было время, когда и въ ней, освѣщая ее всю, горѣлъ огонь личной жизни. Теперь отъ него остался лишь слабый отблескъ, являвшійся изрѣдка, при воспоминаніи о дняхъ, когда и она любила, когда и она надѣялась на личное счастье жизни. Но, вѣроятно, и тогда въ ней не было живой, энергичной индивидуальности, потому что иначе ея бывшій женихъ, конечно, не бросилъ бы ея и не послушался бы матери. Но все же тогда была личная любовь и надежда на личное счастье. Когда онѣ разрушились, когда исчезъ и послѣдній запасъ индивидуальной силы, Варенька отдала оставшуюся въ ней безличную жизнь на то безличное дѣло милосердія, въ ко-

торомъ она равно и безцвѣтно любила всѣхъ страдающихъ, не любя опредѣленно никого и всю себя посвятивъ одной лишь идеѣ, однимъ лишь общимъ, объективнымъ интересамъ жизни. Всякое напоминаніе о возможности личныхъ симпатій вызывало въ ней лишь тихую и грустную улыбку о безвозвратно разбитой, но когда-то дорогой иллюзіи, нѣкоторую радость при мысли, что у нея все же осталась область, не доступная личнымъ лишеніямъ и горести, и нѣкоторую безсознательную усталость при мысли о томъ, что эту, хотя и спокойно-твердую, но все же безличную и безцвѣтную, жизнь нужно вести еще долгіе годы. Такова была улыбка Вареньки, когда она отвѣчала на порывы восторженной дружбы Китти.

Китти, слушая пѣніе Вареньки, гордилась безучастіемъ ея друга къ вниманію слушателей, но съ недоумѣніемъ и симпатіей страшивала себя, что можетъ давать Варенькѣ „эту силу пренебрегать всѣмъ, быть независимо-спокойною?“ Китти не знала, что истинная причина равнодушія Вареньки къ похваламъ за ея пѣніе лежала въ увѣренности, что слушатели, сколько бы ни хвалили ея голосъ, не дадутъ ей, однако, чего-то болѣе дорогого,— не дадутъ той главной похвалы ей самой, не дадутъ ей личной любви, не дадутъ ей никогда личнаго счастья, — и не только тѣ слушатели, которые сидѣли тогда въ гостиной княгини Щербатской, но и всѣ другіе слушатели, всѣ остальные люди. И зная, что у нихъ не найдется для нея главнаго, она не придавала никакой цѣны второстепенному. Она пѣла, чтобы не обидѣть отказомъ, но похвалы она уже ни отъ кого и ни за что не могла ждать и не хотѣла. Она вся ушла въ свой безличный міръ милосердія, за которое носила похвалу въ самой себѣ, въ своемъ религіозномъ чувствѣ и въ своей потребности отдать уже никому въ отдѣльности не нужную жизнь на служеніе всѣмъ,—всѣмъ тѣмъ особенно, которые своимъ тѣлеснымъ страданіемъ напоминали ей ея собственное прошлое, уже полузаглохшее духовное страданіе. И она искренно и серьезно служила дѣлу милосердія, которое одно ей оставалось. Китти не могла этого понять, особенно того спокойствія самоотреченія: она не понимала, что самоотреченіе въ Варенькѣ явилось раньше, чѣмъ она приложила его къ внѣшнему предмету ея дѣятельности. Варенька отреклась отъ себя еще тогда, когда любимый человѣкъ ее оставилъ, — еще тогда она отреклась отъ личной любви и личнаго счастья, т.-е. отъ самой себя.

Но Варенькѣ пришлось еще разъ испытать колебаніе и со-

блазнъ воспользоваться тѣмъ благомъ личной жизни, которое—она думала—для нея уже не существуетъ. Ей суждено было испытать это при встрѣчѣ съ ученымъ Кознышевымъ.

Когда Китти вышла замужъ, Варенька исполнила свое обѣщаніе и пріѣхала къ ней въ деревню. Тамъ она встрѣтила Кознышева—человѣка, у котораго была одна, общая съ ней, преобладающая черта. У Кознышева, такъ же какъ и у Вареньки, не было того главнаго, что̀ нужно для любви и семьи,—не было личной, индивидуальной жизни. Оба они жили одними общими, общественными интересами исключительно, а своихъ личныхъ почти не имѣли: Варенька отдана была вся общему интересу милосердія, Кознышевъ весь былъ преданъ отвлеченной мысли. У обоихъ послѣдній толчокъ къ этому самоотреченію былъ данъ первою неудачною попыткой личной любви. У Вареньки была нѣкоторая вялость натуры, у Кознышева — нѣкоторая разсудочная сухость. У обоихъ преобладала сознательность воли надъ инстинктивною силой непосредственнаго чувства. Кознышевъ жилъ одною духовною жизнью, но эта духовная жизнь Кознышева была неполна и одностороння. Она ограничивалась одною сферой объективнаго знанія, отвлеченной мысли; область непосредственнаго чувства была въ ней почти атрофирована,—для нея не было мѣста въ душѣ Сергѣя Ивановича. И потому онъ былъ сухъ и лишенъ сердечной теплоты. Онъ не могъ примириться съ дѣйствительностью; но онъ и не могъ любить людей непосредственно и тепло. И это вовсе не потому, чтобъ онъ былъ слишкомъ для того высокъ, а потому, что онъ видѣлъ одни мысли и умы людей, дѣйствительно уступавшіе ему по силѣ механизма, но не могъ видѣть ихъ сердца и любить его, потому что самъ обладалъ имъ лишь въ очень ограниченномъ смыслѣ. У него нѣтъ „той слабости, которая нужна для того, чтобы влюбиться“, но у него нѣтъ и той мягкости, необходимой для того, чтобы любить. Онъ живетъ не для себя,—это такъ; но онъ живетъ для своихъ мыслей, для своего ума. У него вся жизнь подчинена не долгу, — это тоже правда; но долгу можетъ быть подчинена не одна жизнь мысли, но и жизнь чувства, а у него долгъ не распространялся на послѣднюю потому, что ея почти вовсе и не было.

Варенька и Кознышевъ нравились другъ другу. Ихъ счастью, казалось, не было никакихъ препятствій: они были свободны; у него были средства; они совершенно подходили другъ къ другу; ихъ родные и друзья всѣ желали ихъ брака. Что же имъ помѣ-

шало сойтись окончательно? — Только одно, но какъ разъ самое главное, — недостатокъ непосредственнаго чувства, слабость въ обоихъ индивидуальнаго начала. Оно было такъ слабо, что не могло преодолѣть разсудочности въ Кознышевѣ и самой ординарной конфузливости въ обоихъ. Критика разсудка и неловкость признанія сопровождаютъ чувства у всѣхъ людей; но обыкновенно сила чувства побѣждаетъ эти внутреннія препятствія, выходитъ наружу и соединяетъ людей. У Вареньки же и у Кознышева все дѣло остановилось, повидимому, изъ-за неловкости признанія, на дѣлѣ же потому, что въ ихъ безличныхъ натурахъ чувство было такъ слабо, что не могло побѣдить самой обыденной конфузливости. Они видѣли, что любятъ другъ друга, они совсѣмъ рѣшились и уже приступили къ послѣднему слову, какъ тутъ-то чувства и не хватило. „Не беретъ", — какъ говорила Китти мужу, возвращаясь изъ лѣса. Двѣ коротенькія главы передаютъ эту смѣшную и грустную исторію необыкновенно ярко, особенно для Сергѣя Ивановича. Его разсужденія, такія сначала логически-правильныя и потомъ вдругъ оказавшіяся несостоятельными, однако незамѣтно для него самого, направлялись, въ сущности, кратковременными приливомъ и потомъ отливомъ непосредственнаго чувства влеченія къ Варенькѣ. Пока оно говорило въ немъ, онъ не придавалъ значенія памяти умершей Marie, и онъ нашелъ невозможнымъ измѣнить ей тогда, когда слабый приливъ чувства къ Варенькѣ прекратился, побѣжденный собственнымъ безсиліемъ и внѣшнею стыдливостью. Кознышевъ нашелъ, что онъ разсуждалъ неправильно. Въ дѣйствительности же онъ чувствовалъ слабо, и Варенька тоже. А чувство въ нихъ было слабо только потому, что недостаточна была создающая семью личная, индивидуальная жизненность.

XV.

Такіе люди, какъ Варенька и Кознышевъ, — люди, лишенные индивидуальнаго начала, — дѣйствительно существуютъ во всякомъ обществѣ; ихъ можетъ быть даже и довольно много. И потому фигурки Вареньки и Сергѣя Ивановича вышли необыкновенно живыми, какъ все, что рисуетъ гр. Толстой. Это очень живые типы между другими, столь же или еще болѣе живыми, типами, но никакъ не больше.

Они, конечно, ничуть не доказываютъ тенденціозной теоремы, поставленной въ ихъ заголовкѣ. Теорема такая:

1) *Область непосредственнаго чувства совпадаетъ въ человѣкѣ съ областью его индивидуальнаго начала. И та и другая направлены на одну и ту же цѣль — на достиженіе только индивидуальнаго, личнаго счастія.* Въ послѣднемъ главнѣйшую роль играетъ стремленіе къ размноженію, къ воспроизведенію индивидуальности въ новыхъ индивидуумахъ. Слѣдовательно, тотъ, кто лишенъ или почему-либо лишился этого творческаго стремленія къ возсозданію индивидуальности, — тотъ долженъ оставить прежнюю цѣль личнаго счастія.

2) Такъ какъ *желаніе индивидуальнаго счастія не дано человѣку въ непосредственномъ чувствѣ*, то, слѣдовательно, нѣтъ и общаго блага, какъ исходящей изъ непосредственнаго чувства и потому живой и разумной для индивидуума цѣли. Если же не существуетъ общаго блага, какъ живой индивидуальной цѣли, то, очевидно, не имѣетъ никакого разумнаго основанія и то средство, которое, по странному заблужденію людей, будто бы ведетъ индивидуума къ этой безсмысленной цѣли. Если нѣтъ общаго блага, то, несомнѣнно, нѣтъ и общественной дѣятельности. Очень просто!

3) Отсюда неизбѣжный выводъ: человѣкъ, утратившій личное счастіе и, по общечеловѣческому свойству, неспособный жить для чьего-либо другого счастія, кромѣ своего собственнаго, долженъ, если только желаетъ соблюсти разумность и искренность, смертью окончить жизнь свою. Такъ поступаетъ Анна. Это очень послѣдовательно и, значитъ, очень хорошо. Но вотъ досада: многіе нелогичные люди и послѣ потери личнаго счастія все-таки непремѣнно хотятъ еще немножко пожить на свѣтѣ! Что съ ними прикажете дѣлать? Пожалуй, пусть ихъ поживутъ еще; но сохранить за ними репутацію людей разумныхъ и искреннихъ никакъ, конечно, невозможно. Очевидно, они обманываютъ и себя и другихъ: они, рѣшаясь жить для общаго блага, цѣпляются только за него, какъ за жалкое воображаемое отвлеченіе отъ единственно дѣйствительной, но для нихъ навсегда разбитой и уже неосуществимой цѣли. При чемъ оказывается, что столь жалкое фиктивное утѣшеніе этихъ заблудшихся умомъ и сердцемъ людей бываетъ, къ вящшему позору человѣческой логики, еще двухъ видовъ. Человѣкъ или побуждается желаніемъ приложить къ какой-либо внѣшней дѣятельности безполезный уже остатокъ сердца: напри-

мѣръ, м-lle Варенька — сестра милосердія; или же онъ выдумываетъ эту фиктивную дѣятельность умомъ и живетъ мыслью и для мысли: напримѣръ, Кознышевъ — ученый профессоръ и философъ.

Человѣкъ живетъ только для себя. Для другихъ онъ не можетъ жить. Общаго блага нѣтъ. Общественная дѣятельность не имѣетъ смысла. Люди, живущіе для нихъ, суть умственные и нравственные уроды. Коротко, ясно, просто и убѣдительно: такъ рѣшаетъ непосредственное чувство.

Непосредственное чувство!!! Чье непосредственное чувство? Графа Льва Николаевича Толстого?.. Но непосредственно ли само то чувство гр. Толстого, которое утверждаетъ, будто всякая любовь, кромѣ половой, исходитъ въ людяхъ не изъ сердца, а изъ разсужденія или скуки?

Конечно, изъ непосредственнаго чувства, изъ сердца, такое глубоко безсердечное, глубоко безчувственное утвержденіе истекать не могло. Оно было уродливый плодъ исключительно разсудочнаго ухищренія. Не могло оно выйти изъ того сердца, которое тутъ же, рядомъ, создало Анну на смертномъ одрѣ и на колѣняхъ передъ нею рыдающаго мужа, которое казнило индивидуализмъ позорною смертью въ той же Карениной, которое возвеличило Долли и освятило ту несчастную дѣвушку за ихъ человѣчное чувство.

Такая ребяческая идеализація индивидуализма, такая жалкая попытка возвести грубѣйшій эгоизмъ на высоту нравственно-философскаго принципа не могли исходить изъ сердца того противорѣчиваго человѣка, который вклеилъ ихъ въ романъ, цѣликомъ противъ нихъ же и имъ же направленный.

Не отъ сердца шли эти слова у человѣка, который вотъ что чувствовалъ, когда дописывалъ послѣднія строки своего глубоконестройнаго и все же глубочайшаго созданія:

„Жизнь мнѣ опостылѣла (въ то самое время)... когда со всѣхъ сторонъ было то, что̀ считается совершенно счастливымъ. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошія дѣти, большое имѣніе, которое безъ труда съ моей стороны росло и увеличивалось. Я былъ уважаемъ близкими и знакомыми больше, чѣмъ когда-нибудь прежде, былъ восхваляемъ чужими и могъ считать, что я имѣю извѣстность, безъ особаго самообольщенія“.

То-есть эгоистическое счастіе было совершенное, а сердце этого, въ раздраженіи споромъ оклеветавшаго себя, человѣка стало отъ этого индивидуальнаго счастія только еще голоднѣе. Въ моментъ

наибольшей полноты индивидуальнаго счастія этотъ человѣкъ смертельно страдалъ отъ его тщеты и суеты. Окружающіе безсмысленною толпой называли его сумасшедшимъ, смѣялись и издѣвались надъ нимъ, въ тупоуміи души кричали о его мистицизмѣ, о томъ, что онъ погибъ для Россіи, а сердце его разрывалось отъ мучительной жажды другой, лучшей любви, иного, чистѣйшаго счастья. И оно не хотѣло жить, пока не переполнилось ими, пока не рѣшились полнотой его обновленнаго чувства вопросы о душѣ, о любви христіанской, о Богѣ.

Въ то самое время, когда графъ Л. Н. Толстой *разсуждающимъ умомъ* отрицалъ въ Кознышевѣ и Варенькѣ идею общественной дѣятельности на службу общественному благу, отвергая всѣ ея временныя и мѣстныя формы, — въ то же самое время тотъ же графъ Л. Н. Толстой въ Левинѣ *чувствующимъ сердцемъ* мучительно искалъ того общественнаго блага, которое живетъ независимо отъ всякихъ формъ, — блага христіанской души, христіанскаго человѣчества, — той общественной дѣятельности, которая стоитъ внѣ и надъ всякими видами коронной или выборной службы и состоитъ въ исполненіи нравственныхъ законовъ Христа.

Когда гр. Л. Н. Толстой договаривалъ послѣднія слова отрицающей *разсудочности*, послѣднее кощунство *индивидуализма*, онъ тѣмъ самымъ и въ то же самое время уже начиналъ сходить въ область вѣры. *Онъ уже тогда „искалъ Бога“*.

Да онъ и всегда „искалъ Бога“,—съ перваго дня своей сознательной жизни, съ первыхъ строкъ своего художественнаго служенія людямъ. Если своимъ, первоначально ложными теоріями извращеннымъ, умомъ гр. Л. Н. Толстой говорилъ такъ долго въ одинъ тонъ съ девятнадцатымъ вѣкомъ, - *вѣкомъ разсудочности и индивидуализма*, — то сердцемъ своимъ онъ жилъ всегда въ природѣ и съ природой. Онъ всю жизнь прислушивался къ голосу природы и у нея одной учился сердцемъ понимать вѣчную душу человѣка — внѣ времени, пространства, національности, общества, государства. Онъ сердцемъ не переставая искалъ въ природѣ познанія человѣческой души, ея вѣчно-человѣческихъ свойствъ: ея блага, ея счастія, ея любви, ея Бога.

Онъ долго прислушивался, долго учился, долго искалъ. Онъ тоже человѣкъ, и, какъ человѣку, и ему также ничто человѣческое не было чуждымъ. Онъ отвлекался всѣмъ временно-человѣческимъ. Онъ тоже былъ молодъ и любилъ красоту и силу души и тѣла. Онъ любилъ женщину и дѣтей. Онъ любилъ славу. Онъ

любилъ независимость и свободу. Онъ любилъ матеріальное и личное благо. Онъ тоже былъ человѣкъ и человѣчески раздражался спорами съ тѣми, кто требовалъ отъ него, чтобъ онъ занимался не тѣмъ, къ чему его влекла его душа, чтобъ онъ не смѣлъ смотрѣть на міръ иначе, какъ непремѣнно ихъ собственными глазами. Онъ былъ человѣкъ и, какъ никто изъ людей, обладалъ полнотою человѣческаго свойства, противорѣчіемъ неограниченнаго сердца и ограниченнаго законами природы ума. Онъ долго не могъ понять умомъ того, что̀ постепенно открывалось ему въ чувствѣ. Онъ долго жилъ въ страшномъ противорѣчіи, умомъ живя съ девятнадцатымъ вѣкомъ, а сердцемъ—въ будущихъ вѣкахъ.

XVI.

Когда человѣкъ сидитъ на стулѣ, а на него направленъ фотографическій аппаратъ, то на видимомъ фотографу наружномъ стеклѣ получается миніатюрная фигурка съ очень блестящими и красивыми красками. Эта фигурка заключаетъ въ миніатюрѣ всѣ доступныя простому зрѣнію черты человѣка, сидящаго передъ аппаратомъ. Въ ней выражается человѣкъ, какъ онъ, съ своими мыслями и чувствами, сидитъ передъ аппаратомъ на стулѣ *въ ту минуту*. Но она, конечно, не выражаетъ всей души того человѣка, какою была она *прежде*, какова она *во всей ея сложности теперь* и какою она будетъ *впослѣдствіи*.

Человѣкъ, сидящій передъ фотографическимъ аппаратомъ, это — гр. Л. Н. Толстой, а фигурка его, полученная въ миніатюрѣ на наружномъ стеклѣ аппарата, это—Левинъ въ его романѣ.

Изъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ разбираемаго произведенія Левинъ всего болѣе подвергался нападкамъ и презрительнымъ насмѣшкамъ нашей критики. Эта оригинальная натура должна была казаться очень неестественною той раціоналистической критикѣ, у которой существуютъ свои особенныя понятія о естественности и теоретически-нормальныхъ людяхъ. И потому Левину особенно досталось.

Должно согласиться, что, концентрируя общій смыслъ всей своей художественной дѣятельности въ личности Левина, гр. Толстой допустилъ нѣкоторыя чрезмѣрныя сгущенія красокъ и потому иногда немного натянутыя положенія. Но эти частныя ошибки въ исполненіи нисколько не умаляютъ достоинства и значенія

общей идеи этого лица, и критика могла бы отнестись къ нему иначе, безъ такого близорукаго пренебреженія и предвзятаго осужденія.

Это отрицательное отношеніе къ Левину такъ распространено, что нельзя говорить о Левинѣ, не полемизируя, вмѣстѣ съ тѣмъ, и противъ общепринятаго о немъ мнѣнія. Изъ всѣхъ отзывовъ, выражающихъ это мнѣніе, можно считать наиболѣе типическимъ тотъ, который представленъ г. А. Станкевичемъ въ его статьѣ: *Каренина и Левинъ,* помѣщенной въ *Вѣстникѣ Европы* за 1878 годъ (апрѣль, 87—820, и май, 172—193). Раціоналистическая точка зрѣнія выражена здѣсь наиболѣе теоретически-умно и обдуманно, въ большой системѣ и даже съ большимъ, хотя и не совсѣмъ удачнымъ, юморомъ.

Напримѣръ, г. Станкевичъ вѣрно указывалъ въ Левинѣ неспособность достигать правильныхъ понятій путемъ теоретической мысли и довольно удачно подтрунивалъ надъ этимъ его недостаткомъ. Здѣсь критикъ ошибается лишь тѣмъ, что ставитъ эту черту въ вину не столько Левину, какъ лицу въ романѣ, сколько самому замыслу автора, создавшему типъ, будто бы неестественный и дикій. Это и не удивительно, потому что представленіе раціоналистической критики о нормальномъ человѣкѣ очень опредѣленно; нормальными людьми ей кажутся только Кознышевъ и другіе люди теоретической мысли, а изъ женщинъ — незамысловатая Китти. Представленіе нашей раціоналистической критики о нормальномъ человѣкѣ очень напоминаетъ выраженіе стараго князя Щербатскаго о тѣхъ петербургскихъ господахъ, которыхъ тамъ дѣлаютъ на машинѣ. Нормальный человѣкъ современной критики тоже сдѣланъ на машинѣ, производящей Кознышевыхъ и Катавасовыхъ. Натура сложная, съ противорѣчіями самой себѣ, съ дисгармонирующимъ распредѣленіемъ внутреннихъ силъ, натура нецѣльная, художественная и оригинальная кажется ей невозможною и созданною у гр. Толстого произвольно и неудачно. Съ такой точки зрѣнія Левинъ, конечно, долженъ казаться выродкомъ и полуидіотомъ, романъ котораго можетъ вызывать одно лишь великодушное сожалѣніе или презрительную насмѣшку, но не интересъ и не участіе. Съ такой точки зрѣнія на свѣтѣ живутъ только люди, которыхъ внутренняя жизнь равняется длинной цѣпи правильно-логическихъ, спокойныхъ заключеній, безъ запинки, безъ ошибокъ, безъ заблужденій чувства и мысли. Конечно, Левинъ, который совсѣмъ не умѣщается въ эти рамки, долженъ казаться

относительно ихъ дикимъ, ненатуральнымъ и несимпатичнымъ. Кого можетъ интересовать жизнь человѣка, который не сразу постигъ всю жизненную тайну, подобно Кознышевымъ и Катавасовымъ, а въ своихъ вѣчныхъ и страстныхъ стремленіяхъ къ ней приближался къ ней лишь послѣ многихъ и частыхъ заблужденій? И въ самомъ дѣлѣ, какъ съ такой точки зрѣнія можетъ вызвать къ себѣ симпатіи чудакъ, не могущій связать правильно двухъ мыслей и вѣчно переходящій отъ одной теоріи къ другой? Можно допустить существованіе атеистовъ, матеріалистовъ, идеалистовъ, религіозно убѣжденныхъ, потомъ западниковъ, славянофиловъ и т. д., — это естественно для нея. Но допустить, чтобы всѣ эти виды теоретической мысли и нравственнаго настроенія переиспыталъ одинъ человѣкъ — это вѣдь, не правда ли, совсѣмъ неестественно, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кто, разъ отграничивъ себя стѣной опредѣленной системы мнѣній, замкнулся въ ней навсегда?

Конечно, это совсѣмъ пустой и дрянной человѣкъ. Помилуйте, — замѣчаетъ намъ г. Станкевичъ, — вы послушайте, что̀ говорили ему даже его вещи. Когда онъ надѣялся очиститься и возродиться, онѣ съ такою увѣренностью ему говорили: „Нѣтъ, ты не уйдешь отъ насъ и не будешь другимъ, а будешь такой же, каковъ былъ: съ сомнѣніями, вѣчнымъ недовольствомъ собой, напрасными попытками исправленія и паденіями и вѣчнымъ ожиданіемъ счастія, которое не далось и невозможно тебѣ“.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ не смѣяться надъ человѣкомъ, который всегда сомнѣвается, который не можетъ удовлетвориться ни одною положительною теоріей и котораго жажда истины и личнаго совершенствованія никогда не въ силахъ утолиться? Это человѣкъ совсѣмъ ничтожный, особенно въ сравненіи съ людьми, которые въ своихъ изысканіяхъ истины всегда способны заранѣе впередъ опредѣлить границу, за которую они уже болѣе не перейдутъ и далѣе которой ихъ желаніе истины не распространяется.

Вѣдь и Китти надъ нимъ смѣется, хотя онъ и мужъ ея. Правда, она его любитъ, но, вѣдь, она любитъ его просто за то, что онъ добрый, честный и искренній человѣкъ. Такъ думаетъ г. Станкевичъ. Сама же Китти говорила объ этомъ иначе. Когда, въ самый вечеръ свадьбы, приблизившееся счастье вдругъ показалось невозможно-незаслуженнымъ Левину, сомнѣвающемуся во всемъ, даже и въ себѣ, страдающему отъ сознанія своихъ недостатковъ и прегрѣшеній, и когда онъ, какъ сумасшедшій, при-

бѣжалъ къ сидѣвшей у сундука со старыми платьями Китти и умолялъ ее отказать ему, потому что онъ ея недостоинъ,—тогда Китти, правда, разсердилась сначала, но она скоро поняла, что̀ случилось съ ея женихомъ. Китти не только подтвердила Левину, что она любитъ его, но и объяснила ему, за что именно она его любитъ. „Она сказала ему, что *она любитъ его за то, что понимаетъ его всего,—за то, что она знаетъ, что̀ онъ долженъ любить, и что все, что̀ онъ любитъ, все хорошо*“. Т. е. Китти любила его не только за то, что онъ добръ, честенъ и правдивъ, но и за все остальное, что въ немъ было, и что̀ она все понимала любя и любила понимая, — за его сомнѣнія, за его жажду истины, за его ошибки и мученія,—за все то, что̀ было его достоинствомъ и слабостью, за все то, что̀ такъ не нравится въ немъ разсудочной критикѣ.

Болѣе всего эта критика смѣялась надъ мнѣніями Левина и надъ ихъ общимъ, столь нераціоналистическимъ, направленіемъ. Уваженіе Левина къ тѣмъ простымъ людямъ, съ которыми онъ дѣлилъ жизнь и трудъ, его довѣріе къ ихъ непосредственному пониманію жизни, къ ихъ народной мудрости, казались ей наиболѣе достойными осмѣянія.

Левинъ, еще собираясь сдѣлать предложеніе Китти, говорилъ ему (скотнику Николаю): „Что, Николай, хочу жениться!“ — и Николай рѣшительно отвѣчалъ: „Давно пора, Константинъ Дмитричъ“. Мнѣнія людей, подобныхъ Николаю, въ важнѣйшихъ вопросахъ жизни были для Левина высшимъ, рѣшающимъ авторитетомъ, даже откровеніемъ... Ему нерѣдко случалось бесѣдовать съ Агаѳьей Михайловной о физикѣ, теоріи хозяйства и въ особенности философіи. Читатель, ознакомившись съ тѣмъ, что̀ Левинъ разумѣлъ подъ философіей, нисколько не станетъ удивляться послѣднему. Левинъ, Агаѳья Михайловна, скотникъ Николай, мужикъ Ѳедоръ, а также и дядя Ѳоканычъ, принадлежали къ одной философской школѣ. Левинъ только вслѣдствіе тугости своего пониманія долго не могъ разумѣть ея ученія и явился уже послѣднимъ ея адептомъ“.

Снисходительно-пренебрежительный тонъ этой насмѣшки указываетъ, очевидно, что авторъ ея полагаетъ философію Левина и, вообще, все направленіе и внутреннее содержаніе этой оригинальной личности окончательно уничтоженными, и уничтоженными однимъ указаніемъ на ихъ внутреннюю связь съ воззрѣніями такихъ невѣжественныхъ людей, какъ скотникъ Николай, Агаѳья Михай-

ловна, старая няня Левина, мужикъ Ѳедоръ и дядя Ѳоканычъ. Но мы должны сознаться передъ читателемъ, что скромно-торжествующій тонъ этой насмѣшливой тирады кажется намъ совсѣмъ не неотразимымъ. Какъ ни страшно признаваться, что философію скотника Николая и Ѳедора-подавальщика съ Левинымъ считаешь болѣе глубокомысленною, нежели философію *Вѣстника Европы*, тѣмъ не менѣе совѣсть обязываетъ насъ быть искренними. И потому скажемъ прямо, что мы, вообще, раздѣляемъ философскіе вкусы Левина, старой его няни, скотника Николая и Ѳедора подавальщика, а раціонализму г. Станкевича не сочувствуемъ вовсе. И такъ какъ мы, вѣроятно, навсегда уже потеряли этимъ признаніемъ уваженіе просвѣщеннаго читателя, то уже болѣе не чувствуемъ страха, а спокойно прослѣдимъ въ романѣ отраженія той философской школы, которая была создана старушкой Агаѳьей Михайловной и раздѣлялась этимъ уморительнымъ Левинымъ.

Когда ученые люди говорятъ о философіи, то, прежде всего, начинаютъ съ опредѣленія метода. Смиренно сознавая свое невѣжество и грубость своихъ мужицкихъ мнѣній, мы послѣдуемъ примѣру людей ученыхъ, и сначала попытаемся опредѣлить методъ философствованія скотника Николая.

Методъ этотъ, къ тому же, уже охарактеризованъ г. Станкевичемъ по его проявленіямъ у Левина. Мы можемъ отправиться отъ этого опредѣленія. „Истина, — говоритъ г. Станкевичъ, — открывается ему (Левину) не менѣе, чѣмъ другимъ людямъ, и даже съ бо̀льшею глубиной, но только не въ понятіяхъ, выражающихся словами, не путемъ мысли, а будто самою его личною жизнью, какимъ-то внутреннимъ, таинственнымъ процессомъ души его“. Отсюда у Левина „является *особенное* пониманіе и развитіе сознанія... помимо дѣятельности и пути мысли*), —пути, какъ полагаетъ Левинъ, страннаго, сомнительнаго и несвойственнаго человѣку“.

Здѣсь справедливо указано, что развитіе *сознанія* у Левина происходитъ путемъ особымъ, особымъ отъ чисто-логическаго. Этотъ, особый отъ чисто-разсудочнаго, родъ сознанія есть сознаніе непосредственнымъ чувствомъ или внутреннимъ субъективнымъ опытомъ, существенно отличающимся отъ пути логически выводного. Не нужно быть спеціалистомъ въ философіи, чтобы знать, что оба эти рода сознанія или, вѣрнѣе, обѣ эти функціи и ору-

*) Въ подлинной фразѣ Левина было совсѣмъ другое слово—разумъ, невѣрно употребленное въ смыслѣ разсудка.

дія сознанія присущи душѣ каждаго человѣка. И не нужно быть наблюдательнымъ, чтобы согласиться съ тою простою истиной, что эти, всѣмъ людямъ свойственные, виды сознанія не во всѣхъ, однако, людяхъ встрѣчаются въ равной степени силы и въ равномъ распредѣленіи. Сознаніе однихъ надѣлено обѣими способностями въ высокой и равной степени; у другихъ—въ меньшей, но также приблизительно поровну; у третьихъ замѣтно чрезмѣрное преобладаніе разсудочности надъ непосредственнымъ чувствомъ; у четвертыхъ же, наоборотъ, послѣднее преобладаетъ надъ первою, чуткость чувства надъ послѣдовательностью логики. Одни бываютъ геніями, другіе—посредственными, обыденными или ограниченными людьми, третьи—логиками или резонерами, четвертые—художниками, психологами, поэтами и т. д. И если присоединить сюда вліяніе столь же неравномѣрнаго распредѣленія элементовъ воли, нравственныхъ привычекъ, воспитанія и т. д., то изъ этихъ разновидностей силъ сознанія и образуется то поразительное разнообразіе индивидуальнаго характера умовъ, которое представляетъ дѣйствительная, наблюденію каждаго доступная, жизнь. Если бы критикъ вспомнилъ объ этой простой и всѣмъ извѣстной истинѣ, онъ не нашелъ бы ничего ненатуральнаго, ничего даже новаго въ идеѣ, что, кромѣ ординарнаго логическаго процесса мысли, человѣческое сознаніе обладаетъ еще и другимъ, по крайней мѣрѣ столь же могущественнымъ средствомъ постиженія жизни. Тогда онъ не считалъ бы невозможно-неестественнымъ литературное изображеніе такого типическаго характера, который изъ этихъ двухъ различныхъ силъ сознанія—логики и непосредственнаго чувства—обладаетъ въ бо̀льшей степени второю и въ весьма малой первою. Онъ бы тогда увидѣлъ, что Левинъ представляетъ собою типическій образчикъ людей, несомнѣнно существующихъ въ дѣйствительности, и потому въ романѣ, ее изображающемъ, занимаетъ совершенно законное мѣсто. Правда, и затѣмъ остается возможность симпатій и антипатій, сочувствія и насмѣшки, но это уже дѣло другое,—дѣло отчасти личнаго вкуса, отчасти личной оцѣнки того, какая изъ двухъ силъ сознанія наиболѣе важна и плодотворна въ жизни человѣка.

И въ этомъ послѣднемъ отношеніи критика *Вѣстника Европы* представляетъ много страннаго и даже неяснаго. Съ одной стороны, въ одномъ мѣстѣ (май, 189—190) есть какъ бы готовность признать за Левинымъ нѣкоторое значеніе. Онъ говоритъ тамъ, что левинская „способность покоряться вліяніямъ встрѣчаю-

щихся явленій жизни, постоянное преобладаніе впечатлѣній надъ его мыслью, мечтательность, его покорность инстинктамъ, темнымъ влеченіямъ, принимаемымъ имъ за понятія, все это—черты, свойственныя природѣ художниковъ". Далѣе г. Станкевичъ строитъ очень остроумныя предположенія, какимъ именно художникомъ сталъ бы Левинъ, если бъ авторъ представилъ его въ этой, по натурѣ наиболѣе ему свойственной, сферѣ дѣятельности. Совершенно соглашаясь съ этою мыслью г. Станкевича и вмѣстѣ съ нимъ полагая, что художественное произведеніе удалось бы Левину гораздо скорѣе, нежели его политико-экономическій трактатъ и разсужденія о мѣстномъ самоуправленіи, — мы, однако, видимъ здѣсь очевидное противорѣчіе всему предыдущему изложенію г. Станкевича. Тутъ есть какъ бы нѣкоторое признаніе правъ Левина на жизнь, какъ бы признаніе, что его методъ постиженія жизни имѣетъ достоинство художественнаго инстинкта и, какъ таковой, имѣетъ свою полезность въ общей экономіи жизни, то-есть что „особый путь сознанія" у Левина вовсе не есть что-либо ненатуральное и что самый образъ личности Левина носитъ опредѣленныя и признанныя жизнью черты. Но вся остальная статья г. Станкевича построена на мысли этому признанію обратно-противоположной.

Такое непослѣдовательное игнорированіе истинной сущности характера Левина повело г. Станкевича (между прочимъ) къ слѣдующей очень крупной ошибкѣ. Г. Станкевичъ не видитъ въ романѣ Левина никакого развивающагося событія, не видитъ художественной исторіи типа. И потому романъ Левина представляется г. Станкевичу не романомъ, а ничѣмъ внутренне не связаннымъ рядомъ страницъ, изображающихъ случайное настроеніе человѣка, невозможнаго въ жизни, произвольно созданнаго фантазіей графа Толстого, и разныя мысли этого фантома по разнымъ, совершенно произвольно выхваченнымъ поводамъ. Это совершенно невѣрно. Романъ Левина развиваетъ очень сложное и глубоко-занимательное событіе и представляетъ *законченную* исторію лица. Мы говоримъ: *законченную* (а не полную)—потому, что видимъ въ ней конецъ, глубоко выведенный изъ сущности задуманнаго типа, хотя, должны признаться, не видимъ нѣкоторыхъ посредствующихъ и особенно начальныхъ ея звеньевъ, и потому полагаемъ, что въ общемъ романъ Левина, дѣйствительно, далеко не отличается тою полнотой и яркостью, какая поражаетъ насъ въ параллельно совершающемся романѣ Анны. Но если исполненіе за-

мысла несомнѣнно страдаетъ нѣкоторыми существенными недостатками, то это нисколько не умаляетъ достоинства и глубины задуманной идеи не только лица, но и его отрывочно представленной исторіи.

XVII.

Многіе называли Левина цѣльною натурой. Даже Стива Облонскій прилагалъ къ своему свояку это требовательное опредѣленіе, въ откровенномъ и пріятномъ разговорѣ за второю бутылкой шампанскаго, послѣ гастрономическаго обѣда въ „Англіи“ на Петровкѣ, то-есть въ такихъ условіяхъ, когда мысль человѣка отличается наибольшею точностью, а сердце раскрыто для самыхъ симпатичныхъ чувствъ. Иногда кажется, что и самъ Левинъ, который лучше всѣхъ зналъ свою склонность къ сомнѣніямъ, потому что болѣе всѣхъ страдалъ отъ нея,—что и самъ Левинъ иногда какъ будто считаетъ себя цѣльнымъ человѣкомъ.

Конечно, это—ошибка. Именно цѣльности и не было въ Левинѣ. Именно къ цѣльности Левинъ вѣчно порывался. И весь смыслъ его романа состоитъ не въ чемъ другомъ, какъ въ изображеніи человѣка, который, утративъ первоначальную цѣльность воззрѣній и характера, мучительно отъ того страдаетъ, такъ долго борется, ищетъ и, наконецъ, въ эпилогѣ романа, пріобрѣтаетъ возможность къ ней возвратиться и тѣмъ завершить свое духовное развитіе.

Левинъ есть образчикъ тѣхъ противорѣчивыхъ натуръ, въ которыхъ область чувства и духовнаго чутья слишкомъ преобладаетъ надъ теоретическою мыслью и которыя поэтому живутъ больше всего не разсудкомъ, а чувствомъ непосредственнымъ, котораго цѣльность, однако, надломлена рефлексіей, воспитанною современнымъ разсудочнымъ образованіемъ, несоотвѣтственно узкимъ и грубымъ въ сравненіи съ широтой и тонкостью ихъ духовно-художественнаго инстинкта. Поэтому они нервны, угловаты, щекотливо-самолюбивы, потому что вѣчно наединѣ съ своимъ внутреннимъ разладомъ, вѣчно боятся, зная свою слабость, быть въ ней уязвленными, вѣчно стремятся выйти изъ противорѣчія между богатствомъ индуктивнаго чувства и бѣдностью отвлеченнаго сознанія, и успокоиваются лишь тогда, когда, путемъ долгихъ сомнѣній, мученій и болѣзней, наконецъ отдѣлаются отъ угнетаю-

щей ихъ такъ тяжко рефлексіи, разовьютъ свою непосредственную область еще глубже и шире, выведутъ ее на первое и по принципу мѣсто и, примиривши, наконецъ, съ теоретическимъ сознаніемъ, плодотворно приложатъ ее къ дѣятельности, направленной на что-либо внѣшнее. И потому исторія ихъ жизни есть исторія внутренней отчаянной борьбы за пріобрѣтеніе гармоніи духа путемъ развитія и примиренія первоначально дисгармонирующихъ началъ ихъ врожденнаго характера. Обладая въ избыткѣ однимъ изъ задатковъ цѣльности духа, именно глубиной непосредственнаго чувства, они страдаютъ недостаткомъ теоретической силы, которая, стоя на той же высотѣ тона, примирила бы ихъ съ ихъ умственною совѣстью, и потому они страстно стремятся къ этому миру. И пока они его не достигнутъ, они будутъ вѣчно недовольны собою, сердиться на себя и на другихъ, дѣлать тысячу чудачествъ, глупостей, ошибокъ и даже вреда; будутъ читать книжки, надѣясь вычитать въ нихъ то недостающее имъ начало цѣльности и гармоніи духа, и успокоятся лишь тогда, когда, перегорѣвъ и изстрадавшись, они отринутъ свои старыя узкія мысли и этими долгими усиліями и тяжкими жертвами расширятъ сознаніе въ уровень съ своимъ непосредственнымъ чувствомъ.

Когда Левинъ появляется въ романѣ, ему 32 года, и онъ, какъ мальчикъ, влюбленъ въ княжну Китти Щербатскую. Эта любовь становится для Левина тѣмъ внѣшнимъ двигателемъ, который ускорилъ давно происходившій въ немъ процессъ борьбы дисгармонирующихъ силъ его духа и, въ концѣ романа, помогъ ему установить между ними нѣкоторое равновѣсіе. Эта любовь усилила и расширила въ душѣ Левина область непосредственнаго чувства, и оно, подчинивъ себѣ его теоретическую мысль, привело, наконецъ, сознаніе Левина къ постиженію той главной жизненной тайны, къ уничтоженію того главнаго сомнѣнія, которыхъ окончательное раскрытіе прежде было недоступно узости его логически-разсудочнаго пониманія. Любовь къ женщинѣ, а потомъ семья были для Левина тѣмъ могущественнымъ орудіемъ, которое дало окончательное развитіе его внутреннему опыту духовнаго чувства, прежде связаннаго и суженнаго рефлексіей его недостаточной и ложными теоріями извращенной разсудочности. Любовь къ женѣ и сыну приблизила его окончательно къ истинному источнику жизни и ея познанія, помогала ему завершить счастливо борьбу неравномѣрно распредѣленныхъ силъ его духа и достигнуть внутренней гармоніи. Сознаніе его было, наконецъ, примирено

съ самимъ собою. Освобожденное чувство, наконецъ, подняло передъ нимъ завѣсу разсудочности, такъ долго скрывавшую отъ его взора истинную жизнь, которой смыслъ представлялся прежде его сознанію лишь отрывочно, гипотетически, сомнительно и противорѣчиво Тогда теоретическое сознаніе его расширилось и просвѣтлѣло. Изъ всѣхъ непосредственныхъ стихійныхъ силъ индивидуальной жизни истинная любовь есть сила наиболѣе могущественная, наиболѣе способная побѣдить разлагающее вліяніе разсудочной рефлексіи. И пока эта сила не овладѣла Левинымъ, онъ не имѣлъ средствъ бороться противъ той дисгармоніи, на которую былъ осужденъ самою организаціей своей нравственой личности. До тѣхъ поръ онъ былъ способенъ лишь временно успокоиваться на той или на другой разсудочной теоріи, постоянно переходя къ новымъ системамъ и снова покидая ихъ, когда непосредственная сила жизни разоблачала передъ нимъ его оптическій обманъ и хрупкія зданія его неустойчивой разсудочности, какъ карточный домикъ, разваливались отъ прикосновенія дѣйствительности, которая, при всѣхъ заблужденіяхъ Левина, никогда не оставляла его надолго безъ своего охраняющаго вліянія. Его жизнь въ деревнѣ, на лонѣ природы, среди стихійныхъ силъ народнаго быта, всегда возвращала его отъ одностороннихъ логическихъ построеній къ созерцанію таинственной для разсудка непосредственной жизни, не давая ему упрочиться въ какой-либо односторонне-опредѣленной системѣ теоретическихъ воззрѣній и вѣчно толкая впередъ его впечатлительный духъ. Поэтому онъ постоянно переходилъ отъ одной *фазы* къ другой и, пріѣзжая въ Москву изъ деревни, являлся передъ своими друзьями всегда съ неожиданно для нихъ новыми въ немъ системами воззрѣній.

Такъ шла его жизнь до тѣхъ поръ, пока онъ не полюбилъ Китти.

Левинъ уже давно былъ предрасположенъ полюбить эту дѣвушку. Еще юношей, студентомъ, онъ былъ влюбленъ въ домъ Щербатскихъ, въ семью, въ духъ Киттиной семьи. Онъ любилъ эту семью тѣмъ болѣе, что собственной семьи, столь родственной по духу дому Щербатскихъ, онъ былъ лишенъ въ раннемъ еще дѣтствѣ смертью родителей и разницею возраста въ сестрѣ. Затаенное влеченіе къ женскому элементу семьи, чего онъ такъ рано былъ лишенъ, было причиной, почему женская половина во всемъ близкаго ему дома Щербатскихъ представлялась ему таинственно-поэтическою и прекрасною. Влюбленный въ это коллек-

тизное лицо, Левинъ постепенно переносилъ воплощеніе своего идеальнаго влеченія съ одной Щербатской на другую, пока, наконецъ, не влюбился окончательно въ младшую, когда самъ достигъ полной зрѣлости жизни и того возраста, когда потребность любви и семьи говоритъ особенно громко. Въ Китти онъ нашелъ все то, что̀ ему *тогда* было нужно и что все сводилось къ чистой и цѣльной, здоровой непосредственности, которая у Левина была надломлена и болѣзненно уязвлена его разсудочностью и самолюбіемъ. Натура Китти была не такъ сложна, какъ натура Левина, но она была цѣлостнѣе его. И это было главное, что̀ ему было нужно, то главное, за что онъ ее полюбилъ. Она обладала тою аристократическою чертой наслѣдственнаго изящества природы, безъ которой Левину представить себѣ жену было невозможно. Она была семейственна, и это также влекло къ ней Левина, любившаго въ ней будущую семью. Она была хороша собой и обладала изяществомъ сердца, что было такъ симпатично его художественнымъ наклонностямъ. Она была искренняя и правдива, она была добра, и онъ, самъ добрый и искренній человѣкъ, дорожилъ въ ней этою цѣлостною правдой, которой ему недоставало.

Но Левинъ приступилъ къ дѣлу тогда, когда Китти была не расположена къ тому, когда она была увлечена внѣшнею склонностью къ блестящему и безсодержательному Вронскому. И потому Левинъ потерпѣлъ неудачу. Получивъ отказъ и повидавшись съ несчастнымъ братомъ, страдавшимъ отъ приниженности самолюбія черезчуръ страстной и невыдержанной натуры, Левинъ уѣхалъ къ себѣ назадъ въ деревню.

Когда онъ почувствовалъ себя дома, среди привычныхъ условій жизни и труда, онъ понялъ, что у него есть своя независимая отъ огорченій и внѣшней уязвимости область дѣятельности, и ему стало легче переносить постыдное воспоминаніе отказа. И по свойству нравственной упругости души, онъ чувствовалъ потребность этому душевному удару противопоставить еще напряженнѣйшее стремленіе къ независимой дѣятельности и совершенствованію. Отказавшись, или, по крайней мѣрѣ, думая что отказался, отъ надеждъ на любовь и счастіе, онъ находилъ въ себѣ еще болѣе энергическимъ желаніе нравственнаго очищенія и возвышенія, желаніе остаться на этой же нотѣ нравственнаго подъема, до которой возвысила его любовь къ Китти. Отказываясь отъ любви, онъ желалъ сохранить высоту ея тона.

Но это не во всѣхъ отношеніяхъ ему удавалось. Прошли три мѣсяца, а воспоминаніе отказа все такъ же, какъ и въ первый день, стыдомъ рѣзало и жгло ему душу, хотя время все же понемногу залѣчивало рану. Потомъ пришла весна, и съ нею—новое возбужденіе къ жизни. Хозяйственныя заботы и экономическій трактатъ поглощали все вниманіе Левина, и рѣшеніе устроить одинокую жизнь становилось тверже. Такъ казалось Левину. Но любовь къ Китти жила въ его душѣ, и только замерла на время и притаилась. Когда Стивой было привезено извѣстіе о томъ, что Китти не вышла за Вронскаго и заболѣла, Левинъ обрадовался возможности надежды и тому, что Китти, сдѣлавшая ему такъ больно, сама несчастна. И изъ этого противорѣчиваго чувства онъ увидѣлъ, что не забывалъ Китти. Потомъ пришло лѣто, уборка, и Левинъ опять отвлекся до тѣхъ поръ, пока разговоръ съ Долли въ Ергушовѣ о предполагавшемся пріѣздѣ Китти изъ Содена и разные намеки Долли не разбудили въ немъ снова стараго чувства. И какъ ни старательно подавлялъ Левинъ въ себѣ эти слѣды прежняго, какъ ни пряталъ онъ ихъ на самое дно души, они, хотя и сдавленные, прочно лежали тамъ и ждали только удобнаго случая, чтобы снова и уже всецѣло овладѣть всѣмъ его существомъ.

Каждый разъ, какъ ихъ затаенная сила показывала признаки жизни, каждый разъ она отражалась на внѣшнемъ образѣ мыслей Левина. Во время спора со Стивой о храненіи родового имущества, объ истинномъ аристократизмѣ, она давала мнѣніямъ Левина особую окраску. Левинъ не зналъ, для кого онъ такъ заботливо занимается хозяйствомъ своего родового имѣнія; но инстинктъ говорилъ ему, что онъ долженъ беречь свое добро для чего-то иного, кромѣ личной своей независимости, и это темное сознаніе слышится ясно въ его горячей аргументаціи противъ безпечности Стивы, легкомысленно тратившаго имѣніе жены для разныхъ Машей Чибисовыхъ.

Левинъ искренно увлекался лѣтними работами и тою близостью къ народу, которую онъ чувствовалъ, принимая самъ участіе въ его трудѣ. Но, въ сущности, онъ обманывалъ себя, и чѣмъ болѣе дѣлалъ онъ шаговъ въ этомъ обманѣ, тѣмъ вѣрнѣе приходилъ онъ къ его раскрытію. Чѣмъ сильнѣе онъ желалъ забыться въ этой непосредственной жизни, тѣмъ глубже вступалъ онъ въ ту область, которая сама есть источникъ любви и потому безъ нея немыслима. Чѣмъ болѣе, напримѣръ, удавались ему опыты косьбы,

тѣмъ болѣе приближался онъ къ естественному состоянію зрѣлаго человѣка, который не можетъ жить только мыслями о хозяйствѣ и наукѣ, который, когда онъ здоровъ душой и крѣпокъ тѣломъ, ищетъ любви, которая сама есть источникъ жизни, здоровья и труда. Чѣмъ естественнѣе, нравственно-здоровѣе и добрѣе становился Левинъ, тѣмъ онъ не только не отдалялся, а, напротивъ, приближался къ любви.

Но всего сильнѣе онъ почувствовалъ это тогда, когда видъ здоровой, трудовой и радостной общей жизни мужиковъ и прелестная идиллія Ваньки Парменова съ его молодою женой вдругъ, сразу, открыли ему, что сколько бы онъ ни занимался политическою экономіей и хозяйствомъ, онъ не можетъ этимъ восполнить одиночества и праздности своей холостой жизни. И первыя минуты онъ, увлекаясь идилліей Ваньки, думалъ избавиться отъ этого одиночества и враждебности къ народу женитьбой на крестьянкѣ и полнымъ отреченіемъ отъ дворянской и цивилизованной жизни.

Лежа всю ночь на копнѣ и обдумывая, какъ все это будетъ имъ сдѣлано, Левинъ, изъ-за своего тяжкаго чувства одиночества, изъ-за своего порыва слиться съ простою, столь противоположною его искусственной и эгоистической жизни, жизнью народа, нисколько не сознавалъ, что онъ нечувствительно для себя приблизился къ своей старой любви, снова приблизился къ Китти. Мысли о крестьянствѣ представлялись ему неясно; одно было для него несомнѣнно, это—то, что его одинокая жизнь и потому безцѣльная дѣятельность, оторванныя отъ жизни общей, были неестественны. Думая о крестьянкѣ, онъ въ душѣ любилъ снова Китти. И все кругомъ него—и копна, и лугъ, и высокое, таинственное небо, съ его неожиданно явившеюся чудною раковиной изъ бѣлыхъ облаковъ—все одѣлось въ ту новую прелесть обновленной поэзіи любви, которая безсознательно и безповоротно охватила его душу. И эта совсѣмъ особенная прелесть оживленной теперь его любовью природы подтверждала для него происшедшую въ немъ перемѣну.

Пожимаясь отъ утренняго холода, Левинъ вышелъ изъ луга. Онъ пошелъ по большой дорогѣ къ деревнѣ и скоро увидѣлъ, какъ ему навстрѣчу ѣхала карета.

„Въ каретѣ дремала въ углу старушка, а у окна, видимо только-что проснувшись, сидѣла молодая дѣвушка, держась обѣими руками за ленточки бѣлаго чепчика. Свѣтлая и задумчивая, вся

исполненная изящной и сложной внутренней, чуждой Левину, жизни, она смотрѣла черезъ него на зарю восхода.

Въ то самое мгновеніе, какъ видѣніе это уже исчезло, правдивые глаза взглянули на него. Она узнала его, и удивленная радость освѣтила ея лицо.

Онъ не могъ ошибиться. Только одни на свѣтѣ были эти глаза. Только одно было на свѣтѣ существо, способное для него сосредоточивать весь свѣтъ и смыслъ жизни. Это была она. Это Китти... И все то, что волновало Левина въ эту безсонную ночь, всѣ тѣ рѣшенія, которыя были приняты имъ,—все вдругъ исчезло. Онъ съ отвращеніемъ вспомнилъ свои мечты о женитьбѣ на крестьянкѣ. *Тамъ только, въ этой быстро удалявшейся и переѣхавшей на другую сторону каретѣ,—тамъ только была возможность разрѣшенія столь мучительно тяготившей его въ послѣднее время загадки его жизни.*

Она не выглянула больше. Звукъ рессоръ пересталъ быть слышенъ, чуть слышны стали бубенчики. Лай собакъ показалъ, что карета проѣхала и деревню, и остались вокругъ пустыя поля, деревня впереди и онъ самъ—одинокій и чужой всему, одиноко идущій по заброшенной большой дорогѣ.

Онъ взглянулъ на небо, надѣясь найти тамъ ту раковину, которою онъ любовался и которая олицетворяла для него весь ходъ мыслей и чувствъ нынѣшней ночи. На небѣ не было болѣе ничего похожаго на раковину. Тамъ, въ недосягаемой вышинѣ, совершилась уже таинственная перемѣна. Не было и слѣда раковины, а былъ ровный, разстилавшійся по цѣлой половинѣ неба коверъ все умельчающихся и умельчающихся барашковъ. Небо поголубѣло и просіяло, и съ тою же нѣжностью, но и съ тою же недосягаемостью отвѣчало на его вопрошающій взглядъ. „Нѣтъ,—сказалъ онъ себѣ,—какъ ни хороша эта жизнь простая и трудовая, я не могу вернуться къ ней. Я люблю *ее*“.

XVIII.

Такъ незамѣтно оба они—и Китти и Левинъ—приблизились другъ къ другу. Но недоставало случайности для новой встрѣчи, которая со стороны Левина не могла быть намѣренною, особенно послѣ безтактныхъ опытовъ Долли. И потому наружно все оставалось по-старому.

Внутренно же Левинъ не могъ къ нему уже возвратиться. Когда разобщеніе съ народомъ такъ ясно представилось ему теперь, при охватившей его потребности жить не для себя одного, его прежнее хозяйство потеряло въ его глазахъ всякій смыслъ и стало ему ненавистно. Ему казалось, что онъ изобрѣтаетъ новыя формы испольнаго хозяйства, при которыхъ устраняется прежнее разъединеніе хозяина и рабочихъ и является общность интересовъ; ему казалось, что онъ будетъ жить теперь для этого общаго дѣла, а въ дѣйствительности это было лишь новымъ внѣшнимъ покровомъ для всеразвивавшейся дѣятельности сердца, увеличивавшей для него невозможность его духовно-безпочвенной и одинокой жизни безъ любви.

И то, что самому ему было неясно, отлично понимала его старушка-няня. На его разговоры о новомъ хозяйствѣ Агаѳья Михайловна, съ сознаніемъ совершенной логической послѣдовательности, отвѣчала: „Жениться вамъ надо, вотъ что!“ Пріѣздъ умирающаго брата довершилъ въ Левинѣ это сознаніе несостоятельности его послѣдніе дни доживающей, одинокой жизни, ея близости къ внутренней смерти, и мысль о смерти и физической также охватила душу Левина. Все погрузилось въ безысходную темноту. И жить въ этой темнотѣ и близости къ смерти можно было лишь ухватившись изъ послѣднихъ силъ за единственно оставшееся ему отвлеченно-хозяйственное дѣло. Чтобъ уяснить себѣ его и разсѣяться, Левинъ уѣхалъ за границу.

Когда онъ, освѣженный поѣздкой и изученіемъ рабочаго вопроса на Западѣ, вернулся въ Россію и въ Москвѣ, на обѣдѣ у Облонскаго, случайно встрѣтился съ Китти, ихъ внутренно давно уже происшедшее сближеніе выяснилось для обоихъ окончательно, и онъ сталъ женихомъ, а потомъ и мужемъ давно любимой имъ дѣвушки.

Прошло три мѣсяца послѣ ихъ свадьбы, и Левинъ уже иначе относился къ своей дѣятельности. „Онъ продолжалъ свои занятія, но чувствовалъ теперь, что центръ тяжести его вниманія перешелъ на другое, и что вслѣдствіе этого онъ совсѣмъ иначе и яснѣе смотритъ на дѣло. Прежде дѣло это было для него спасеніемъ отъ жизни“, а не дѣломъ. Теперь онъ былъ прочно связанъ съ жизнью любовью къ женѣ, и дѣятельность его очистилась отъ посторонняго и несвойственнаго настоящему дѣлу оттѣнка убѣжища отъ личнаго несчастія и сердечной пустоты. Но онъ не сразу привыкъ къ этому новому состоянію. Долго казалось оно ему не-

естественнымъ. „За что именно мнѣ такое счастіе? — говорилъ онъ Китти. — Не натурально. Слишкомъ хорошо“, — сказалъ онъ, цѣлуя ея руку. Китти думала объ этомъ иначе, по-своему, непосредственно по-женски. „Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе“, — отвѣтила она мужу весьма основательно.

Узелъ, связывавшій теперь Левина съ жизнью, былъ такъ крѣпокъ, что даже видъ смерти любимаго брата и мысль о собственной неизбѣжной смерти не могли уничтожить въ Левинѣ потребность жизни и любви. „Онъ чувствовалъ, что любовь спасаетъ его отъ отчаянія, и что любовь эта подъ угрозой отчаянія становилась еще сильнѣе и чище. Не успѣла на его глазахъ совершиться одна тайна — смерти, оставшаяся неразгаданною, какъ возникла другая, столь же неразгаданная, вызывавшая къ любви и жизни“. Китти была беременна.

Когда мы потомъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, встрѣчаемся лѣтомъ съ Левинымъ у него въ деревнѣ, мы не замѣчаемъ въ немъ уже никакихъ сомнѣній. Онъ на время погрузился вполнѣ въ свою любовь къ Китти и ихъ будущему ребенку. Левинъ ни о чемъ себя не спрашиваетъ и безотчетно предается своему счастію. Сомнѣнія еще вернутся къ нему. Но когда они явятся, они найдутъ Левина уже инымъ. Любовь и семья окажутся въ немъ тогда уже глубоко пустившими корни и незамѣтно привязавшими его къ жизни глубже, чѣмъ лежалъ источникъ сомнѣній. Когда они снова къ нему возвратятся и мучительно его охватятъ, въ немъ уже окажется созрѣвшею та сила духовнаго чутья и непосредственной жизненности, которыя преодолѣютъ всѣ сомнѣнія окончательно, разрѣшатъ прежнюю дисгармонію въ полное внутреннее равновѣсіе и, уяснивъ ему тайну жизни, упрочатъ и его собственную жизнь уже навсегда.

Для родовъ Китти Левины переѣхали на время въ Москву. Тамъ Левинъ метался какъ угорѣлый, какъ рыба на льду, перейдя изъ привычныхъ формъ жизни въ несвойственную ему городскую обстановку, съ ея суетой, множествомъ народа, отсутствіемъ природы и условными формальностями общественныхъ отношеній, такъ тяготившихъ привыкшаго къ деревенской безыскусственности Левина. Онъ былъ правъ, полагая, что городская жизнь есть искусственное созданіе человѣческихъ отношеній; это было такъ же вѣрно, какъ и то, что въ городѣ нѣтъ природы, нѣтъ лѣсовъ и полей, а есть каменные дома, изъ-за которыхъ иногда и неба не видно. Левинъ былъ правъ, думая, что стихій-

ная жизнь сельскаго народа яснѣе выражаетъ общія и постоянныя черты національнаго духа, чѣмъ городская, въ которой онѣ скрываются за сложными и разнообразными видоизмѣненіями моды—въ широкомъ значеніи этого слова, т. е. въ смыслѣ быстро смѣняющихся фазъ общественной исторіи. Но, кромѣ всего этого, въ чемъ Левинъ былъ правъ, были еще другія, личныя уже, обстоятельства. Въ центрѣ умственной жизни, гдѣ люди болѣе живутъ разсудочною жизнью, нежели стихійнымъ началомъ непосредственнаго чувства, натура Левина должна была чувствовать себя дико и безпріютно. Онъ не зналъ, къ чему тамъ приложить привычныя силы своей своеобразной личности и, совсѣмъ не подходя подъ тонъ людей, живущихъ частью отвлеченіемъ, частью механизмомъ общественныхъ отношеній, чувствовалъ себя подавленнымъ въ этой туманной для него атмосферѣ и занимался безцѣльнымъ убиваніемъ времени, какъ бѣлка, вертящаяся въ колесѣ клѣтки, и часто дѣлалъ даже прямыя глупости.

Рожденіе сына и страхъ за жену вывелъ его изъ этой душевной недѣятельности. Значительность этого событія его жизни—рожденія живого существа — была освѣжающимъ потрясеніемъ, обратившимъ его душу снова на созерцаніе таинственныхъ глубинъ жизни. Передъ нимъ была возможность смерти жены и появленіе новаго существа, и душа его напряглась, чтобы постигнуть чувствомъ эти двѣ родственныя тайны.

„Онъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершилось, было подобно тому, что совершалось годъ тому назадъ въ гостиницѣ губернскаго города на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость. *Но и то горе и эта радость были* одинаково внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, были *въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда разсудокъ уже не поспѣвалъ за нею*“.

Это что-то высшее, открывавшееся изъ-за отверстій, были вѣчные законы человѣческой жизни, связывающіе отдѣльнаго человѣка съ другими и съ остальнымъ мірозданіемъ. Душа возвышается до этихъ оконъ въ широкую, внѣличную природу лишь при зрѣлищѣ важнѣйшихъ и вмѣстѣ таинственнѣйшихъ событій личной жизни—рожденія, брака и смерти. Въ обыденныхъ усло-

віяхъ человѣкъ чувствуетъ себя всегда независимымъ и отдѣльнымъ отъ остального міра. Въ обыденныхъ условіяхъ онъ сознаетъ свою связь съ опредѣленными живыми людьми и лишь внѣшнюю зависимость отъ явленій природы, доступныхъ его воздѣйствію,— онъ чувствуетъ обыкновенно лишь внѣшнюю съ нею связь. Но когда онъ присутствуетъ и участвуетъ духомъ въ такихъ событіяхъ своей жизни, которыя подчинены законамъ общимъ для всѣхъ людей,—такимъ законамъ, которые связываютъ его существованіе со всѣмъ остальнымъ твореніемъ,—онъ непосредственно чувствуетъ эту таинственную, но несомнѣнную связь, скрывающуюся обыкновенно отъ непосредственнаго чувства. Таковы рожденіе и смерть близкихъ, такова собственная смерть, такова та степень любви, которая ведетъ къ браку, къ семьѣ, къ созданію новыхъ существъ, „которыхъ никогда прежде не было и которыя такъ же, съ тѣмъ же правомъ, съ тою же значительностью для себя, будутъ жить и плодить себѣ подобныхъ“. Обыкновенно, когда личная жизнь не приводитъ человѣка въ непосредственную связь съ жизнью всей природы, ея общіе и вѣчные законы представляются лишь съ тою неполнотой гипотетичности и отвлеченности, какая доступна теоретическому сознанію. И если оно необходимо для сознательно живущаго человѣка, если оно возвышаетъ умъ до сознательнаго общенія въ мысли съ существованіемъ общества, народности, ея исторіи и всего человѣчества, всей природы, то все же это теоретическое общеніе очень неустойчиво и непрочно, склонно къ сомнѣніямъ, къ самоотрицанію, къ отложенію въ мысли отъ общей жизни природы. Но когда сомнѣвающееся и отрицающееся жизни сознаніе отъ теоретическаго представленія переходитъ къ непосредственному созерцанію своей связи съ природой, ея вѣчными законами и таинственными цѣлями, тогда сомнѣнію и отрицанію жизни уже нѣтъ мѣста.

Одинокій въ теоріи умъ можетъ сомнѣваться въ цѣлесообразности своего существованія; но сомнѣніе исчезаетъ, когда сознанію открывается непосредственная связь его съ природой. Теоретически можно сомнѣваться въ движеніи; но достаточно встать и сдѣлать нѣсколько шаговъ кругомъ бочки, чтобы сомнѣніе въ возможности движенія исчезло безвозвратно. Теоретически Левинъ могъ сомнѣваться въ томъ, что его личная жизнь была не простая случайность, отказаться отъ которой, ради ея безцѣльности и зла, лежало въ его власти. Но сомнѣніе стало для него невозможнымъ, когда онъ почувствовалъ себя самого участникомъ

въ твореніи жизни и увидѣлъ на себѣ и черезъ себя ея вѣчные законы, открывшіеся его взору въ творческой силѣ его любви, какъ микроскопической частицѣ той силы, которая создала его, всѣхъ его окружающихъ и весь остальной міръ, и дала имъ законъ естественнаго существованія, законъ добра, и которая его самого тѣмъ самымъ дѣлала участникомъ вѣчной жизни природы, поставила ему вѣчную цѣль — созерцанія, храненія и развитія вѣчныхъ законовъ добра.

XIX.

Новыя, болѣе прочныя и глубокія связи Левина съ жизнью усилили въ немъ потребность и создали почву для положительнаго рѣшенія тѣхъ высшихъ вопросовъ жизни, которымъ его прежній позитивизмъ отказывался дать объясненіе.

Душа мучительно и настойчиво ждала отвѣта. Позитивизмъ никакого отвѣта не давалъ. И разъ позитивизмъ оказался неудовлетворительнымъ, его свѣтъ въ глазахъ Левина долженъ былъ немедленно померкнуть, и его теоріи должны были представиться Левину въ ихъ истинномъ, жалкомъ значеніи. Левинъ увидѣлъ, что эти теоріи—не больше какъ игрушка, дающая забаву пресыщенному и самодовольному паразиту, но неспособная хотя бы на минуту утолить голодъ истинно алкающаго правды человѣка.

Отвергнувъ позитивизмъ, Левинъ еще менѣе могъ остановиться на ученіи кого-либо изъ систематиковъ догматической трансцендентальной философіи. Непосредственное чувство каждый разъ воздерживало его отъ соблазна, подсказывая вѣрно, что высокіе, грандіозные и все же хрупкіе своды этихъ воздушныхъ системъ не имѣютъ фундамента, что эти величественныя и въ то же время жалкія постройки—только созданіе логически-условной архитектуры разсудочнаго отвлеченія, безсильнаго воспроизвести истинные законы и истинное созерцаніе жизни. „Вся эта искусственная постройка заваливалась какъ карточный домикъ, и ясно было, что *постройка была сдѣлана изъ тѣхъ же перестановленныхъ словъ* независимо отъ чего-то болѣе важнаго въ жизни, чѣмъ разумъ“.

Эти послѣднія слова и точка ихъ зрѣнія представляются раціоналистической критикѣ послѣднимъ ничтожествомъ невѣжества и безсмыслія. „Разумъ понимается разумомъ,—говоритъ г. Стан-

кевичъ, — а для Левина онъ не могъ быть непонятнымъ; нужно же ему было понять нѣчто болѣе важное, что̀ понимается не разумомъ. Задача была въ самомъ дѣлѣ трудная—уразумѣть неразумное и понять его безъ разума!"

Эти язвительныя слова *перестановлены* дѣйствительно ловко, съ мастерствомъ достойнымъ лучшаго дѣла. Чтобы вѣрно и сразу оцѣнить достоинство лежащей въ нихъ тонкости діалектическаго сцѣпленія, нужно прежде всего устранить софистическую путаницу фразъ, на которой оно основано.

Левинъ разумомъ называетъ то, что̀ въ дѣйствительности есть только разсудокъ, и потому относится такъ отрицательно не къ разуму, а къ разсудочной логикѣ. А г. Станкевичъ впадаетъ въ ту же ошибку, только съ другой стороны, сложное понятіе разума отождествляя съ одною лишь логическою механикой сознанія, и потому, подымая перчатку, брошенную Левинымъ, защищаетъ въ дѣйствительности честь не разума, а разсудочнаго начала—раціонализма.

Разумъ есть разговорный синонимъ психологическому термину сознанія, которое само и отражаетъ и созерцаетъ дѣятельность равно и логической мысли и непосредственнаго чувства. Первый ингредіентъ, матеріалъ сознанія, мы въ разговорномъ языкѣ называемъ разсудкомъ, второй—сердцемъ. Разумъ же обнимаетъ собою обѣ эти сферы духовной жизни человѣка. И споръ между поэтическимъ Левинымъ и раціоналистическимъ критикомъ сводится въ сущности къ тому, что Левинъ справедливо считаетъ разсуждающую силу сознающаго разума ограниченною, неспособною проникнуть въ глубины жизненной тайны, и потому отдаетъ предпочтеніе и всѣ надежды возлагаетъ на сердце, развитію и познающей силѣ котораго природой не положено никакого предѣла; тогда какъ г. Станкевичъ исходитъ изъ обратнаго убѣжденія, признающаго чутье непосредственно чувствующаго сердца однимъ лишь случайнымъ, слѣпымъ и темнымъ инстинктомъ, безправнымъ предъ свѣтлымъ лицомъ разсудочной мысли.

Какъ это всегда бываетъ въ жизни, такъ и тутъ различное толкованіе идей есть лишь одно изъ проявленій разницы въ общемъ направленіи мнѣній и рождающаго ихъ различія психической организаціи. Художественная почва мнѣній Левина слишкомъ противоположна разсудочному источнику идей критика-раціоналиста. Отсюда одному въ другомъ все должно казаться страннымъ и ограниченнымъ, и наоборотъ.

Одно изъ такихъ наиболѣе общихъ различій замѣтно въ отношеніяхъ Левина и г. Станкевича къ изученію философскихъ системъ. Левину это изученіе не могло дать ничего положительнаго, особенно изученіе той системы, которая съ наименьшимъ правомъ присвоила себѣ это претенціозное имя. Левинъ видѣлъ въ нихъ только тонкую діалектику голаго разсудка съ жалкимъ и ужаснымъ безплодіемъ отрицанія въ результатѣ. Раціоналистическій критикъ, наоборотъ, полагаетъ, что для Левина, какъ и для всѣхъ, изученіе философскихъ системъ „могло быть плодотворно при необходимомъ условіи пониманія и дѣятельности послѣдовательной мысли, а этого условія въ Левинѣ не было“.

Когда я слышу въ обществѣ затасканную фразу о томъ, что гр. Л. Н. Толстой, будучи геніальнымъ художникомъ, не надлежаще вторгается въ чуждую ему область отвлеченнаго мышленія и тамъ являетъ жалкое подражаніе воронѣ въ павлиньихъ перьяхъ, я ничуть не бываю огорченъ. Я равнодушенъ къ этому безсмысленному мнѣнію прежде всего потому, что въ душѣ считаю гр. Толстого тѣмъ, что̀ есть неизмѣримо больше и лучше, чѣмъ самый великій художникъ или философъ. Я убѣжденъ, что гр. Толстой — *человѣкъ*, и человѣкъ въ такихъ предѣлахъ, что немногіе могли и могутъ съ нимъ сравниться. И въ этомъ человѣкѣ, котораго душу я вижу или, по крайней мѣрѣ, стараюсь видѣть въ цѣломъ, не отдирая отъ нея ничего по кусочкамъ, я никакъ не могу отдѣлить его глубокой мысли отъ его глубочайшаго чувства. Онъ для меня художникъ и мыслитель, и я только счастливъ, что и то и другое исчезаетъ у него совершенно въ его человѣкѣ, который такъ необыкновенно далекъ отъ всѣхъ профессіональныхъ названій—и заправскаго поэта съ поэзіей безъ мысли, и патентованнаго философа съ ужасно умною и послѣдовательною системой догматическою въ двадцати пяти томахъ и безъ одной страницы живого человѣчнаго чувства.

Тѣмъ болѣе — Левинъ. Левинъ — помѣщикъ съ поэтическою натурой, просто человѣкъ, который живетъ, искренно чувствуя и искренно размышляя, не претендуя на патентъ поэта, философа, критика. Поэтому Левину не было надобности высказывать свои мнѣнія объ исторіи философіи подробно, что̀ въ художественномъ произведеніи, къ тому же, было бы по крайней мѣрѣ неумѣстно: довольно, что въ романѣ показано настроеніе, характеръ отношенія, источникъ и точка его зрѣнія. Въ настоящее время ни для кого изъ образованныхъ людей не составляетъ новости, что фило-

софія не разъяснила и никогда не разъяснитъ тайнъ жизни; что хотя разсудокъ вѣчно будетъ стремиться къ этому высшему познанію, но для него доступъ туда закрытъ навсегда, и что поэтому разсудочная мысль человѣка есть безвыходный кругъ, который не можетъ быть ни прерванъ, ни законченъ.

Въ этомъ теперь согласны люди самыхъ различныхъ направленій. Такъ полагаютъ позитивисты и успокоиваются на этомъ признаніи, и прилагаютъ разсудочныя силы къ изученію второстепенныхъ вопросовъ человѣческаго знанія. Такъ думаютъ тоже и противники позитивизма, какъ бы мы ихъ ни называли, но не могутъ удовлетвориться отрицательнымъ результатомъ разсудочной философіи и пытаются вопросить другой источникъ истины—непосредственное чувство.

Къ числу послѣднихъ принадлежитъ и Левинъ. Онъ иногда не умѣетъ выражаться: такъ, онъ неправильно употребляетъ слово *разумъ*, въ дѣйствительности понимая подъ нимъ лишь разсудочный видъ сознанія. Но самая его мысль о недостаточности послѣдняго, о существованіи для сознанія другого, неизмѣримо болѣе тонко и глубоко проникающаго орудія,—эта мысль Левина не представляетъ ничего безсмысленнаго и, въ своемъ основаніи, ничего даже новаго. Въ сущности она такъ же стара, какъ и весь человѣческій міръ. Къ ней приближались, отъ нея удалялись, но она всегда существовала и ею всегда жили массы людей. На ней были построены первобытное и всѣ древнія міросозерцанія. Она лежитъ въ основаніи всѣхъ существующихъ религій. Она живетъ до сихъ поръ и всегда будетъ жить въ большинствѣ людей. Всѣ поэты и художники говорили всегда ея языкомъ. И если она явилась на устахъ поэтическаго Левина, то здѣсь ровно ничего нѣтъ удивительнаго и тѣмъ болѣе ничего безсмысленнаго. Напротивъ, въ этомъ Левинѣ съ его мыслью есть глубочайшій смыслъ. Она — знаменіе времени, того поворота отъ индивидуализма и разсудочности къ религіозному міровоззрѣнію и христіанству, который каждый день и каждый часъ совершаетъ завоеванія на нашихъ глазахъ и надъ которымъ подтрунивать могутъ только очень близорукіе люди.

XX.

Ничего нѣтъ удивительнаго, что осужденіе критиковъ—печатныхъ и непечатныхъ — всего болѣе направлено было именно на

эпилогъ романа. Въ немъ было всего болѣе мысли, и эта мысль критикѣ была не только антипатична, но и превышала ея пониманіе.

Но формы и пункты обвинительнаго акта были чрезвычайно и даже неожиданно комичны. Одно изъ главныхъ обвиненій мы уже почти разобрали по поводу статьи г. Станкевича, которому, какъ и многимъ другимъ, неспособность Левина удовлетвориться философскими системами, и особенно позитивною, казалась ужаснымъ вольнодумствомъ, даже несомнѣннымъ доказательствомъ его тупоумія. Какъ это такъ смѣть отвергать то, что̀ мы всѣ признаемъ? Какъ это быть такимъ близорукимъ—находить пустымъ, ограниченнымъ то, что̀ нашъ умъ считаетъ разрѣшающимъ все и до конца?

Другое обвиненіе было еще основательнѣе. Какъ это могло случиться,—говорили г. Станкевичъ и tutti quanti,—что мужикъ простой, неграмотный, Ѳедоръ подавальщикъ, научилъ религіи образованнаго, начитаннаго, всякими премудростями исполненнаго Левина? Что̀ было убѣдительнаго въ тѣхъ ничтожныхъ словахъ подавальщика, что мельникъ не выберетъ денегъ съ аренды, что онъ для души живетъ, Бога помнитъ? Какъ эти глупыя слова глупаго Ѳедора могли убѣдить хотя и „тупо, но все же умнаго“ Левина въ существованіи Бога? Что̀ въ нихъ было свѣтлаго, что̀ неожиданною молніей вдругъ озарило омраченную сомнѣніемъ, истерзанную безсильною жаждой вѣры душу этого смѣшного, жалкаго фантазёра?

Я часто размышлялъ объ этихъ обвиненіяхъ и сначала находилъ имъ не только возраженія, но даже какъ будто объясненіе ихъ собственной ошибки.

Сначала я объяснялъ все это такъ. Вѣроятно, думалъ я, г. Станкевичъ очень прилежно изучалъ Гегеля, лѣвыхъ гегеліанцевъ и позитивистовъ всѣхъ формацій, усердно сидѣлъ надъ Дарвиномъ и Спенсеромъ. Вспоминая мучительный трудъ, съ которымъ давалась мнѣ премудрость,—вспоминая, какъ я томился надъ Гегелемъ, восхищался ясностью и геометрическою простотой Дарвина, какъ безуспѣшно я боролся со сномъ надъ огромными холодными книгами Спенсера, — я понималъ, что у г. Станкевича не было времени прочитать Шопенгауэра, Гартмана, Владиміра Соловьева, пожалуй даже невиннаго Захеръ-Мазоха. Вѣроятно, онъ не читалъ статей г. Страхова о Герценѣ, не придавалъ значенія тому, что Тургеневъ такъ часто задумывался о смерти, не обратилъ вни-

манія на *Вопросы о жизни и духѣ* Льюиса. Вѣроятно, — полагалъ я, — только поэтому г. Станкевичъ не замѣтилъ вовсе, что уже давно зародившееся настроеніе, враждебное равно и эмпиризму, и трансцендентальному раціонализму, распространяется съ каждымъ годомъ все шире и шире, что современное философское сознаніе направлено именно въ ту сторону, гдѣ лежатъ основанія левинскихъ мнѣній и вкусовъ. Конечно,—я думалъ, — только поэтому г. Станкевичъ не понялъ, что если новѣйшіе философы, сознавая недостаточность прежнихъ методовъ, изолированныхъ отъ непосредственнаго внутренняго чувства, стремятся вопросить это чувство путемъ сознательнымъ и научнымъ, то къ тому же результату долженъ былъ непосредственно придти человѣкъ, обладавшій, подобно всѣмъ поэтическимъ натурамъ, въ большой степени тѣмъ самымъ орудіемъ, которое хотятъ примѣнять теперь люди отвлеченной мысли. Если они пришли къ такому рѣшенію путемъ умственныхъ разсужденій, то тѣмъ натуральнѣе Левину было *почувствовать* его непосредственно. Вѣдь та заброшенная, давно никѣмъ не примѣнявшаяся сила всегда готовою жила въ его поэтической душѣ. И вотъ эта сила, несмотря на всю неотдѣленность его логической мысли, несмотря на все несовершенство разсудочныхъ орудій, теченіемъ самой его жизни, собственнымъ внутреннимъ развитіемъ своимъ привела его къ знанію, котораго логическими средствами онъ никому бы не доказалъ, но въ которомъ онъ непосредственнымъ чувствомъ самъ убѣдился несомнѣнно и навсегда.

Мнѣ казалось также, что я понимаю и второе недоумѣніе. Вѣдь слова Ѳедора ничуть не были для Левина *логическимъ* доказательствомъ существованія Бога. Вѣдь они были только послѣднею каплей въ его наполнившемся жизненнымъ чувствомъ источникѣ внѣличной любви. Капля переполнила его, онъ разлился и смылъ послѣдніе слѣды эгоизма и сомнѣній. Слова Ѳедора, примѣръ мужика, его убѣжденіе и чувство были только этою послѣднею каплею. Они передались Левину непосредственно. Они влили въ его сердце чувство—что все, что̀ истинно живетъ, все вѣритъ въ Бога. И самъ Левинъ вдругъ ожилъ совсѣмъ и увѣровалъ въ Бога.

Но отчего г. Станкевичъ съ такимъ ужаснымъ презрѣніемъ отнесся къ Ѳедору подавальщику, къ нянюшкѣ Агаѳьѣ Михайловнѣ, ко всѣмъ этимъ добрымъ, простымъ и умнымъ людямъ,—этого я никакъ не могъ понять. Тутъ-то и начинались мои сомнѣнія. Еще

я никакъ не могъ понять, что̀ именно даетъ всѣмъ подобнымъ мыслителямъ такую твердость вѣры въ разные „измы“, такую незыблемую увѣренность въ обладаніи истиной, такое презрѣніе къ сомнѣвающемуся, ищущему Левину, съ его вѣчнымъ алканіемъ и жаждою правды... Этого я никакъ не могъ себѣ уяснить.

XXI.

Однажды, размышляя лежа на диванѣ объ этомъ, назойливо надоѣдавшемъ мнѣ, недоумѣніи, я заснулъ, и мнѣ приснилось, что будто я со станціи желѣзной дороги ѣду на мужицкихъ саняхъ куда-то, къ кому-то, въ деревню. Ѣду, вспоминаю и никакъ не могу припомнить, куда это я ѣду. Вѣдь я такъ долго, страстно мечталъ объ этой поѣздкѣ, и какъ же могъ я забыть? Постой... г. Станкевичъ... Левинъ... Ахъ, вѣдь это Левинъ: вѣдь я ѣду къ Левину, къ Агаѳьѣ Михайловнѣ!.. Ахъ, какъ хорошо! Вотъ теперь я все узнаю, всѣ свои сомнѣнія разрѣшу окончательно. Вотъ отлично!.. А вотъ уже и Покровское. Какъ здѣсь хорошо все: и волшебно какъ-то, и вмѣстѣ просто совсѣмъ.

Сани остановились у непокрытаго подъѣзда. „Только бы не слишкомъ сухо они со мной обошлись, — подумалъ я, входя въ высокія темныя сѣни.—Уйду въ свою раковину, не разговорюсь, такъ ни съ чѣмъ и уѣду, пожалуй“.

Я сталъ снимать съ себя шубу, но въ эту минуту дверь отворилась, и ко мнѣ подошелъ старый-престарый, сгорбленный, съ желтою сѣдиной, камердинеръ. Въ его привѣтливой, благообразной, несмотря на глубокую старость, наружности было что-то располагающее къ довѣрію, гостепріимно-радушное и милое, что-то такое, теперь уже рѣдкое, старосвѣтское. Онъ помогъ мнѣ раздѣться и провелъ въ кабинетъ.

Кабинетъ былъ большой, и все въ немъ было такое же большое, старинное, какъ его высокія, толстыя стѣны. У ближайшаго къ двери окна стоялъ простой письменный столъ, и на немъ не было ничего, кромѣ чернильницы, перьевъ, какихъ-то тетрадокъ и кипы разбросанныхъ, запыленныхъ бумагъ. „Вѣроятно, это его трактатъ о сельскомъ хозяйствѣ“, — подумалъ я и сѣлъ на край большого стараго кожанаго дивана, у стола, и невольно задумался.

Вотъ у этого стола Китти послѣ свадьбы сидѣла съ мужемъ и вырѣзывала broderie anglaise. Тутъ они и чай пили съ Агаѳьей

Михайловной въ тотъ вечеръ, когда получили письмо отъ Марьи Николаевны, что Левинъ Николай при смерти. И что теперь будетъ дѣлать бѣдная Долли? И какіе они всѣ теперь стали? Вѣдь съ тѣхъ поръ, какъ гр. Толстой написалъ о нихъ романъ, прошло лѣтъ десять.

Вошелъ старикъ-лакей и прервалъ мои размышленія.

— Пожалуйте наверхъ, въ столовую. Дарья Александровна чай кушаютъ, васъ просятъ. Баринъ вышли, скоро придутъ.

Я пошелъ по лѣстницѣ наверхъ, и вдругъ напало на меня сомнѣніе. Вѣдь я-то давно ихъ всѣхъ знаю и люблю, а они, вѣдь, меня не знаютъ. Пожалуй, еще будутъ недовольны. И такъ грустно мнѣ стало. „Ну что жъ?—попытался я себя утѣшить.—Какъ бы ни приняли, ты останешься тѣмъ же и самъ къ нимъ не измѣнишься. Остальное—ихъ уже дѣло. А для тебя важно одно: чтобы жить для Бога, для души“.

Но всѣ мои опасенія оказались напрасными. Въ столовой у стола съ большимъ самоваромъ сидѣла Долли и разливала чай. Она была въ черномъ съ плерезами платьѣ, очевидно, въ траурѣ. По комъ это?.. А вокругъ нея всѣ шестеро ея дѣтей. Нѣкоторыя изъ нихъ были уже взрослыя. На другомъ концѣ стола, противъ Долли, сидѣла Агаѳья Михайловна въ очкахъ и чепцѣ и вязала чулокъ. Долли повернулась ко мнѣ, и я сейчасъ узналъ ее по ея добрымъ, грустнымъ глазамъ. Она очень постарѣла и въ лицѣ не было и слѣдовъ прежней наклонности къ веселой, насмѣшливой шуткѣ. Она казалась убитою горемъ. „Ужъ не умеръ ли Стива?“—подумалъ я. Агаѳья Михайловна нисколько не измѣнилась, только согнулась немножко. Младшія дѣти Долли, не признавая никакихъ законовъ, жгли малину на свѣчкѣ, пускали молоко фонтаномъ въ ротъ и на мое появленіе и поклонъ не обратили никакого вниманія.

— Вы къ Константину Дмитричу? — сказала Долли тихимъ голосомъ.—Онъ сейчасъ придетъ. Онъ вышелъ только приказать что-то на завтра приказчику. Не хотите ли чаю? Услыхавъ вашъ колокольчикъ, я подумала—ужъ не вернулась ли это сестра со своими дѣтьми изъ-за границы.

Послышались шаги быстро и легко взбѣгавшаго по лѣстницѣ человѣка.

— А, вотъ и онъ. Костя, вотъ гость къ тебѣ!

Левинъ подошелъ ко мнѣ, и на мгновеніе его сѣрые глаза взглянули на новое лицо старчески-внимательно и строго. Но сей-

часъ же потомъ онъ улыбнулся съ спокойною, привѣтливою лаской.

— Я знаю васъ немножко. Я зналъ вашего отца, ѣздилъ съ нимъ на медвѣдей и разъ былъ у васъ въ домѣ. Тогда вы были, пожалуй, еще меньше этого философа, — и онъ показалъ на младшаго племянника, бѣлокураго мальчика лѣтъ четырехъ. — Но разскажите, какъ вы попали въ наше деревенское царство? Откуда вы пріѣхали?

— Я живу въ Малороссіи, на австрійской границѣ. По дорогѣ заѣзжалъ еще въ Москву и Петербургъ. Мнѣ хотѣлось ужасно васъ увидѣть, поговорить объ эпилогѣ романа, написаннаго о васъ графомъ Толстымъ, и еще о г. Станкевичѣ.

— Что такое г. Станкевичъ? — сказалъ Левинъ и нахмурился. — Я не слыхалъ, кажется, такой фамиліи.

— Развѣ вы не читали? Вѣдь это нашъ знаменитый критикъ изъ *Вѣстника Европы*. Неужели вы не знаете? Вѣдь онъ объ васъ писалъ, — не совсѣмъ основательно, правда, но не безъ остроумія.

— Я никогда не читаю ничего изъ того, что̀ обо мнѣ пишутъ. И я очень сержусь на гр. Толстого, что онъ представилъ меня въ своемъ романѣ. Пріѣхалъ, познакомился, влѣзъ въ мою душу и потомъ изобразилъ въ смѣшномъ еще видѣ. Это очень дурно съ его стороны. Я очень любилъ его прежде, но теперь прекратилъ съ нимъ всякія отношенія. Пренепріятный оказался человѣкъ!

— Ахъ, помилуйте, Константинъ Дмитричъ, это совсѣмъ не такъ было...

— Что вы мнѣ говорите! — перебилъ меня Левинъ, и въ его голосѣ послышалось раздраженіе, которое онъ не сразу могъ подавить. — Я не читалъ, но я отлично знаю. Меня осмѣяли во всѣхъ толстыхъ журналахъ. Кто же въ этомъ виноватъ, какъ не гр. Толстой?

— Нѣтъ, Константинъ Дмитричъ, повѣрьте, что гр. Толстой нисколько тутъ не виноватъ. Совсѣмъ напротивъ. Это не онъ: онъ, напротивъ, очень васъ любитъ. Это только толстые журналы не поняли его, исказили его мысль. Они не васъ, — они собственную свою ошибку осмѣяли, самихъ себя, увѣряю васъ. Я по себѣ знаю: я никогда бы къ вамъ не пріѣхалъ, я никогда не могъ бы полюбить васъ за глаза, если бы гр. Толстой не писалъ о васъ...

Левинъ сидѣлъ, крѣпко нахмуривъ свои большія, съ просѣдью,

брови, и изрѣдка полусердито, полувыжидательно косился на меня. Вѣроятно, не слова мои, а убѣжденный тонъ мой поколебалъ слегка его предубѣжденіе къ гр. Толстому.

Долли вышла съ дѣтьми и Агаѳьей Михайловной, и мы остались одни.

— Константинъ Дмитричъ,—обратился я къ Левину,—отчего княгиня въ траурѣ?

Левинъ посмотрѣлъ на меня серьезно и строго.

— Она потеряла недавно мужа и родителей.

— А что Львовы?—спросилъ я.

— Львовъ получилъ мѣсто посла и теперь живетъ съ женой въ Италіи. Китти съ дѣтьми теперь у нихъ, въ Римѣ. Долго что-то загостилась.

— А Алексѣй Александровичъ?—спросилъ я съ возрастающимъ страхомъ.

— Каренинъ получилъ размягченіе мозга. Его помѣстила графиня Лидія Ивановна гдѣ-то въ Швейцаріи у одного знаменитаго психіатра и сама поселилась около него. Она тоже непрочна. И Каренинъ не долго проживетъ. Слѣдинъ говорилъ мнѣ надняхъ, что его смерти ждутъ со дня на день. Они вмѣстѣ съ его другимъ другомъ, извѣстнымъ петербургскимъ врачомъ, поѣхали теперь проститься съ нимъ.

Мнѣ стало ужасно грустно. Какъ все ужасно разыгралось! И какъ хорошо, что Левины, что Долли, что всѣ они еще живы! И отчего, и чѣмъ они живы? Левинъ, уже не дожидаясь вопросовъ моихъ, самъ продолжалъ:

— Вронскій сдѣлалъ всю Сербскую и всю Турецкую кампаніи и подъ Санъ-Стефано умеръ отъ пятнистаго тифа. Жена его брата ѣздила за тѣломъ его и похоронила его въ Петербургѣ рядомъ съ могилой Анны Аркадьевны. Братецъ Сергѣй Ивановичъ напечаталъ окончаніе *Опыта обзора основъ*,—продолжалъ Левинъ съ доброю, хитрою усмѣшкой,—и играетъ видную роль теперь въ славянскомъ комитетѣ.

— А Марья Николаевна?—робко обратился я къ Левину.

Лицо Левина опять сдѣлалось серьезно и строго.

— Она была, вмѣстѣ съ Варенькой, сестрой милосердія на войнѣ, и теперь онѣ вмѣстѣ живутъ въ Петербургѣ, въ санитарной общинѣ, которая борется противъ дифтерита. Онѣ изрѣдка пишутъ намъ... Слава Богу, онѣ обѣ живы и здоровы...

„Какъ это хорошо!“—подумалъ я.

XXII.

Мы пошли въ кабинетъ Левина покурить.

— Сядемте здѣсь на диванъ. Здѣсь очень уютно. Петръ, кстати, догадался каминъ затопить. Вы что-то начали говорить о какомъ-то г. Станкевичѣ.

— Ахъ, да!.. Я не понимаю людей, которые такъ глубоко вѣруютъ въ человѣческую науку. Вотъ тоже и господинъ Станкевичъ. Онъ...

— Это такъ просто совсѣмъ,—перебилъ меня Левинъ и улыбнулся.—Это потому, что имъ анатоміи разныя, біологіи, соціологіи и другія *логіи* дороже вопросовъ о душѣ.

Левинъ помолчалъ, потомъ всталъ, поколотилъ краснымъ огнемъ, съ синимъ сіяніемъ, задумчиво тлѣвшіе угли стальною кочергой съ новою золоченою ручкой и долго стоялъ и смотрѣлъ въ огонь, котораго колебавшіеся цвѣта и шорохъ какъ будто бы о чемъ-то ему говорили. Я смотрѣлъ на миръ и глубокую мысль его лица и самъ въ своей метающейся душѣ ощущалъ впервые спокойствіе и миръ.

— Я тоже вопрошалъ человѣческое знаніе, — продолжалъ Левинъ задумчивымъ голосомъ.—Я искалъ объясненія на вѣчные вопросы жизни во всѣхъ тѣхъ знаніяхъ, которыя пріобрѣли люди. И я мучительно и долго искалъ, и не изъ празднаго любопытства, не вяло искалъ, но искалъ мучительно и упорно, дни и ночи,—искалъ, какъ ищетъ погибающій человѣкъ спасенія, и ничего, ничего не нашелъ. Я искалъ во всѣхъ знаніяхъ, и не только не нашелъ, но убѣдился, что всѣ тѣ, которые такъ же, какъ я, искали въ знаніи, точно такъ же ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что̀ приводило меня въ отчаяніе—безсмыслица жизни—есть единственное, несомнѣнное знаніе, доступное человѣку.

— Вы говорите по поводу вашего эпилога у гр. Толстого? Какъ я радъ! Это и былъ другой вопросъ, за разрѣшеніемъ котораго я къ вамъ пріѣхалъ.

— Да. Я искалъ вездѣ,—продолжалъ Левинъ, видимо недовольный тѣмъ, что я прервалъ теченіе его мысли.—И, благодаря жизни, проведенной въ ученіи, а также тому, что, по связямъ моимъ съ Кознышевымъ, Метровымъ и Катавасовымъ, мнѣ были доступны сами ученые всѣхъ разнообразныхъ отраслей знанія,

не отказывавшіе открывать мнѣ свои знанія не только въ книгахъ, но и бесѣдахъ, я узналъ все то, что̀ на вопросы жизни отвѣчаетъ знаніе. Долго я никакъ не могъ повѣрить тому, что знаніе ничего другого не отвѣчаетъ на вопросы жизни, какъ то, что̀ оно отвѣчаетъ. Долго мнѣ казалось, вглядываясь въ важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положенія, не имѣющія ничего общаго съ вопросами человѣческой жизни, что я чего-нибудь не понимаю. Долго я робѣлъ передъ знаніемъ, и мнѣ казалось, что несоотвѣтственность отвѣтовъ моимъ вопросамъ происходитъ не по винѣ знанія, а отъ моего невѣжества. Но дѣло было для меня не шуточное, не забава, а дѣло всей моей жизни, и я волей-неволей былъ приведенъ къ убѣжденію, что вопросы мои—одни законные вопросы, служащіе основаніемъ всякаго знанія, и что виноватъ не я съ моими вопросами, а наука, если она имѣетъ притязательность отвѣчать на эти вопросы.

Левинъ вдругъ пришелъ въ волненіе и замолчалъ. Помѣшавъ въ каминѣ и присмотрѣвшись снова къ его кровавому, съ синими и бѣлыми переливами пламени, онъ успокоился и продолжалъ:

— Вопросъ мой,—тотъ, который нѣсколько разъ держалъ меня на волоскѣ отъ самоубійства,—былъ самый простой вопросъ, лежащій въ душѣ каждаго человѣка, отъ глупаго ребенка до мудрѣйшаго старца, — тотъ вопросъ, безъ котораго жизнь невозможна, какъ я и испыталъ на дѣлѣ. Вопросъ состоитъ въ томъ: что̀ выйдетъ изъ того, что̀ я дѣлаю нынче, что̀ буду дѣлать завтра,—что̀ выйдетъ изъ всей моей жизни? Иначе выраженный, вопросъ будетъ такой: зачѣмъ мнѣ жить, зачѣмъ что-нибудь желать, зачѣмъ что-нибудь дѣлать? Еще иначе выразить вопросъ можно такъ: есть ли въ моей жизни такой смыслъ, который не уничтожился бы неизбѣжною предстоящею мнѣ смертью? На этотъ-то одинъ и тотъ же, различно выраженный, на этотъ именно вопросъ я искалъ отвѣта въ человѣческомъ знаніи. И я нашелъ, что, по отношенію къ этому вопросу, всѣ человѣческія знанія раздѣляются какъ бы на двѣ противоположныя полусферы, на двухъ противоположныхъ концахъ которыхъ находятся два полюса: одинъ отрицательный, другой положительный,—но что ни на томъ, ни на другомъ полюсѣ нѣтъ отвѣтовъ на вопросы жизни. Одинъ рядъ знаній какъ бы и не признаетъ вопроса, но зато ясно и точно отвѣчаетъ на свои независимо по-

ставленные вопросы: это—рядъ знаній опытныхъ, и на крайней точкѣ ихъ стоитъ математика; другой рядъ знаній признаетъ вопросъ, но не отвѣчаетъ на него: это—рядъ знаній умозрительныхъ, и на крайней ихъ точкѣ—метафизика...

Я, глядя въ каминъ, слушалъ Левина съ величайшимъ вниманіемъ и возрастающимъ удовольствіемъ. Это было совершенно такъ, какъ и я думалъ въ послѣдніе годы. Вдругъ горка раскаленныхъ углей развалилась: нижній кусокъ, истлѣвъ, провалился черезъ рѣшетку въ подолъ камина. Горка разсыпалась, и одинъ изъ верхнихъ угольковъ, вспыхивая и потрескивая налету, упалъ на полъ и подкатился къ ногамъ Левина. Впечатлѣніе горки, въ ея ancien régime, ассоціировалось съ мыслями о разсказѣ Левина, и я, въ досадѣ на происшедшую въ каминѣ революцію, которая разбила теченіе моей мысли, хотѣлъ было раздавить уголекъ собственнымъ сапогомъ.

Левинъ засмѣялся.

— Эге, какой вы неловкій господинъ!—сказалъ онъ, милою улыбкой смягчая свое замѣчаніе.—Вы, должно-быть, очень непрактичный человѣкъ. Я объ этомъ еще тогда подумалъ, когда вы говорили въ столовой, что, отправившись съ австрійской границы сюда, вы по дорогѣ заѣзжали въ Москву, т. е. совсѣмъ въ другую сторону,—сказалъ онъ, сгребая уголь двумя какими-то мудреными лопатками.

— Это вышло совсѣмъ нечаянно,—отвѣчалъ я, сконфузившись.—Я ѣхалъ, собственно, не въ Москву, а къ вамъ, въ Покровское. Но я очень интересовался отношеніемъ нашихъ писателей къ вамъ и, не довольствуясь газетными и журнальными свѣдѣніями, ѣздилъ въ Москву и Петербургъ побесѣдовать лично съ представителями разныхъ литературныхъ партій.

Левинъ чему-то засмѣялся еще добродушнѣе и потомъ прибавилъ серьезно:

— Я тоже люблю изучать вещи изъ первыхъ рукъ,—изъ жизни, а не изъ книгъ. Вотъ и въ томъ, о чемъ я началъ говорить, мнѣ очень много помогли живыя наблюденія надъ Катавасовымъ и моимъ почтеннѣйшимъ и ученѣйшимъ братцемъ Сергѣемъ Ивановичемъ Кознышевымъ.

Левинъ задумался.

— Напримѣръ, Катавасовъ,—продолжалъ Левинъ.—Я долго, вѣдь, былъ подъ его вліяніемъ, когда мы оба были еще молодыми студентами. Я долго вѣрилъ слѣпо въ его теорію слѣдую-

щаго приблизительнаго содержанія: „Все развивается, дифференцируется, идетъ къ усложненію и усовершенствованію, и есть законы, руководящіе этимъ ходомъ. Ты — часть цѣлаго. Познавъ, насколько возможно, цѣлое и познавъ законъ развитія, ты познаешь и свое мѣсто въ этомъ цѣломъ и самого себя“. Какъ ни совѣстно мнѣ признаться, но было время, когда я удовлетворялся этою теоріей. Это было то самое время, когда я самъ усложнялся и развивался. Мускулы мои росли и укрѣплялись, память обогащалась, способность мышленія и пониманія увеличивалась. Я росъ и развивался и, чувствуя въ себѣ этотъ ростъ, мнѣ естественно было думать, что это-то и есть законъ всего міра, въ которомъ я найду разрѣшеніе вопросовъ и моей собственной жизни. Но пришло время, когда ростъ во мнѣ прекратился, — я почувствовалъ, что не развиваюсь, а ссыхаюсь, мускулы мои слабѣютъ, зубы падаютъ, — и я увидалъ, что этотъ законъ не только ничего мнѣ не объясняетъ, но что и закона такого никогда не было и не могло быть, а что я принялъ за законъ то, что̀ нашелъ въ себѣ въ извѣстную пору своей жизни. Я строже отнесся къ опредѣленію этого закона, и мнѣ ясно стало, что законовъ безконечнаго развитія не можетъ быть; ясно стало, что сказать: въ безконечномъ пространствѣ и времени все развивается, совершенствуется, усложняется, дифференцируется, — это значитъ ничего не сказать. Все это — слова безъ значенія, ибо въ безконечномъ нѣтъ ни сложнаго ни простого, ни лучше ни хуже.

Я, невольно улыбаясь, подтвердительно кивнулъ головой, не рѣшаясь словами выразить своего сочувствія. Левинъ строго сдвинулъ брови и рѣшительно продолжалъ:

— Главный же результатъ катавасовской философіи былъ тотъ, что вопросъ мой, главнѣйшій для души вопросъ: что такое я съ моими желаніями? — оставался уже совсѣмъ безъ отвѣта. И я понялъ, что знанія эти очень интересны, очень привлекательны, но что точны и ясны эти знанія обратно-пропорціонально ихъ приложимости къ вопросамъ жизни: чѣмъ менѣе они приложимы къ вопросамъ жизни, тѣмъ они точнѣе и яснѣе; чѣмъ болѣе они пытаются давать рѣшенія на вопросы жизни, тѣмъ болѣе они становятся неясными и непривлекательными. Если обратиться къ той отрасли этихъ знаній, которыя пытаются давать рѣшенія на вопросы жизни, — къ физіологіи, психологіи, біологіи, соціологіи, — то тутъ встрѣчаешь поразительную бѣдность мысли, величайшую

неясность, ничѣмъ не оправданную притязательность на разрѣшеніе не подлежащихъ такому методу вопросовъ, и безпрестанныя еще противорѣчія одного мыслителя съ другимъ и даже съ самимъ собою. Если...

— Ахъ,—не выдержалъ я и прервалъ Левина,—ахъ, какъ вы это хорошо сказали!—кричалъ я въ восторгѣ.—Вѣдь я тоже всегда именно это самое думалъ. Меня всегда поражало, какъ такіе, несомнѣнно серьезные умы, какъ Милль, Контъ и Спенсеръ, съ такою удивительною важностью часто говорятъ такія просто-на-просто ребенку непростительныя глупости. И еще изумляло меня то подобострастіе, съ какимъ въ нашей публикѣ эти глупости повторяютъ, именно эти-то глупости и поставляя своимъ идоламъ въ величайшую заслугу. Да, именно, именно — бѣдность, скудость ужасная мысли! Именно — величайшая неясность, претензіи огромныя на ходуляхъ изъ подгнившаго дерева! Помните у Спенсера теорію материнскаго чувства или женскаго состраданія? Изъ какихъ гадостей онъ ихъ объясняетъ!.. Или у Милля теорія счастья... чортъ, чортъ знаетъ что такое! Или эта дурацкая теорія прогресса у Конта... Боже мой, что это за безсмыслица! Если можно быть къ ней сколько-нибудь снисходительнымъ, то только за то, что конечный ея результатъ есть возведеніе въ боги самого ея автора, потому что авторъ этой философіи прогресса дѣйствительно божество для нашего безсмысленнаго вѣка. У Спенсера, впрочемъ, та же философія дифференцирована много превосходнѣе, но почему-то онъ не пошелъ далѣе генерала. И то сказать: генералъ тоже въ своемъ родѣ нѣкоторый богъ...

Сѣдыя брови нахмурились ужасно строго.

„Вѣроятно,—подумалъ я,—Левинъ разсердился за мою дикость и рѣзкость“.

— Извините, пожалуйста, я перебилъ вашъ интересный разсказъ. Въ обществѣ всегда приходится сдерживаться. Вѣдь это состояніе, впрочемъ, хорошо вамъ знакомо. Въ нашемъ обществѣ, вы знаете, очень много радикаловъ, порядочное количество Катавасовыхъ и Кознышевыхъ и недостаетъ только самаго маленькаго—людей. Людей слишкомъ, слишкомъ, ужъ мало! Когда, наконецъ, увидишь человѣка, становишься нетерпѣливъ, какъ сильно проголодавшійся охотникъ въ виду дымящагося тонкаго блюда... Вы, кажется, начали говорить, что если обратиться къ отрасли знаній, не занимающихся разрѣшеніемъ вопросовъ жизни, но отвѣчающихъ на свои научные спеціальные вопросы, то восхищаешься

силой человѣческаго ума, но знаешь напередъ, что отвѣтовъ на вопросы жизни нѣтъ.

— Да,—сказалъ Левинъ,—это моя мысль, мои слова. И эти знанія, дѣйствительно, прямо игнорируютъ вопросы жизни. Они, эти знанія, какъ будто издѣваются надъ каждымъ, истинно алкающимъ правды, какъ гоголевскій Иванъ Никифоровичъ надъ голодною нищей старухой. Эти науки говорятъ такъ: „На то, что̀ ты такое и зачѣмъ ты живешь, мы не имѣемъ отвѣтовъ,—мы этими пустяками не занимаемся. А вотъ если тебѣ нужно узнать законы свѣта, химическихъ соединеній, законы развитія организмовъ,—если тебѣ нужно знать законы тѣлъ, ихъ формъ и отношеній чиселъ и величинъ,—если тебѣ нужно знать законы своего ума, то это мы съ нашимъ удовольствіемъ, въ лучшемъ видѣ готовы тебѣ предоставить: на все это у насъ есть ясные, точные и несомнѣнные отвѣты“. Вотъ и Ка̀тавасовъ: онъ такъ прямо и говоритъ, и еще смѣется прямо въ глаза.

— Это вы очень хорошо сказали, Константинъ Дмитричъ! И это очень многое объясняетъ мнѣ также и въ моемъ недоумѣніи относительно г. Станкевича. Теперь его самоувѣренность, его непоколебимая вѣра въ разсудокъ сдѣлалась почти совершенно для меня понятною. Вопросы о вибраціяхъ свѣтового эѳира, о химическихъ соединеніяхъ и т. д. этимъ людямъ дороже вопросовъ о душѣ. Теперь я все почти въ нихъ понимаю.

— Однако, какъ вы раздражены противъ г. Станкевича: нѣтъ-нѣтъ и вспомните про него. Что такъ? За что вы такъ на него разсердились?

— Я?.. Я совсѣмъ не сержусь на него, и у меня нѣтъ рѣшительно никакого личнаго къ нему ни раздраженія ни неудовольствія. Я не виноватъ, что его устами говоритъ большинство пишущей, печатающей и читающей современной Россіи. Я, напротивъ, чрезвычайно даже благодаренъ ему, что онъ хотя и неосновательно, но съ несомнѣннымъ если не умомъ, то все-таки остроуміемъ и обдуманностью выразилъ общераспространенное мнѣніе, противъ котораго, не соглашаясь съ нимъ, я могу и долженъ спорить. Я только благодаренъ г. Станкевичу за то, что могу смотрѣть на него какъ на лицо собирательное, какъ на типическое выраженіе отношенія русской публики къ философіи Константина Дмитрича Левина. И еще долго такъ будетъ. Долго еще люди будутъ считать Катавасовыхъ и Кознышевыхъ идеалами человѣческой мудрости.

— Вы правы, — сказалъ Левинъ. — Кознышевъ только видоизмѣненіе Катавасова. Мудрость Кознышева сводится къ слѣдующему: „Все человѣчество живетъ и развивается на основаніи духовныхъ началъ, идеаловъ, руководящихъ имъ. Эти идеалы выражаются въ религіяхъ, въ наукахъ, искусствахъ, формахъ государственности. Идеалы эти все становятся выше и выше, и человѣчество идетъ къ высшему благу. Я — часть человѣчества, и потому призваніе мое состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать сознанію и осуществленію идеаловъ человѣчества". Долженъ сознаться, было время, когда я вѣрилъ и этому. Это было то время, когда у меня были свои излюбленные идеалы, оправдывавшіе мои прихоти, и я старался придумать такую теорію, по которой я могъ бы смотрѣть на свои прихоти какъ на законъ человѣчества. Но какъ скоро возстали въ моей душѣ вопросы жизни во всей ясности, отвѣтъ этотъ сейчасъ же разлетѣлся прахомъ. Не говоря о недобросовѣстной неточности, при которой знанія этого рода выдаютъ выводы, сдѣланные изъ изученія малой части человѣчества, за общіе выводы, не говоря о взаимной противорѣчивости разныхъ сторонниковъ этого воззрѣнія, о томъ, въ чемъ состоятъ идеалы человѣчества, — странность, чтобы не сказать глупость, этого воззрѣнія состоитъ въ томъ, что для того, чтобы отвѣтить на вопросъ, предстоящій каждому человѣку: „что я такое", или: „зачѣмъ я живу", или: „что мнѣ дѣлать", — человѣкъ долженъ прежде разрѣшить вопросъ: „что такое жизнь всего ему неизвѣстнаго человѣчества, изъ которой ему извѣстна одна крошечная часть въ одинъ крошечный періодъ времени?" Для того, чтобы понять, что̀ онъ такое, человѣкъ долженъ прежде понять, что̀ такое все это таинственное человѣчество, состоящее изъ такихъ же людей, какъ и онъ самъ, не понимающихъ самихъ себя...

Левинъ вдругъ поблѣднѣлъ и замолчалъ. Потомъ продолжалъ голосомъ тихимъ отъ сдержаннаго негодованія:

— Но какъ въ области опытныхъ знаній человѣкъ, искренно спрашивающій, какъ ему жить, не можетъ удовлетвориться отвѣтомъ: изучи въ безконечномъ пространствѣ безконечныя по времени и сложности измѣненія безконечныхъ частицъ и тогда ты поймешь свою жизнь, — точно также не можетъ искренній человѣкъ удовлетвориться отвѣтомъ: изучи жизнь всего человѣчества, котораго ни начала ни конца мы не можемъ знать и малой части котораго мы не знаемъ, и тогда ты поймешь свою жизнь...

Философія Левина начинала мнѣ нравиться все больше и больше.

Левинъ продолжалъ говорить, подбросивъ въ огонь огромный кусокъ угля.

— Философія ясно ставитъ вопросъ: что̀ такое я и весь міръ? И зачѣмъ я, зачѣмъ весь міръ? И съ тѣхъ поръ, какъ она есть, она отвѣчаетъ всегда одинаково. Идеи ли, субстанцію ли, духъ ли, волю ли называетъ философія сущностью жизни, находящеюся во мнѣ и во всемъ существующемъ, философъ говоритъ одно, что эта сущность есть и что я есть та же сущность; но зачѣмъ она, онъ не знаетъ и не отвѣчаетъ, если онъ точный мыслитель. Я спрашиваю: зачѣмъ быть этой сущности? Что выйдетъ изъ того, что она есть и будетъ? И философія не только не отвѣчаетъ, а сама только это и спрашиваетъ. И если она истинная философія (тутъ Левинъ возвысилъ свой голосъ), то *вся ея работа только въ томъ и состоитъ, чтобы ясно поставить этотъ вопросъ.* И если она твердо держится своей задачи, то она и не можетъ отвѣчать иначе на вопросъ: что такое я и весь міръ — какъ „все и ничто“, а на вопросъ: зачѣмъ существуетъ міръ и зачѣмъ существую я — „не знаю“. Такъ что, какъ ни верти умозрительными отвѣтами философіи, я никакъ не получу ничего похожаго на отвѣтъ, и не потому что — какъ въ области ясной, опытной — отвѣтъ относится не до моего вопроса, а потому что тутъ, хотя вся работа умственная направлена именно на мой вопросъ, отвѣта нѣтъ, а вмѣсто отвѣта получается тотъ же вопросъ, только въ усложненной формѣ. И если есть люди, которые удовлетворяются этимъ новымъ вопросомъ, принимая его за отвѣтъ, то только потому, что имъ не отвѣтъ дорогъ, а это дурацкое дифференцированіе мысли; имъ дорогъ самый процессъ безплоднаго умствованія, и они рады тянуть его до безконечности, въ довершеніе абсурда принимая за условную истину каждый фазисъ этого своего процесса. И удовлетворяются этою условною истиной, и еще гордятся тѣмъ, что ихъ истина условна, и смѣются надъ тѣми, кто хочетъ истины абсолютной. Вотъ и братецъ Сергѣй Ивановичъ такой въ его философіи.

— Да, да,—не выдержалъ я опять.—Это совсѣмъ какъ Кантъ, который говорилъ, что человѣку дорога не истина, а исканіе истины, и если бы человѣкъ какимъ-нибудь чудомъ нашелъ ее, то сталъ бы несчастнымъ. И Кознышевъ тоже. И г. Станкевичъ то же самое думаетъ, должно-быть. Теперь я совершенно все уже о немъ понимаю. Я не понимаю только, отчего вы, Константинъ Дмитричъ, сердитесь такъ напрасно на гр. Толстого. Вѣдь онъ очень вѣрно

передавалъ всѣ ваши мысли, только вкратцѣ. И въ этомъ онъ также не виноватъ: хорошо и то, что онъ далъ понять вашу точку зрѣнія въ ея настоящемъ свѣтѣ. Нельзя же ему было помѣстить въ романѣ философскій трактатъ. Помните, какъ его бранили прежде за его философію въ *Войнѣ и мирѣ?*

Левинъ промолчалъ, но видно было, что онъ начинаетъ немного сдаваться. Онъ старался скрыть, что немного сконфуженъ чѣмъ-то. Вѣроятно, онъ начиналъ догадываться, что былъ несовсѣмъ справедливъ къ гр. Толстому.

— Пожалуйте кушать! Дарья Александровна просятъ,—доложилъ незамѣтно вошедшій Петръ.

XXIII.

Въ столовой сидѣли Агаѳья Михайловна и Долли. Старушка разрѣзывала холодный ростбифъ, а Долли, слегка сгорбившись, сидѣла въ креслахъ, поставленныхъ бокомъ къ столу, и что-то читала.

— Ну, что, кончили все говорить о гр. Толстомъ? — спросила насъ Долли.

— Нѣтъ, мы еще только начинаемъ до него добираться, — сказалъ Левинъ, изрѣдка, незамѣтно для Долли, вглядываясь внимательно въ выраженіе ея лица.

Долли положила книгу на колѣни и, повернувъ къ намъ свое лицо, поразившее меня новою чертой совершеннаго спокойствія въ его тонкой, совсѣмъ духовной красотѣ, тихо сказала:

— Я всегда спорю съ Костей и стараюсь ему доказать, что именно насмѣшка газетъ и журналовъ—лучшая похвала гр. Толстому, той части его книги, которая написана о Костѣ.—И Долли посмотрѣла на Левина съ грустною и нѣжною улыбкой.—Я знаю это по себѣ,—продолжала она.—Я за то больше всего и люблю гр. Толстого, что онъ представилъ меня такою, что на меня никто не обратилъ никакого вниманія. Я совсѣмъ не гордая. Но я вижу, что огромное большинство людей... почти всѣ цѣнятъ: кто потоньше—талантъ, умъ, волю сильную, характеръ живой и веселый, красоту; кто пожестче—вліяніе, положеніе, власть; кто погрубѣе—деньги, происхожденіе, и очень немногіе, почти никто не цѣнитъ того, что одно только и имѣетъ достоинство... по крайней мѣрѣ въ моихъ глазахъ. И поэтому я всегда рада, когда... меня не замѣчаютъ, какъ прежде всегда была рада, когда бывала

несчастлива, — прибавила она совсѣмъ уже тихо и помолчала.— Я все,—продолжала она,— я все—и умъ, и поэтическій даръ, и знаніе, и власть, и славу безсмысленную и ничтожную,—все это не задумываясь отдала бы сейчасъ за маленькій кусочекъ человѣческаго сердца, за то, гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей...

Послѣднія слова она сказала какъ-то особенно, какъ будто бы въ комнатѣ никого не было, кромѣ ея души и ея воспоминаній.

— И я знаю, что и Костя также смотритъ. Онъ тоже дорожитъ только душой и сердцемъ. Но онъ мужчина и, какъ мужчина, не можетъ отдѣлаться отъ самолюбія, котораго... я горжусь, что не имѣю, т. е. гордилась бы, если бы могла чѣмъ-нибудь гордиться. Костя никакъ не хочетъ понять, что именно смѣхъ и пренебреженіе, именно презрѣніе и враждебность ничтожества къ его тонкому сердцу, къ его глубокому уму возносятъ его такъ необыкновенно высоко. Иногда мнѣ кажется, что онъ нарочно хочетъ этого не понимать.

Левинъ былъ тронутъ и сконфуженъ.

— Долленька дорогая, — сказалъ онъ вдругъ голосомъ, полнымъ необыкновенной задушевности. — Твои добрыя слова и голосъ твой дѣйствуютъ на меня неотразимо. Но ты женщина и забываешь одно. Намъ, мужчинамъ, ничего нѣтъ тяжелѣе, какъ видѣть дѣятельность свою безплодною, какъ видѣть всю жизнь, что мыслей твоихъ, которыя тебѣ такъ дороги, никто не только не раздѣляетъ, но даже понять-то на минуту какъ слѣдуетъ не хочетъ. И повѣрь, мужчинѣ это тяжелѣе всего, тяжелѣе даже несчастія въ женской любви. Когда Китти мнѣ отказала, то, знаешь, мнѣ было ужасно больно, невыносимо. Но эта ужасная боль была ничтожествомъ въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ я испытывалъ прежде, видя, что то самое, что̀ ты съ такимъ страданіемъ сомнѣній, съ такою ужасною жаждой истины, съ такою готовностью все для нея отдать, выносилъ въ своей душѣ, что̀ тебѣ несомнѣнно дороже всей жизни, становится вдругъ посмѣшищемъ для всѣхъ... И, вѣдь, я все это пережилъ уже. Я съ этимъ помирился давно. Я давно уже выучился презирать эти вещи и идти впередъ одиноко, живя для одной только души. Но когда при мнѣ говорятъ, я вспоминаю все, что пережилъ, и въ эти минуты не могу не раздражаться. И ты, Долли, должна понять это, наконецъ, и на меня больше за это не сердиться.

Левинъ всталъ и прошелся по комнатѣ. Долли слѣдила за нимъ своими грустными, глубокими глазами и качала головой.

— Ахъ, какой ты, какой ты смѣшной! Ты ничего, ничего не понимаешь,—сказала она съ нѣжною, грустною улыбкой.—Ты не понимаешь, что и этимъ ты долженъ гордиться. Это все потому, что ты думаешь сердцемъ, а эти скучные господа — однимъ пустымъ разсужденіемъ. И твое чуткое сердце видитъ такъ далеко, что они съ своимъ сухимъ разсужденіемъ никакъ за тобой не могутъ поспѣвать. И не понимаютъ. Ихъ мысли на одинъ день, а твои останутся навсегда. Это такъ просто, такъ просто, что я удивляюсь, какъ ты, такой умный и серьезный, этого не понимаешь. И какъ сердца они не цѣнятъ, такъ и истекающихъ изъ сердца мыслей они не поймутъ. Ты сердцемъ своимъ ясновидящимъ узнаешь сердца, мысли, дѣла, желанія и страсти людей, и цѣна твоего знанія, незамѣтная теперь, съ каждымъ годомъ будетъ возрастать.

Брови, ужасно нахмуренныя, вдругъ разгладились, и сѣрые глаза просвѣтлѣли.

— Если бы такъ... Совѣстно какъ-то этому вѣрить. А хотѣлось бы...

— Если бы ты говорилъ языкомъ ангеловъ, а не людей, но не имѣлъ бы любви, то слово твое было бы только колоколъ звенящій и мѣдь брящающая... — И голосъ Долли сталъ едва слышенъ отъ глубокаго чувства. — И люди въ суетѣ своей не замѣчаютъ, чѣмъ живутъ, и слышатъ только серебро и мѣдь, брящающія и звенящія. И ты, имѣя любовь и говоря людямъ о любви, радуйся, и не сердись, что они за то ненавидятъ тебя и презираютъ. И если гр Толстой представилъ тебя такъ, что тебя осмѣяли, то это только доказываетъ, что онъ тебя угадалъ и вѣрно представилъ. И, значитъ, не гр. Толстой передъ тобою, а ты передъ гр. Толстымъ виноватъ, если сердишься на него... Вы согласны?— обратилась Долли ко мнѣ.

— Да, я со всѣмъ, со всѣмъ этимъ согласенъ. Я это и говорилъ Константину Дмитричу съ самаго начала. Я нахожу въ отношеніяхъ гр. Толстого къ Константину Дмитричу только двѣ ошибки, — сказалъ я, обращаясь къ Долли. — Во-первыхъ, не было надобности скрывать, что Константинъ Дмитричъ — писатель и художникъ; не было надобности и даже смысла скрывать то, что извѣстно всей Россіи. И отъ этого вышла маленькая неполнота, несоотвѣтствіе между характеромъ дѣйствующаго лица и жизнью его. Во-вторыхъ, онъ ничего не сказалъ о прежней жизни Константина Дмитрича, т. е. объ его прежней духовной

жизни, и отсюда вышла опять маленькая неполнота, ослабляющая впечатлѣніе художественной необходимости образа: кажется, что онъ случайно, произвольно затесался въ романъ. Отъ этого явилась необходимость слишкомъ усиливать тонъ на тѣхъ моментахъ, которые онъ оставилъ, и вотъ послышалось многимъ что-то карикатурное тамъ, гдѣ въ сущности была одна только истина. И это было тѣмъ неудобнѣе, что оно косвенно ложилось маленькою тѣнью неумѣстной шутки на общую идею и результатъ всей жизни Константина Дмитрича. Потому что идея возвращенія отъ разсудочнаго къ религіозному міросозерцанію слишкомъ серьезна и глубока, чтобы было позволительно обставлять лицо, воплощающее эту идею, чѣмъ-либо смѣшнымъ, — хотя и мило смѣшнымъ, но все же смѣшнымъ,—обставлять это лицо чѣмъ-либо комическимъ, хотя бы въ незначительныхъ даже подробностяхъ...

— Вы правы,—замѣтилъ Левинъ, — но, становясь на такую точку зрѣнія, вы собственными руками разрушаете всю вашу прежнюю аргументацію защиты.

— Какъ?

— Очень просто. Гр. Толстой не могъ скрыть моихъ недостатковъ тамъ или слабостей. Если бъ онъ это сдѣлалъ, онъ бы нарушилъ законы жизненной и художественной правды. И выходитъ то самое, въ чемъ я такъ тщетно старался убѣдить гр. Толстого въ то время, когда его романъ печатался въ *Русскомъ Вѣстникѣ*. Выходитъ, что искусство, по крайней мѣрѣ его традиціонная форма, художественная поэзія, не можетъ по существу своему служить религіознымъ цѣлямъ успѣшно. Непремѣнно выйдетъ уступка или религіи, или художественности, и въ обоихъ случаяхъ — ложь, потому что выйдетъ несоотвѣтствіе или содержанія формѣ, или, наоборотъ, формы содержанію. И вотъ за это-то я и сержусь больше всего на гр. Толстого, а вовсе не за то, что онъ представилъ меня смѣшнымъ, какъ по-женски думаетъ Долли.

— Извините меня, Константинъ Дмитричъ, но я этого никакъ не могу понять,—сказалъ я, пораженный такимъ оборотомъ разговора.

Левинъ съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на меня.

— Это очень просто,—сказалъ онъ.—Искусство—это только пѣснь торжествующей любви, но не любви сыновъ человѣческихъ другъ къ другу, а любви льва къ своей львицѣ, воробья и оленя

къ ихъ самкамъ и т. д., и т. д., и т. д. И это искусство, эта поэтическая пѣснь торжествующей половой любви ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ не отличается отъ пѣсни какой-нибудь птички, отъ пѣсни соловья, напримѣръ. Она очень музыкальна, эта пѣсня соловья, но она поетъ только о его чувственной любви къ его самкѣ и еще развѣ о благоуханіи новой растительности, о красотѣ лунной ночи, объ ароматахъ весною и страстью весеннею напоеннаго воздуха. Эта пѣснь говоритъ только о восторгѣ его чувственной страсти, о радости, съ которою онъ исполняетъ законъ животной природы: живи, наслаждайся, плоди живое и размножай самого себя — и больше ничего. И поэзія человѣка тоже только это и говоритъ. И пѣснь какого-нибудь трубадура ночью, при южной лунѣ, въ лодкѣ какой-нибудь съ лебединой кормой, на озерѣ передъ фантастическимъ замкомъ, передъ террасою съ ступенями изъ мрамора, купающимися въ золотистой теплой водѣ, передъ какою-нибудь принцессою съ пепельными волосами и ангельскимъ лицомъ; пѣснь французскаго поэта monsieur Тургенева (котораго гр. Толстой такъ любитъ, а я такъ ненавижу) на скрипкѣ съ пляшущими вокругъ змѣями, ящерицами, лягушками, съ одуряющими напитками, своими дурманами, вливающими новую духовную какую-то жизнь въ сонное тѣло обманомъ и чарами изнасилованной женщины, — эти пѣсни, право, не только не лучше, но гораздо, гораздо хуже пѣсни простого курскаго или даже нашего кашинскаго соловья. Увѣряю васъ. У соловья нѣтъ одуряющихъ напитковъ, ни яда, чтобъ отравить соперника, ни змѣй и никакой другой чертовщины, ни шарманокъ, ни арфы золотой, ни меча, ни шлема, ни шпоръ, ни кринолиновъ, корсетовъ, турнюровъ безобразныхъ, сюртуковъ, штановъ, галстуковъ дурацкихъ... Ахъ, какъ посмотришь разъ въ эти засаленныя карты, противно становится брать ихъ въ руки!

— Ахъ, это такъ трудно рѣшить! То, что вы сказали, очень меня поразило, Константинъ Дмитричъ, тѣмъ болѣе, что вы какъ бы назвали словами то чувство, которое давно уже шевелится въ душѣ и у меня, но которому я боялся, и теперь еще все боюсь, вѣрить. Тутъ есть и правда, и большое преувеличеніе, и я еще не могу ихъ какъ слѣдуетъ различить. Напримѣръ, вѣдь половая любовь не всегда торжествуетъ...

— Ну, что жъ? Тогда пѣснь ея будетъ пѣснью тоскующей, но все же любви, половой любви... И отдаленная цѣль ея — все то же торжество любви, торжество полового подбора.

— Это такъ; но, вѣдь, у человѣка есть и другія цѣли, другія привязанности, другая любовь, кромѣ половой. Развѣ онѣ не входятъ въ искусство?

Левинъ нахмурился.

— Входятъ, конечно, т. е. могли бы войти, но объ этомъ почти никто пока еще и не думаетъ. А потомъ эти иныя, внѣличныя цѣли, всѣ цѣликомъ и въ наибольшей чистотѣ, выражаются не въ искусствѣ, а въ другой, высшей, области духа — въ религіозномъ чувствѣ, въ чистой проповѣди любви. Въ искусствѣ, въ поэзіи особенно, ихъ очень мало. И потому я не могу теперь безъ отвращенія вспомнить про мои одиннадцать томовъ, въ которыхъ такъ много половой любви и такъ мало христіанской...

— Тутъ очень глубокая мысль, Константинъ Дмитричъ, въ этихъ вашихъ словахъ. Но я все еще не могу ее какъ слѣдуетъ оцѣнить. Мнѣ это было бы легче, если бы вы согласились разсказать мнѣ отношеніе ваше къ христіанской любви въ вашей молодости. Вѣдь гр. Толстой объ этомъ ничего не говорилъ въ своемъ романѣ...

— Это очень грустная исторія, и мнѣ больно о ней вспоминать. Но вы — терпѣливый слушатель, и я разскажу. Кстати, и Долли еще ея не знаетъ... Хотя я былъ крещенъ и воспитанъ въ христіанской вѣрѣ,—продолжалъ Левинъ,—я никогда, однако, не вѣрилъ серьезно, а имѣлъ только довѣріе къ тому, чему меня учили, и тому, что̀ исповѣдывали передо мной большіе; но довѣріе это было очень шатко. И потому отпаденіе мое отъ вѣры произошло во мнѣ очень скоро, такъ же, какъ оно происходило и теперь происходитъ въ большинствѣ людей нашего склада образованія. *Люди* живутъ такъ, какъ всѣ живутъ, а всѣ *живутъ на основаніи началъ не только не имѣющихъ ничего общаго съ вѣроученіемъ, но большею частію противоположныхъ имъ. Вѣроученіе не участвуетъ въ жизни*, и въ сношеніяхъ съ другими людьми никогда не приходится сталкиваться и въ собственной жизни никогда самому не приходится справляться съ нимъ. *Вѣроученіе это исповѣдуется гдѣ-то тамъ, вдали отъ жизни и независимо отъ нея.* Какъ прежде, такъ и теперь, вѣроученіе, принятое по довѣрію и поддерживаемое внѣшнимъ давленіемъ, понемногу таетъ подъ вліяніемъ знаній и опытовъ жизни, противоположныхъ вѣроученію, и человѣкъ часто очень долго живетъ, наивно воображая, что въ немъ цѣло то вѣроученіе, которое сообщено было ему съ дѣтства, тогда какъ его давно уже нѣтъ и слѣда. Иногда одно случайно услышанное слово насмѣшки, какъ

толчокъ пальцемъ въ стѣну, готовую упасть отъ собственной тяжести, указываетъ человѣку, что тамъ, гдѣ онъ думаетъ есть вѣра, тамъ давно уже пустое мѣсто. То же самое было и со мной. Я съ шестнадцати лѣтъ пересталъ становиться на молитву и ходить въ церковь.

— Неужели ты совсѣмъ ни во что не вѣрилъ тогда, даже въ глубинѣ души?—спросила Долли съ безпокойствомъ.

— Не знаю, какъ тебѣ сказать... Я пересталъ вѣрить въ то, что̀ мнѣ было сообщено съ дѣтства, но я вѣрилъ во что-то. Во что я вѣрилъ, я никакъ не могъ бы сказать. Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно что вѣра моя, — то, что, кромѣ животныхъ инстинктовъ, двигало моею жизнью,—единственная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе, въ прогрессъ. Но въ чемъ они были, какая была цѣль ихъ, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно и учился всему, чему могъ и на что наталкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически, всякими упражненіями изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего было, разумѣется, нравственное совершенствованіе; но скоро оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И очень скоро это стремленіе быть лучше передъ людьми подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ... Гадко вспомнить даже объ этомъ. Но, говоря совсѣмъ безпристрастно, я не могу обвинять въ этомъ только себя. Напротивъ, у меня и тогда было горячее желаніе добра. Но я былъ молодъ, у меня были страсти, и я оказывался совершенно одинокъ каждый разъ, когда хотѣлъ уйти отъ страстей и идти къ добру. Люди, которые почти всѣ безъ исключенія живутъ совсѣмъ не вѣрой, не идеей добра, а страстями и силой, встрѣчали меня презрѣніемъ и насмѣшкой каждый разъ, когда я, высказывая свои задушевныя желанія, хотѣлъ стать нравственно чистымъ, и хвалили и поощряли меня всегда, какъ только я предавался страстямъ. Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе...

— Я совершенно это понимаю, — вдругъ сказалъ чей-то незнакомый, робкій голосъ.—Я болѣе нежели согласенъ съ вами.

Левинъ и Долли спокойно обернулись по направленію голоса.

— Иванъ Ивановичъ, это съ почтовымъ вы, вѣрно, пріѣхали? Какъ это такъ тихо вы подкрались, — сказалъ Левинъ, ласково улыбаясь новому собесѣднику, и познакомилъ насъ. Я взглянулъ— и ужасно непріятное чувство сначала меня охватило. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, сѣдой ужъ совсѣмъ, очень худой — кожа и кости—и ужасно безобразный. Казалось, это было воплощеніе всѣхъ недуговъ и уродствъ человѣческаго тѣла. Хромая онъ сѣлъ рядомъ со мной, и я съ трудомъ удержался, чтобы не отодвинуться. Онъ, какъ будто угадавъ это, взглянулъ на меня грустными, глубокими глазами такой красоты выраженія, которая одна искупала все безобразіе остальнаго. Я не могъ оторваться отъ его глазъ, и ужасно вдругъ стыдно стало мнѣ своей низости.

— Я болѣе чѣмъ согласенъ съ вами, Константинъ Дмитричъ,— сказалъ Ивановъ, усаживаясь и морщась.—Меня поражало, какъ люди, думая, что живутъ идеалами христіанской нравственности и любви, въ дѣйствительности строятъ всю свою жизнь на началахъ силы, личныхъ, животныхъ, жестокихъ страстей. Я ужасался, видя, что даже лучшіе изъ нихъ, искренно вѣруя въ ученіе Христа, оставляя его гдѣ-то въ далекомъ идеалѣ, прилагаютъ къ практической жизни нравственность звѣря, наивно считая свой образъ дѣйствій воплощеніемъ религіозной чистоты и земной законности. Не ученіе Христа торжествуетъ въ жизни, а ученіе звѣря, Дарвиновская борьба за существованіе и половой подборъ, съ ихъ богомъ—богомъ силы, насилія, козней, убійства, мести, съ ихъ ангелами—властью, оружіемъ, умомъ, красотою, талантомъ, обманомъ. Имъ поклоняются люди, имъ—богамъ эгоизма и злобы— служатъ они въ своей жизни. Ихъ слова объ ихъ культѣ Христа—Бога люби—только пустые, безъ смысла повторяемые, красивые звуки. Не любовь, а злоба торжествуетъ въ жизни, — не человѣкъ, а звѣрь... Когда разъ это увидишь, гадко становится тогда жить на этомъ свѣтѣ. Когда передъ тобою, отъ свѣта этой правды, поблѣднѣетъ вся красота того, что̀ прежде тебѣ было такъ дорого; когда увидишь отвратительныя черты этого безчеловѣчнаго звѣря во всемъ, что̀ было для тебя всегда драгоцѣнною святыней: въ душѣ женщины, которую любишь, въ материнской любви, которая прежде такъ высоко восторгала тебя, въ идеѣ народности, съ которою составляешь одно, которая подвигала людей на дѣла,

казавшіяся тебѣ прежде славными и великими, въ государствѣ, которому ты служишь, въ тѣхъ даже, кого ты привыкъ считать олицетвореніемъ и охранителями человѣческой справедливости и истины, — не хочешь, не можешь тогда жить дольше на свѣтѣ. Все существо, вся душа тогда бываетъ отравлена. Все — зло въ тебѣ и кругомъ. Если бы не стыдно, не противно такъ было наложить на себя руки,—право съ наслажденіемъ бы повѣсился.

Я въ волненіи, ничего не понимая, посмотрѣлъ на своихъ собесѣдниковъ. Долли качала головой съ выраженіемъ доброй и грустной укоризны. Лицо Левина я не сразу узналъ: такъ оно вдругъ поразило меня какимъ-то особеннымъ, незнакомымъ мнѣ, сіяніемъ мира и кротости на странно просвѣтлѣвшихъ, преображенныхъ чертахъ. Его глаза смотрѣли на Иванова съ теплотою спокойной любви, и все его просіявшее лицо дышало желаніемъ мира.

— Костя, какъ долго ты велъ эту жизнь, полную однихъ страстныхъ влеченій?—сказала Долли, не отвѣчая новому гостю.

— Лѣтъ десять... Въ то же время я сталъ и писать изъ тщеславія, корыстолюбія и гордости.

— Костя, какъ это ты можешь говорить! Зачѣмъ ты самъ всегда наклевещешь на себя? Вѣдь всѣ, кто тебя знаетъ, знаютъ и то, что писалъ ты всегда изъ потребности высказать свои мысли и чувства, потребности совершенно искренней...

— Ты не совсѣмъ это понимаешь, милая Долли. Побужденіе къ творчеству было у меня дѣйствительно искреннее: это ты вѣрно сказала. Но я желалъ также и славы. И нѣтъ сомнѣнія, что желаніе авторской славы есть желаніе суетное. Значитъ, я тоже писалъ изъ тщеславія, или, по крайней мѣрѣ, примѣшивалъ къ своему писанію это мелкое побужденіе. Потомъ, развѣ я былъ равнодушенъ къ тѣмъ огромнымъ деньгамъ, которыя мнѣ платили за то только, что я, слѣдуя своему же побужденію, писалъ безъ всякаго почти напряженія повѣстушки разныя и романцы? Я даже торговался; я не только поправилъ, но я увеличилъ свое состояніе на эти деньги. Значитъ, я былъ не чуждъ въ этомъ дѣлѣ и корыстолюбія. Гордость, — ея тутъ было всего болѣе, — гордость силы, которой я долго не зналъ къ чему примѣнить, которой ничтожество и глупость долго не признавали и тѣмъ раздражали меня,—гордость—мой первый грѣхъ, съ которымъ я долго, очень долго и упорно боролся... Я часто боюсь: не было ли гордости въ томъ, что я открыто предъ всѣми приносилъ въ ней покая-

ніе... Это одно, Долли! А еще ты не знаешь, ты забываешь, что въ писаніяхъ своихъ я дѣлалъ, въ сущности, то же самое, что̀ и въ жизни своей. Какъ въ жизни, слѣдуя по теченію, я, какъ и большинство, поклонялся силѣ и красотѣ силы, такъ и въ произведеніяхъ своихъ я больше всего воспѣвалъ всѣ красивыя проявленія индивидуальной силы. И еще говорилъ, и еще хвастался, что люблю правду. А на дѣлѣ я любилъ только силу, и когда находилъ ее безъ примѣси притворства и ничтожества, то принималъ за правду, когда въ дѣйствительности это было только силой—силой въ чистомъ, безпримѣсномъ ея состояніи. И въ глубинѣ души я зналъ, что это нравится большинству людей и что это принесетъ мнѣ славу и деньги. И еще глубже лежало предчувствіе, что истина и добро — не въ силѣ, а противъ нея. И зная это все, я писалъ, стараясь скрыть добро и воспѣвая красоту человѣческой силы. Сколько разъ я ухитрялся скрывать въ писаніяхъ своихъ, подъ видомъ равнодушія и даже легкой насмѣшливости, тѣ затаенныя стремленія мои къ истинной красотѣ добра, такое странное развитіе которыхъ одно составило позже оправданіе и смыслъ моей жизни.

— Это что-то превыше моего женскаго ума... Но неужели и другіе писатели всѣ такъ же, какъ ты говоришь о себѣ, относились къ своему дѣлу?—спросила Долли съ недоумѣніемъ.

— Конечно. Мнѣ было 26 лѣтъ, когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли какъ своего, даже льстили мнѣ. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы—художники, поэты. Наше призваніе—учить людей, не зная чему: художникъ-де и поэтъ учатъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество; у меня была слава: значитъ то, чему я училъ, было очень хорошо. Теорія эта о развитіи жизни и значеніи поэзіи была вѣра, и я былъ одинъ изъ жрецовъ ея. Быть жрецомъ ея было очень вы-

годно и пріятно. И я довольно долго жилъ въ этой вѣрѣ, не сомнѣваясь въ ея истинности. Но на второй и особенно на третій годъ такой жизни я сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою. Одни изъ нихъ говорили: „Мы — самые хорошіе и полезные учители, — мы учимъ тому, что̀ нужно, а другіе учатъ неправильно". А другіе говорили: „Нѣтъ, мы — настоящіе, а вы учите неправильно". И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга... Много было между нами и не заботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ, а просто достигающихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ помощью нашей дѣятельности. Все это заставило меня усомниться въ истинности самой нашей писательской вѣры. Усомнившись въ ней, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея, и убѣдился, что почти всѣ жрецы эти, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ люди плохіе, ничтожные по характерамъ, — много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и военной жизни, — но самоувѣренные и совершенно довольные собою. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ. Я понялъ, что, въ своемъ самообольщеніи, мы не замѣчали, что ничего не знаемъ, что мы не знаемъ самаго главнаго, что на самый простой и, вмѣстѣ, единственно-важный вопросъ жизни: что̀ хорошо, что̀ дурно — мы не умѣемъ найти никакого точнаго отвѣта. И вотъ мы, не зная этого единственно-важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга, съ тѣмъ, чтобъ и меня похвалили, иногда же раздражаясь другъ противъ друга — совершенно какъ въ сумасшедшемъ домѣ. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, гдѣ истина, страдалъ, но не имѣлъ духа отречься отъ тщеславнаго чина художника, поэта, учителя, — и гордость моя и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему, все болѣе и болѣе болѣзненно развивались. Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію, еще шесть лѣтъ. Въ это время я поѣхалъ за границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ моей вѣрѣ совершенствованія вообще, потому что ту же самую вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ „прогрессъ". Только изрѣдка — не разумъ, а чувство воз-

мущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя свое непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній, въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать только вѣру въ прогрессъ... „Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми — это видно будетъ". Такъ бы я долженъ былъ тогда формулировать свою вѣру...

Левинъ всталъ и прошелся по комнатѣ. Долли сидѣла сгорбившись, машинально раскладывая пасьянсъ. Лицо ея вдругъ какъ-то состарѣлось, и тонкія морщины показались на лбу и у глазъ.

— Костя, а жизнь въ деревнѣ тебя не смягчала?—спросила она.

— Да, если бы не Покровское и потомъ семья, я бы пропалъ... Вернувшись изъ-за границы, я поселился въ деревнѣ и попалъ на занятія крестьянскими школами. Здѣсь я тоже дѣйствовалъ во имя прогресса. Но я уже относился критически къ самому прогрессу. Я говорилъ себѣ, что прогрессъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ совершался неправильно, и что вотъ надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дѣтямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тотъ путь прогресса, который они захотятъ... Въ сущности же я вертѣлся все около одной и той же неразрѣшимой задачи, состоявшей въ томъ, чтобы учить всѣхъ тому именно чего я не зналъ: учить смыслу жизни, который былъ непостижимъ мнѣ, учить добру, котораго самъ я не умѣлъ отличить отъ зла. Въ высшихъ сферахъ литературной дѣятельности мнѣ ясна была ложь моего положенія, неразрѣшимость моей задачи; здѣсь же, съ крестьянскими дѣтьми, я думалъ, что можно обойти эту трудность тѣмъ, чтобы предоставить дѣтямъ учиться тому, чему они сами хотятъ. Инстинктъ говорилъ мнѣ вѣрно: дѣти-мужики лучше насъ, ученыхъ людей, знали смыслъ жизни, лучше насъ различали добро отъ зла; не мы, а они знали, чему нужно учить людей. Но глупость моя и виляніе мое въ томъ и заключались, что я, все это чувствуя въ глубинѣ души своей, вмѣсто того, чтобъ идти у нихъ учиться,—я самъ, ничего не зная и зная, что ничего не знаю, на ходули становился, чтобъ исполнить свою похоть учительства, за границу ѣздилъ школы тамъ изучать, посредникомъ сдѣлался мировымъ, школу завелъ и журналъ,—и важничалъ, и оскорблялся, и всѣхъ училъ, не зная, чему я учу, не зная того, чему нужно учить...

„Не зная, что̀ есть въ людяхъ, не зная, чего не дано имъ, не зная главнаго—чѣмъ люди живы",—подумалъ я, глядя на Левина.

— Снаружи какъ будто все гладко выходило, но въ душѣ я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно здоровъ. Я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ — дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью... Но все-таки я и тогда еще, можетъ-быть, пришелъ бы къ совершенному отчаянію, если бъ у меня не было одной стороны жизни, еще не извѣданной мною и обѣщавшей мнѣ спасеніе: это была семейная жизнь. Вернувшись отъ башкиръ, я женился. Новыя, счастливыя условія семейной жизни уже совершенно отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ тогда писательство пустяками, я все-таки продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей... И я писалъ, научая тому,—что для меня было единою истиной,— что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше...

— Да, да, именно такъ это у васъ было. Именно такъ я думалъ о васъ, когда читалъ о васъ у гр. Толстого. Это — идеализація индивидуализма, теоріи борьбы за существованіе, у которой одно оружіе – сила личная и родовая. Но все-таки вы слишкомъ умаляете значеніе другой струи, замѣтной уже въ первыхъ вашихъ произведеніяхъ и потомъ всегда возраставшей. Все это случилось постепенно. Иначе, вѣдь, и невозможно,—горячо принялся я возражать Левину, боясь, что берусь за очень рискованное дѣло и все-таки чувствуя неспособность молчать и скрывать свое убѣжденіе. Брови Левина опять ужасно сдвинулись крѣпко, и я опять не зналъ—сердится онъ или доволенъ.

Левинъ, не отвѣчая мнѣ, продолжалъ свой разсказъ съ такимъ видомъ, какъ будто это возраженіе онъ давно слышалъ, обдумалъ и отвергъ.

— Такъ я жилъ, но пять лѣтъ назадъ со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты

сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что̀ мнѣ дѣлать, и я терялся и впадалъ въ уныніе. Но это проходило, и опять я продолжалъ жить попрежнему. Потомъ эти минуты недоумѣнія стали повторяться чаще и чаще, и все въ той же формѣ. Эти остановки жизни выражались всегда одинакими вопросами: зачѣмъ?.. ну, а потомъ?.. Сначала мнѣ казалось, что это — такъ себѣ, безцѣльные, неумѣстные вопросы. Мнѣ казалось, что все это извѣстно, и что если я захочу заняться ихъ разрѣшеніемъ, то это не будетъ стоить мнѣ никакого труда, — что теперь мнѣ некогда только этимъ заняться, а когда вздумаю, тогда и отвѣты найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились эти вопросы безъ отвѣтовъ въ одно черное пятно. Я нашелъ, что это — не случайное недомоганіе, а что-то очень важное, и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо отвѣтить на нихъ. Но только что я тронулъ ихъ и попытался разрѣшить эти, казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми, вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы — самые глубокіе и важные въ жизни вопросы, и что сколько бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ книги, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю — зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать. Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тысячъ десятинъ, 300 головъ лошадей, *а потомъ?..* И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что̀ думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ я воспитаю дѣтей, я говорилъ себѣ: *зачѣмъ?* Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мнѣ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: „Ну, хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ, — *ну, и что жъ?..* И я ничего, ничего не могъ отвѣтить...

Часы пробили три.

— Ну, завтра разскажу конецъ. Какъ засидѣлись!.. Прощай, Долли! Пойдемте, я покажу вамъ ваше ложе.

Мы пошли внизъ.

XXIV.

— Вотъ вамъ постель, — сказалъ Левинъ, обращаясь ко мнѣ, — а вамъ, по вашему росту, будетъ лучше на этомъ диванѣ, Иванъ

Ивановичъ. Я всегда спалъ на немъ, когда былъ холостымъ. Не стѣсняйтесь, раздѣньтесь: я посижу еще съ вами минутку. Вы всегда подкупаете меня, Иванъ Ивановичъ, вашею способностью слушать. И мнѣ часто кажется, что что-то есть у насъ общее въ мысляхъ,—сказалъ Левинъ и ласково улыбнулся.

— Это ужасно неделикатно просить,—сказалъ Ивановъ, раздѣваясь,—но если можно, если это не долго, докончите разсказъ объ остановкѣ вашей жизни... Это мнѣ очень интересно теперь.

— Да, именно остановка! Именно остановилась тогда моя жизнь. Я могъ дышать, ѣсть, пить, спать, и не могъ не дышать, не ѣсть, не пить, не спать, но жизни не было, потому что не было такихъ желаній, удовлетвореніе которыхъ я находилъ бы разумнымъ. Если я желалъ чего, я впередъ зналъ, что удовлетворю или не удовлетворю мое желаніе, изъ этого ничего не выйдетъ. Если есть у меня не желанія, но привычки желаній прежнихъ въ пьяныя минуты, то въ трезвыя минуты я знаю, что это—обманъ, что *желать нечего*. Какая-то непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ-нибудь избавиться отъ жизни. Мысль о самоубійствѣ была такъ соблазнительна, что я долженъ былъ употреблять противъ себя хитрости, чтобы не привести ее слишкомъ скоро въ исполненіе. Я не хотѣлъ торопиться только потому, что хотѣлось употребить всѣ усилія, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успѣю, говорилъ я себѣ... И это сдѣлалось со мною тогда, когда я былъ совершенно счастливъ, когда все у меня было: семья прекрасная, средства большія и все возраставшія, слава, уваженіе ближнихъ, здоровье, сила тѣлесная и душевная,—кажется, все... Что вы улыбаетесь?..—спросилъ Левинъ у Ивана Ивановича, вдругъ сконфузившись и прерывая разсказъ.

— Извините, меня поразило совпаденіе моего предчувствія съ вашимъ признаніемъ сейчасъ. Я такъ, вѣдь, и думалъ. Мнѣ всегда казалось, что именно полнота индивидуальнаго счастія (что̀ такъ рѣдко случается) вызвала пресыщеніе имъ, ускорила въ вашей, вѣчно стремящейся къ развитію, вѣчно алкающей истины, душѣ обращеніе къ той области, гдѣ живетъ истина—къ внѣшнему счастію. И еще потому я улыбнулся, что это почему-то подтвердило мнѣ другую мою старую мысль, что къ тому же результату можно придти абсолютно-противоположнымъ путемъ, при условіи, впрочемъ, той же потребности развитія, той же потребности достиженія конечной цѣли—познанія истины... Это—палка о двухъ концахъ... Это—старое наблюденіе, но его забываютъ. Надо пройти

черезъ индивидуальное счастіе или несчастіе, чтобы постигнуть истину и счастіе внѣличное, счастіе христіанской любви. Мы не виноваты, что мы люди, что, прежде чѣмъ постигнуть общее, мы должны пережить все индивидуальное, отжить все личное, эгоистическое. Это—какъ корь, которой нельзя миновать. И вотъ одинъ бываетъ счастливъ въ личной своей жизни и, насытившись личнымъ своимъ счастіемъ, отвращается отъ него, для того, чтобы всецѣло предаться общему — общей истинѣ, общему счастію. Другой же, не найдя личнаго счастія, страдаетъ долго и иногда гибнетъ, а иногда, переживъ несчастіе личное, обращается прямо къ общему и вѣчному. Жизнь—это какъ комната, въ которой двѣ двери. Есть люди, способные вѣчно сидѣть въ этой комнатѣ взаперти, но есть натуры, въ которыхъ отъ рожденія вложена потребность изслѣдованія. И вотъ они, узнавъ все, что̀ есть въ отведенной имъ комнатѣ, стремятся узнать все, что̀ бываетъ за нею — и выходятъ изъ нея: одни—въ правую дверь, другіе—въ лѣвую. Черезъ правую идти пріятнѣе, но и лѣвая выводитъ туда же, куда и правая. И никакъ нельзя сказать, что въ правую выходятъ европейцы, а въ лѣвую—русскіе. Выборъ двери зависитъ отъ чего-то, что̀ не во власти человѣка. Вѣрно одно: выходятъ изъ комнаты живыми лишь тѣ, которые ищутъ увидать глубину высокаго свободнаго неба, тѣ же довольствуются комнатой и неба не ищутъ, — тѣ такъ въ комнатѣ до конца жизни и остаются. Сократъ былъ бѣденъ, Платонъ былъ богатъ и знатенъ, но оба искали истины и оба нашли ее. Также и всѣ остальные, которые дѣйствительно любили истину, наприм., Спиноза. Если вы пришли къ отреченію отъ индивидуальнаго счастія, то не потому, что вы русскій, а по той простой причинѣ, что вы—человѣкъ, возлюбившій истину, потому что истина не въ личномъ счастіи, а въ общемъ. Это не только вѣрно, но и безспорно вѣрно. Очень немногіе отождествляютъ свою жизнь съ служеніемъ общему счастію, немногіе даже поставляютъ себѣ такое отождествленіе сознательною цѣлью; но нѣтъ такого человѣка, который бы сталъ открыто оспаривать исключительную истинность жизни для общаго счастія—отреченія отъ счастія индивидуальнаго.

Левинъ задумался и долго молчалъ.

— Да, я зналъ это,—сказалъ Левинъ, и глаза его наполнились чѣмъ-то глубокимъ и свѣтлымъ. — Я зналъ это, но оно не представлялось мнѣ еще такъ конкретно, какъ въ вашихъ словахъ, какъ абсолютная и живая, притомъ, антитеза мнѣ самому...

— Вотъ это и есть наше общее, дорогой Константинъ Дмит-

ричъ. Вы мнѣ дороги вдвойнѣ—непосредственно и теоретически. Извините за проклятую потребность опредѣленій и формулъ... Мнѣ дорога ваша сосредоточенность исканія правды, мнѣ дорого то, что вы шли къ ней путемъ противоположнымъ моему...

Левинъ смотрѣлъ на него и не выходилъ изъ глубокой задумчивости. Глаза его все больше и глубже свѣтлѣли.

— Вы тоже, Иванъ Ивановичъ, мнѣ дороги,—сказалъ онъ съ какою-то особенно серьезною нѣжностью, тихо.

— Разскажите о вашемъ желаніи смерти,—сказалъ Ивановъ, съ трудомъ подавляя волненіе и глядя на Левина съ странною восторженностью.

— Это было такъ просто. Я уже ничему въ жизни не могъ придать никакого разумнаго смысла. Все это такъ давно всѣмъ извѣстно. Не нынче-завтра придутъ болѣзни и смерть на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кромѣ смрада и червей. Дѣла мои, какія бы ни были, забудутся всѣ,—раньше или позже, это все равно. И главное—*меня* не будетъ. Такъ изъ чего же хлопотать?.. Прежній обманъ радостей житейскихъ, заглушавшій ужасъ смерти, уже не обманывалъ меня. Сколько ни говорили мнѣ: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,—я не могъ уже этого дѣлать, потому что слишкомъ долго дѣлалъ это прежде. Теперь я не могъ не видѣть дня и ночи, бѣгущихъ и ведущихъ меня къ смерти... Тѣ двѣ капли меда, которыя дольше другихъ отводили мнѣ глаза отъ жестокой истины,—любовь къ семьѣ и къ писательству, которое я называлъ искусствомъ,—уже стали не сладки мнѣ. *Семья?*—говорилъ я себѣ,—но семья—жена, дѣти, они—тоже люди, они тоже должны или жить во лжи, или видѣть ужасную истину. Зачѣмъ же имъ жить? Зачѣмъ мнѣ любить ихъ, беречь, растить... и блюсти ихъ?—говорилъ Левинъ рыдая.—Для того же отчаянія, которое во мнѣ, или для тупоумія?.. Любя ихъ, я не могу скрывать отъ нихъ истины,—всякій шагъ въ познаніи приведетъ ихъ къ истинѣ. А истина—смерть... *Искусство, поэзія?..* Долго, подъ вліяніемъ успѣха, похвалы людской, я увѣрялъ себя, что это—дѣло, которое можно дѣлать, несмотря на то, что придетъ смерть, которая все уничтожитъ—и дѣла мои и память о нихъ. Но скоро я увидѣлъ, что и это—обманъ. Мнѣ ясно было, что искусство есть украшеніе жизни, заманка къ ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость,—какъ же я могу заманивать другихъ? Пока я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ, хоть я и не умѣю выразить его,—отраженіе жизни въ искусствѣ

доставляло мнѣ радость, мнѣ весело было смотрѣть на жизнь въ это зеркальце искусства. Но когда я сталъ отыскивать смыслъ жизни, зеркальце это стало мнѣ или мучительно, или ничтожно. Зеркальце теперь говорило, что положеніе мое отчаянно и глупо; этимъ я не могъ утѣшаться. Хорошо мнѣ было утѣшаться его отраженіями, когда я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ. Тогда эта игра свѣтовъ—комическаго, трагическаго, трогательнаго, прекраснаго, ужаснаго въ жизни—потѣшала меня. Но когда я узналъ, что жизнь безсмысленна и ужасна,—игра въ зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если бъ эта истина всегда была мнѣ извѣстна, я бы могъ быть спокойнымъ, зная, что это—мой удѣлъ. Если бъ я былъ какъ человѣкъ, отъ рожденія безвыходно живущій въ лѣсу, изъ котораго онъ знаетъ, что нѣтъ выхода, я бы могъ жить. Но я былъ какъ человѣкъ заблудившійся въ лѣсу, на котораго нашелъ ужасъ оттого, что онъ заблудился, и онъ мечется, желая выбраться на дорогу, знаетъ, что всякій шагъ еще больше путаетъ его—и не можетъ не метаться. Это было ужаснѣе всего... И, чтобъ избавиться отъ этого ужаса, я хотѣлъ убить себя. Я испытывалъ ужасъ предъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зналъ, что этотъ ужасъ ужаснѣе самого положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ, или лопнетъ что-нибудь, и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣе, поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей. И вотъ это-то чувство сильнѣе всего вело меня къ самоубійству...

Левинъ былъ блѣденъ какъ полотно. Видно было, что онъ недавно переживалъ это, и вспоминая онъ чувствовалъ снова весь ужасъ тогдашняго положенія. Ивановъ, слушая Левина, весь былъ вниманіе. Казалось, онъ забывалъ собственное отчаяніе и всѣ слова Левина переносилъ на себя.

— Скажите, какъ же вы вышли изъ этого ужаса смерти и уцѣлѣли?

— Я подумалъ, неужели это состояніе отчаянія нормально, неужели оно свойственно всѣмъ людямъ? И я сталъ смотрѣть, какъ другіе люди отвѣчаютъ на вопросъ, неразрѣшимость котораго привела меня въ такое безвыходное отчаяніе. Сначала я обращался къ людямъ, разсуждающимъ и мнящимъ себя быть мудрыми и учеными. Я искалъ сначала во всѣхъ тѣхъ знаніяхъ, которыми они гордятся... Я говорилъ уже объ этомъ молодому

человѣку... Спрашивая у одной стороны человѣческихъ знаній, я получалъ безконечное количество точныхъ отвѣтовъ о томъ, чего я не спрашивалъ: о химическомъ составѣ звѣздъ, о происхожденіи видовъ и человѣка, о формахъ безконечно-малыхъ, невѣсомыхъ частицъ эѳира; но отвѣтъ въ этой области знаній на мой вопросъ: въ чемъ смыслъ моей жизни,—былъ одинъ: ты—то, что ты называешь твоею жизнью, ты—временное, случайное сцѣпленіе частицъ. Взаимное воздѣйствіе, измѣненіе этихъ частицъ производитъ въ тебѣ то, что̀ ты называешь твоею жизнью. Сцѣпленіе это продержится нѣкоторое время, потомъ взаимодѣйствіе этихъ частицъ прекратится—и прекратится то, что̀ ты называешь жизнью, прекратятся и всѣ твои вопросы. Такъ отвѣчаетъ ясная сторона знаній, и ничего другого и не можетъ сказать, если только она строго слѣдуетъ своимъ основамъ. И отвѣта на вопросъ нѣтъ въ ней. Другая сторона знанія, умозрительная, когда она строго держится своихъ основъ, вездѣ и во всѣ вѣка отвѣчаетъ и отвѣчала одно и то же: міръ есть что-то безконечное и непонятное, жизнь человѣка есть непостижимая часть этого непостижимаго *всего*. Это тоже не отвѣтъ, конечно, потому что это отвѣтъ неопредѣленный. Правда, изъ него можно сдѣлать практически-опредѣленный выводъ, и выводъ этотъ будетъ уже не неопредѣленный, но отрицательный, безусловно отрицательный. Это тотъ выводъ, который сдѣлали точнѣйшіе и глубочайшіе умы человѣчества—Сократъ, Соломонъ, Будда, Шопенгауеръ. „Къ чему мы, любящіе истину, стремимся къ жизни?—*Къ тому, чтобъ освободиться отъ тѣла и отъ всего зла, вытекающаго изъ жизни тѣла.* Если такъ, то какъ же намъ не радоваться, когда смерть приходитъ къ намъ? *Мы приблизимся къ истинѣ только на столько, на сколько мы удалимся отъ жизни*—говорилъ Сократъ, готовясь къ смерти. Мудрецъ всю жизнь ищетъ смерти, и потому смерть не страшна ему“.

— Какъ это прекрасно говорилъ Сократъ!.. Такъ вотъ за что я всегда любилъ такъ Сократа,—чуть слышно прошепталъ Ивановъ.

— „Все въ мірѣ—и глупость и мудрость, и богатство и нищета, и веселье и горе—все суета и пустяки. Человѣкъ умретъ, и ничего не останется отъ него. И это глупо“. Такъ думалъ Соломонъ,—продолжалъ голосъ Левина.—А Будда говоритъ, что жить съ сознаніемъ неизбѣжности страданій, ослабленія, старости и смерти нельзя,—надо освободить себя отъ жизни. А Шопенгауеръ

говоритъ, что жизнь есть зло,—то, чего не должно бы быть,—и переходъ въ ничто есть единственное благо жизни... И это подтверждало мое отчаяніе и указывало, что то, къ чему я пришелъ, не есть плодъ заблужденія или болѣзненнаго состоянія ума; это подтверждало мнѣ, что я думалъ вѣрно и сошелся съ выводомъ сильнѣйшихъ умовъ человѣчества... Обманывать себя нечего: все—суета. Счастливъ, кто не родился; смерть лучше жизни,—надо избавиться отъ нея... Таковъ былъ выводъ, къ которому привело меня познаніе мудрости человѣческаго разума.

Лицо Иванова стало неспокойно, и онъ раскрылъ свои большіе грустные глаза.

— Но вы, конечно, не успокоились на выводахъ разсудка? Вѣдь Сократъ говорилъ лучше, чѣмъ Соломонъ, Будда и вашъ Шопенгауеръ? Вѣдь Сократъ сердцемъ вынесъ изъ жизни предчувствіе истины и способность познанія ея за предѣлами смерти, Христосъ же, придя въ міръ и оставивъ его, показалъ людямъ, что истина постижима сердцу человѣческому и въ жизни. А разсудокъ не зналъ ея тогда и не знаетъ теперь...

— Да, и я окольными тропинками тоже старался выбраться на прямую дорогу. Не найдя разъясненія въ знаніи, я сталъ искать этого разъясненія въ жизни, надѣясь въ людяхъ, окружающихъ меня, найти его, и я сталъ наблюдать людей, такихъ же, какъ я, какъ они живутъ вокругъ меня и какъ они относятся къ этому, въ отчаяніе приведшему меня, вопросу. И я нашелъ, что люди моего круга имѣютъ четыре выхода изъ общаго намъ съ ними ужаснаго положенія. Первый выходъ есть выходъ невѣдѣнія. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и безсмыслица. Люди этого разряда—бо́льшею частью женщины, или очень молодые, или очень тупые люди—еще не поняли того вопроса жизни, который представился Соломону, Шопенгауеру, Буддѣ. Отъ нихъ мнѣ нечему научиться,—нельзя перестать знать того, что знаешь... Второй выходъ—это выходъ эпикурейства. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться пока тѣми благами, какія есть, какъ Соломонъ говорилъ: „Ѣшь съ веселіемъ хлѣбъ твой и пей въ радости сердца вино твое... и наслаждайся жизнью съ женщиною, которую любишь, во всѣ дни суетной жизни твоей, во всѣ суетные дни твои, потому что это—доля твоя въ жизни и трудахъ твоихъ, какими ты трудишься подъ солнцемъ... Все, что̀ можетъ рука твоя по силамъ дѣлать, дѣлай, потому что въ могилѣ, куда ты

пойдешь, нѣтъ ни работы ни размышленія, ни знанія ни мудрости". Этого второго выхода придерживается большинство людей нашего круга. Условія, въ которыхъ они находятся, дѣлаютъ то, что благъ Соломоновскихъ у нихъ больше, чѣмъ золъ, а нравственная тупость даетъ имъ забвеніе случайности ихъ положенія, что всѣмъ нельзя имѣть тысячу женщинъ и дворцовъ, какъ Соломонъ, что за каждаго человѣка съ тысячью женъ есть тысяча людей безъ женъ и за каждый дворецъ есть тысяча людей въ потѣ лица строющихъ ихъ, и что это—случайность, которая нынче сдѣлала меня Соломономъ, завтра можетъ сдѣлать меня рабомъ Соломона. Тупость же воображенія этихъ людей даетъ имъ возможность забывать про то, что̀ не давало покоя Буддѣ,—про неизбѣжность болѣзни, старости и смерти, которыя не нынче-завтра разрушатъ всѣ эти удовольствія. И этимъ людямъ я также не могъ подражать: не имѣя ихъ тупости воображенія, я не могъ ея искусственно въ себѣ произвести... Третій выходъ состоитъ въ томъ, чтобы, понявъ, что жизнь есть зло и безсмыслица, уничтожить ее. Я хотѣлъ поступить такъ... Четвертый выходъ есть выходъ слабости. Онъ состоитъ въ томъ, чтобы, понимая зло и безсмысленность жизни, тянуть ее, зная напередъ, что ничего изъ нея выйти не можетъ. Никто не мѣшаетъ тебѣ съ Шопенгауеромъ отрицать жизнь. Но тогда убей себя и—не будешь разсуждать. Не нравится тебѣ жизнь,—убей себя. А живешь, не можешь понять смысла жизни, такъ прекрати ее, а не вертись въ этой жизни, разсказывая и расписывая, что ты не понимаешь жизни. Пришелъ въ веселую компанію, всѣмъ очень хорошо, всѣ знаютъ, что̀ они дѣлаютъ, а тебѣ скучно и противно, такъ уйди, не носись съ своею глупостью, какъ дуракъ съ писаною торбой. Если я знаю лучшее и оно въ моей власти, почему не отдаться лучшему?—Потому что слабъ. И я находился въ этомъ разрядѣ, предпочиталъ жизнь въ положеніи Соломона, Шопенгауера: знать, что жизнь есть злая и глупая шутка—и все-таки жить, умываться, обѣдать, говорить и даже писать. Это было для меня отвратительно, мучительно, но я оставался въ этомъ положеніи... Теперь я вижу, что если я не убилъ себя, то причиной тому было какое-то смутное сознаніе несправедливости моихъ мыслей. Какъ ни убѣдителенъ и несомнѣненъ казался мнѣ ходъ моихъ мыслей и мыслей мудрецовъ, приведшихъ насъ къ познанію безсмыслицы жизни, во мнѣ оставалось неясное сомнѣніе въ истинности моего разсужденія... Оно было такое: я, мой разумъ, при-

зналъ, что жизнь неразумна. Если нѣтъ *высшаго* разума, то разумъ есть творецъ жизни *для меня:* не было бы разума, не было бы для меня и жизни. Какъ же этотъ разумъ отрицаетъ жизнь, а онъ самъ творецъ жизни? Или, съ другой стороны, если бы не было жизни, не было бы, вѣдь, и моего разума: стало-быть разумъ есть сынъ жизни. Жизнь есть все. Разумъ есть плодъ жизни, и разумъ этотъ отрицаетъ самую жизнь. Неладно что-то... Съ тѣхъ поръ какъ началась какая-нибудь жизнь людей, у нихъ уже былъ этотъ смыслъ жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что̀ есть во мнѣ и около меня—все это плодъ ихъ знанія жизни. Тѣ самыя орудія мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее—все это не мной, а ими сдѣлано. Самъ я родился, воспитывался, возросъ—благодаря имъ. Они научили другъ друга жить вмѣстѣ, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то—ихъ произведеніе, ими вспоенный, вскормленный, ими наученный ихъ мыслями и словами—доказалъ имъ, что они безсмыслица. Опять неладно. Гдѣ-нибудь я ошибся. Но въ чемъ была ошибка, я никакъ не могъ найти: въ самомъ ли разсужденіи, въ постановкѣ ли вопроса,—я не зналъ. Я чувствовалъ только, что убѣдительность разумная была совершенная, но что все-таки ея было мало. Всѣ эти доводы не могли убѣдить меня такъ, чтобъ я сдѣлалъ то, что̀ вытекало логически изъ моихъ разсужденій, т. е. чтобъ я убилъ себя. И я бы сказалъ неправду, если бы сказалъ, что я разумомъ пришелъ къ тому, къ чему пришелъ и—не убилъ себя. Разумъ работалъ, но работало и еще что-то, что̀ я не могу назвать иначе какъ сознаніемъ жизни. Сила жизненнаго сознанія, жизненнаго чувства, вывела меня изъ моего отчаяннаго положенія и совершенно иначе направила мой разумъ. Эта сила заставила меня обратить вниманіе на то, что я съ сотнями подобныхъ мнѣ людей не есть все человѣчество, что жизни человѣчества настоящаго я не знаю. Я зналъ только тотъ тѣсный кружокъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ людей, къ которому я принадлежалъ, и думалъ, что онъ и составляетъ все человѣчество, а что тѣ милліарды жившихъ и живыхъ—это *такъ,* какіе-то скоты, не люди. Какъ ни странно, неимовѣрно-непонятно кажется мнѣ теперь то, что я могъ до такой степени нелѣпо заблудиться, чтобы думать, что жизнь моя, жизнь Соломоновъ и Шопенгауеровъ, есть настоящая, нормальная жизнь, а жизнь милліардовъ есть не стоющее вниманія обстоятельство,—какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу, что это было такъ. Въ заблужденіи

гордости своего ума, мнѣ такъ казалось несомнѣннымъ, что мы съ Соломономъ и Шопенгауеромъ поставили вопросъ такъ вѣрно и истинно, что другого ничего быть не можетъ,—такъ несомнѣнно казалось, что всѣ эти милліарды принадлежали къ тѣмъ, которые еще не дошли до постиженія всей глубины вопроса, что я искалъ смысла своей жизни и ни разу не подумалъ: „да какой же смыслъ придаютъ и придавали всѣ милліарды жившихъ и живущихъ на свѣтѣ?“ Я долго жилъ въ этомъ сумасшествіи, свойственномъ именно самымъ либеральнымъ и ученымъ людямъ. Но, благодаря какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидѣть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, или благодаря искренности моего убѣжденія, въ томъ, что лучшее, что̀ я могу сдѣлать—это повѣситься,—я чуялъ, что если хочу жить и понимать смыслъ жизни, то *искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ жизни и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь.* И я оглянулся на огромныя массы отжившихъ и живущихъ простыхъ, неученыхъ и небогатыхъ людей, и увидѣлъ совершенно другое. Я увидѣлъ, что всѣ эти милліарды людей не подходятъ къ моему дѣленію. Признать ихъ непонимающими вопроса я не могу, потому что они сами ставятъ его и съ необыкновенною ясностью отвѣчаютъ на него. Признать ихъ эпикурейцами тоже не могу, потому что жизнь ихъ слагается больше изъ лишеній и страданій, чѣмъ наслажденій; признать же ихъ неразумно доживающими безсмысленную жизнь могу еще менѣе, такъ какъ всякій актъ ихъ жизни и самая смерть объясняются ими. Убивать же себя они считаютъ величайшимъ зломъ. И оказалось, что у всего человѣчества есть какое-то не признаваемое и презираемое мною знаніе смысла жизни. Выходило то, что разумное знаніе не даетъ смысла жизни, исключаетъ жизнь; смыслъ же, придаваемый жизни милліардами людей, всѣмъ человѣчествомъ, зиждится на какомъ-то презрѣнномъ, ложномъ знаніи. Разумное знаніе въ лицѣ ученыхъ и мудрыхъ отрицаетъ смыслъ жизни, а огромныя массы людей, все человѣчество, признаютъ этотъ смыслъ въ *неразумномъ* знаніи. И это неразумное знаніе есть вѣра, та самая, которую я не могъ не откинуть, какъ нѣчто совершенно несовмѣстное съ требованіями моего разума. Положеніе мое было ужасно. Я зналъ, что я ничего не найду на пути разумнаго знанія, кромѣ отрицанія жизни, а

тамъ, въ вѣрѣ—ничего, кромѣ отрицанія разума, которое еще невозможнѣе, чѣмъ отрицаніе жизни. По разумному знанію выходило такъ, что жизнь есть зло и люди знаютъ это: отъ людей зависитъ не жить, а они жили и живутъ, и самъ я жилъ, хотя я зналъ уже давно то, что жизнь есть и зло и безсмыслица. По вѣрѣ же выходило, что, для того чтобы понять смыслъ жизни, я долженъ отречься отъ разума, того самаго разума, для котораго нужно знаніе этого смысла. Выходило противорѣчіе, изъ котораго были только два выхода: или то, что̀ я называлъ разумнымъ, не было такъ разумно, какъ я думалъ, или то, что̀ мнѣ казалось неразумно, не было такъ неразумно, какъ я думалъ.

Левинъ остановился. Онъ, видимо, усталъ отъ своихъ длинныхъ оживленныхъ монологовъ. Ивановъ лежалъ неподвижно. На блѣдномъ лицѣ его нѣсколько разъ показывалась слабая добрая улыбка; прежнее выраженіе болѣзненнаго безпокойства исчезло и замѣнилось выраженіемъ спокойной радости. Онъ открылъ глаза и, улыбаясь, тихо сказалъ:

— Я все ждалъ этихъ словъ, Константинъ Дмитричъ. Еще никогда я не слыхалъ, чтобы такъ просто и вѣрно развязывался этотъ старый узелъ, затянутый оторвавшимся отъ жизни разсудкомъ человѣка такъ туго, что кровообращеніе не можетъ правильно продолжаться, и доступъ къ питающему источнику сердца прекращенъ, такъ что вотъ-вотъ остановится и жизнь. Да, здѣсь, въ этомъ кажущемся противорѣчіи, вся сила. Разсудочное знаніе разума, дѣйствительно, оказывается неразумнымъ. Но это потому, что оно всегда было только мнимо-разумнымъ. Съ другой стороны, считавшееся неразумнымъ знаніе вѣры потому только могло теперь оказаться разумнымъ, что противопоставленіе вѣры разуму всегда было ошибкой. Разсудокъ оторвали отъ преданія и его источника—чувства, и выхолощенную силу разсудка въ ослѣпленіи называли разумомъ. Вѣру же старались отрывать отъ здраваго смысла. Долго занимались люди этимъ безобразнымъ занятіемъ, называя свое дѣло одни—прогрессомъ, другіе—охраненіемъ основъ. Но не было такого зла и преступленія, котораго бы не были готовы причинить другъ другу изъ-за вражды разсудка и сердца́. И вотъ, измучившись, на волоскѣ отъ сумасшествія и самоубійства, хотятъ какъ будто помириться, но все-таки хорошенько еще не понимаютъ другъ друга. И весь смыслъ, вся задача человѣческаго духа въ настоящее время лежитъ въ этой смутно еще сознаваемой потребности примиренія измученнаго и полузасохшаго въ одиночествѣ

чувства съ раздраженнымъ, горделивымъ, сомнѣвающимся, страдающимъ отъ безсилія и пустоты, одинокимъ разсудкомъ. И вотъ вы первый называете такъ просто, понятно и вѣрно то самое кажущееся противорѣчіе, въ которомъ и лежитъ не только вопросъ, но также, по возможности, и его окончательное рѣшеніе... Мнѣ чрезвычайно интересно, какъ вы его рѣшите, потому что чутье говоритъ мнѣ, что ваше рѣшеніе — самое простое по существу, хотя и давалось вамъ путемъ такихъ тяжелыхъ страданій...

— Мнѣ кажется, что, для точности выраженія, нужно согласиться называть разсудокъ разсудкомъ или логикой, но не разумомъ. Хорошо, что здѣсь нѣтъ съ нами никого изъ противнаго лагеря, — иначе онъ непремѣнно воспользовался бы нашею неточностью въ терминологіи, тѣмъ болѣе, что ошибка раціоналистовъ въ томъ и заключается, что они назвали разумомъ разсудокъ. Особенно трудно говорить объ этомъ съ такъ называемыми образованными людьми, которые, считая себя въ правѣ судить обо всемъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ незнакомы не только съ исторіей человѣческаго просвѣщенія, но даже съ элементарными понятіями логики и, особенно, психологіи. И если начнешь поправлять ихъ неточности и настаивать—сердятся сейчасъ, говорятъ: это—пустяки, это—споръ о словахъ... Что жъ дѣлать? Уступать здѣсь нельзя: пусть привыкаютъ. А намъ ужъ, во всякомъ случаѣ, надо сговориться и не давать врагамъ оружія въ руки, — говорилъ я съ азартомъ, видимо непріятно дѣйствовавшимъ на обоихъ престарѣлыхъ моихъ собесѣдниковъ, которыхъ мнѣ, за молодостью лѣтъ, не приходилось, конечно, брать на себя поучать и судить. „Вѣчно проврешься,—ругалъ я себя въ душѣ.— Но что жъ дѣлать? По крайней мѣрѣ, сказалъ, какъ думалъ: пусть ихъ себѣ тамъ посердятся немножко, а я тѣмъ временемъ опять помолчу и послушаю“,—подумалъ я и опять, нырнувъ подъ мохнатое мягкое одѣяло, приготовился слушать дальнѣйшіе монологи. Но въ эту минуту одна свѣча неожиданно, догорѣвъ, потухла, а другая стала трещать и примѣриваться, какъ бы и ей тоже погаснуть.

На дворѣ уже чуть-чуть свѣтало.

— Ну, господа, въ темнотѣ о такихъ страшныхъ вещахъ разговаривать не приходится; пора спать. Ужъ завтра докончимъ нашу бесѣду. Спите спокойно, — сказалъ Левинъ и ласково простился съ нами.

— Я нахожу, что вы оба правы—и Константинъ Дмитричъ

и вы, молодой человѣкъ. Разумное знаніе не можетъ быть неразумнымъ, и неразумная вѣра не можетъ быть разумною. Это абсурдъ. Но разсудокъ не можетъ быть разумнымъ всегда, потому что онъ только часть разума. И вѣра не можетъ быть неразумною всегда, потому что она часть разума. Значитъ, все дѣло въ томъ, чтобъ откинуть отъ знанія то, что̀ въ немъ бываетъ разсудочнаго— по-вашему, или неразумнаго—по терминологіи нашего хозяина, и откинуть въ вѣрѣ все то, что̀ въ ней противорѣчитъ истинному разуму, все то, что̀ въ ней есть антропоморфическаго и земного. Тогда исчезнутъ нынѣшнія глупыя перегородки въ жизни человѣческаго духа; тогда не будетъ уже дѣленія его на непримиримыя между собою науку, искусство и религію,—будетъ все нераздѣльнымъ проявленіемъ объединеннаго, очищеннаго человѣческаго сознанія... Въ далекомъ, очень далекомъ будущемъ это возможно,— говорилъ Ивановъ, тяжело вздохнулъ и задумался.

— Иванъ Ивановичъ, ваша мысль, хотя я и не совсѣмъ еще ее понимаю, очень симпатична мнѣ. Но если вы возлагаете на будущее такія радостныя надежды, отчего же вы какъ-то мало радуетесь, отчего вы вздыхаете? Извините, что я позволяю себѣ судить и говорить о васъ, но мнѣ кажется, что какъ Константинъ Дмитричъ, точно такъ же и вы живете для истины для души, для Бога. И если цѣль вашей жизни представляется вамъ несомнѣнною и достижимою, вы должны быть счастливы...

Лицо Иванова было блѣдно и строго. Онъ долго лежалъ молча съ закрытыми глазами. Онъ раскрылъ ротъ, желая сказать что-то, но не могъ и, тихо застонавъ, въ изнеможеніи откинулъ свою исхудалую голову на край подушки. Изъ-подъ блѣдныхъ опущенныхъ морщинистыхъ вѣкъ потекли крупныя неудержимыя слезы. Очевидно, я попалъ въ его больное мѣсто. Проклиная себя за неделикатную неосторожность, я сползъ съ кровати и сѣлъ у изголовья Иванова на кресло и, растерявшись, смотрѣлъ на болѣзненныя черты старика, выражавшія глубокое безпомощное состояніе. На лбу, на вискахъ у него мелкими каплями выступилъ потъ. Прежнее возбужденіе мое исчезло, сердце упало, и я тщетно перебиралъ въ головѣ успокоительныя фразы, чувствуя глупость, неспособность поправить свою ошибку. „Вѣчно проврешься, вѣчно, относясь къ людямъ отвлеченно, легкомысленно задѣваешь ихъ живыя раны. Пріѣхалъ о литературѣ разговаривать—и что надѣлалъ? Дуракъ!“ И я оглядывался по сторонамъ, какъ будто стѣны, обои или мебель могли мнѣ чѣмъ-нибудь помочь.

— Въ томъ и есть ужасъ моего положенія, что я какъ Танталъ стою по колѣна въ водѣ, и только нагнусь—волны отъ меня убѣгаютъ, и нѣтъ средствъ утолить возрастающей жажды. Есть теоретически-несомнѣнное для меня убѣжденіе, но нѣтъ конкретнаго чувства, нѣтъ отъ этой вѣры удовлетворенія сердцу. И всего ужаснѣе то, что прежде все это было и вдругъ недавно куда-то непонятно исчезло. Прежде была полнота вѣры и счастіе ею и въ величайшихъ радостяхъ и въ величайшемъ горѣ. Но недавно со мной случилось что-то странное, странно-ужасное. Помните, въ сказкѣ Андерсена о Гертрудѣ и Каѣ, какъ ему въ глазъ попалъ осколокъ дьявольскаго зеркала, и какъ вдругъ пересталъ онъ видѣть доброе въ жизни? Ну, и у меня въ глазу сидитъ такой же осколокъ. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ неслышно впился мнѣ въ зрачокъ, я пересталъ видѣть человѣка,—и въ себѣ и въ другихъ вижу одного только звѣря. Я сажусь обѣдать, и всѣ аксессуары человѣческой кухни: ножи, вилки, тарелки, блюда, всѣ виды кушаній исчезаютъ, и я вижу въ себѣ и въ другихъ только животное, поѣдающее такихъ же животныхъ, какъ оно само. Я прихожу въ общество—и всѣ утонченныя формы человѣческихъ отношеній исчезаютъ для моего взора; остается одно только зрѣлище вѣчной вражды, зависти, „клеветы друзей“, эгоизмъ, и въ обществѣ я не вижу теперь ничего, кромѣ стада звѣрей. Я прихожу въ семью—и ужъ не вижу прежней любви, вижу только, что это—логовище для выведенія новыхъ животныхъ. Святѣйшія чувства матери, дѣтей какъ-то обнажились: въ ядрѣ ихъ души я вижу того же звѣря, ту же тигрицу, тигрятъ, только для разнообразія изрѣдка надѣвающихъ ангельскія личины. Женская красота, любовь къ женщинѣ... нѣтъ границъ омерзѣнію, которое не онѣ даже, а малѣйшая тѣнь намека на нихъ во мнѣ возбуждаютъ. Языкъ любви, казавшійся мнѣ прежде такимъ поэтическимъ, звучитъ мнѣ теперь чѣмъ-то невыразимо-фальшивымъ, невообразимо-отвратительнымъ и безобразнымъ. Сохраненіе рода... продолженіе вида... половой подборъ! Бррр... мерзость какая!

Начавъ почти съ шопота, голосъ Иванова постепенно крѣпчалъ, и въ звукѣ его стихало горе и возрастала злоба. Слабости — какъ не бывало. Сжавъ зубы, онъ смотрѣлъ впередъ съ неподвижнымъ выраженіемъ ненависти и отвращенія.

— Подлецъ!—закричалъ онъ, вдругъ вскочивъ, блѣдный какъ полотно и весь трясясь отъ гнѣва.—Подлецъ, какъ смѣлъ ты обманывать себя, другихъ? Какъ смѣлъ ты вѣрить и другихъ еще

увѣрять въ возможности счастія, истины, добра? Ты—воплощеніе зла, воплощеніе звѣря! — кричалъ старикъ, обращаясь, очевидно, къ самому себѣ и съ отвращеніемъ глядя на свое тощее тѣло и длинные искривленные члены.

— Иванъ Ивановичъ, вспомните о душѣ вашей, о Богѣ...— сказалъ я, собравшись наконецъ съ силами.

— О душѣ, о Богѣ?.. Ахъ, я понимаю ихъ только вмѣстѣ съ мыслью о смерти. Въ жизни душа представляется мнѣ неосуществимымъ идеальнымъ отвлеченіемъ. Развѣ можетъ быть душа у людей, когда ихъ жизнь построена на тѣхъ же законахъ борьбы за существованіе, за сохраненіе вида, какъ и у животныхъ? Душа есть любовь, а любви нѣтъ у людей. Любовь человѣка бываетъ всегда къ одному на счетъ другихъ... Любишь жену, дѣтей, друга, чтобы меньше любить остальныхъ людей. Любишь русскихъ, чтобы ненавидѣть поляковъ, нѣмцевъ, турокъ, англичанъ. И во всемъ то же самое. Ничего нѣтъ въ людяхъ, кромѣ эгоизма и ненависти... Ничего не надо людямъ, кромѣ знанія и науки, превосходствомъ которыхъ они только побѣждаютъ другъ друга и другихъ животныхъ, къ нимъ неспособныхъ. И живы люди на свѣтѣ только ненавистью своею къ другимъ, только эгоистическою заботой о себѣ, о сохраненіи рода, только трудомъ и наукой, направленными къ той же эгоистической цѣли... Нѣтъ добра и любви на этомъ свѣтѣ! А если ихъ нѣтъ, то нѣтъ и правды. А нѣтъ правды, любви и добра, значитъ нѣтъ и души у живущаго на землѣ человѣка... И когда это поймешь, тогда и къ Богу чувство твое становится отвлеченнымъ, теоретическимъ, холоднымъ... Да, Богъ есть: теоретически это несомнѣнно для меня. Но практически я не вѣрю въ исполнимость людьми Его закона на землѣ. Люди въ дѣйствительности живутъ на основаніи другихъ законовъ—законовъ своей животной природы, законовъ борьбы и побѣды. Словомъ, я признаю, что истина существуетъ, что познаніе ея невозможно для человѣка, но *осуществленіе* ея въ дѣйствительности для людей представляется мнѣ недоступнымъ. Когда увидишь все это такъ ясно, какъ это я вижу, не можешь быть счастливъ. Въ одномъ только вижу я счастіе—въ смерти. Тамъ только разстанусь я съ источникомъ зла моего—съ моимъ отвратительнымъ тѣломъ. Тамъ только откроются мнѣ любовь, истина и добро. Тамъ только буду я счастливъ.

Голосъ, постепенно стихая, замолкъ. Морщины расправились. Глаза стали спокойны и свѣтлы и съ неожиданнымъ выраженіемъ

прощенія и любви смотрѣли куда-то далеко. Какъ будто онъ прислушивался къ звукамъ, раздающимся гдѣ-то далеко, далеко, несущимъ ему оттуда сладкую музыку счастія и миръ, которыхъ онъ не зналъ на землѣ. Вдругъ что-то мягкое и нѣжное промелькнуло въ лицѣ больного.

„Ну, слава Богу, успокоился несчастный, — подумалъ я. — И какъ это удивительно: Левинъ пришелъ въ ужасъ отъ мысли о смерти, а этого одна мысль о ней дѣлаетъ счастливымъ. Странно!“

Успокоившись за Иванова, который лежалъ съ закрытыми глазами и готовился заснуть, я на цыпочкахъ, осторожно, пробрался на свою кровать и легъ, чтобы тотъ опять какъ-нибудь не заговорилъ. Я лежалъ и думалъ о несчастномъ Ивановѣ, о счастливомъ Левинѣ. Какъ ни тягостно было впечатлѣніе разговора съ Ивановымъ, инстинктъ говорилъ мнѣ, что такъ или иначе, раньше или позже, но этотъ несчастный освободится отъ яда, пропитавшаго все его существо, и найдетъ истину и примиреніе, какъ и Левинъ, только обратнымъ путемъ, и что теперешнее его состояніе есть только послѣдніе приступы слабѣющаго уже эгоизма. Въ мысляхъ о Левинѣ и Ивановѣ открывалось мнѣ что-то новое и таинственное: какъ будто сама собой открывалась какая-то тайна, разгадать которую было будто бы издавна моимъ задушевнымъ желаніемъ. „Какъ они одновременно близки и далеки другъ къ другу, — думалъ я. — Неужели счастіе и несчастіе — только ступени, съ двухъ противоположныхъ сторонъ ведущія къ той далекой таинственной вершинѣ, съ которой человѣку открывается истина?.. И по которой изъ двухъ этихъ лѣстницъ суждено мнѣ взойти на желанную вершину въ моей собственной жизни?“ Я думалъ объ этомъ и не спалъ.

Солнце взошло, и комната ярко освѣтилась. Старикъ, ровно дыша, спалъ крѣпко, со спокойнымъ выраженіемъ лица. Что жъ, неужели спать въ такое прелестное утро, послѣ всѣхъ этихъ необыкновенныхъ впечатлѣній?.. Я потихоньку одѣлся и вышелъ. Въ передней старый Петръ подметалъ полъ.

— Дайте мнѣ мою шубу.

Петръ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— Помилуйте, баринъ, вѣдь, весна на дворѣ. Почитай градусовъ пятнадцать будетъ на солнцѣ.

— Какъ же такъ? Вѣдь я вчера на саняхъ къ вамъ пріѣхалъ?

— Не могу знать. Только извольте выйти на дворъ посмотрѣть, какъ вамъ угодно будетъ одѣться.

Я, ничего не понимая, вышелъ на крыльцо. Уже когда я отворилъ первую дверь, на меня пахнуло свѣжестью теплаго весенняго утра. Что за чудо? На дворѣ точно была весна. Деревья уже давно распустились. Солнце такъ ласково грѣло. Птицы щебетали о чемъ-то съ веселымъ сердцемъ. Ничего не понимаю... Ахъ, это, вѣдь, сонъ, это, вѣдь, все во снѣ со мной происходитъ... Ну, тогда ничего... И фантастическія представленія сна опять, цѣпляясь одно за другое, потянулись старою цѣпью.

XXV.

Возвращаясь за шапкой и палкой, я наткнулся на Левина, который, свѣжій и веселый какъ юноша, шелъ въ кабинетъ.

— Какъ спали? Долго еще бесѣдовали съ моимъ другомъ?

— Да, онъ недавно только заснулъ. Онъ чѣмъ-то разстроился. Я боюсь, не я ли это какъ-нибудь разбередилъ ему то, что̀, видимо, болитъ у него уже давно.

— Да, ему, бѣднягѣ, не повезло въ жизни,— сказалъ Левинъ и грустно вздохнулъ.—Но вообще онъ ничего, бодрится. Иногда только находитъ на него линія, какъ онъ выражается, и тогда онъ становится тяжелъ для окружающихъ, но не для меня: со мной онъ какъ-то довѣрчивѣе и веселѣе, и мы какъ-то ужъ очень скоро понимаемъ другъ друга. Такъ не будемъ его будить. Пойдемте, я покажу вамъ балконъ.

Мы обошли домъ черезъ калитку сада и взобрались на какое-то странное сооруженіе, представлявшее нѣчто среднее между балкономъ, террасой и колоннадой, очень красивое и уютное. Видъ открывался далекій и просторный. Домъ стоялъ на возвышеніи, и за садомъ поля и рощи, спускаясь ступенями къ рѣкѣ, переходили по ту сторону рѣки въ большую долину, на горизонтѣ которой виднѣлись безконечные лѣса. Восходящее солнце увеличивало прелесть далекаго вида, который весь какъ будто бы былъ сдѣланъ изъ золота, эмали и бархата, весеннихъ цвѣтовъ и отливовъ и воздуха, чистотѣ и мягкой свѣжести котораго не было опредѣленія.

— Какъ хорошо!—сказали мы оба въ одинъ голосъ.

— Пойдемте по саду, пока принесутъ намъ поѣсть,—сказалъ Левинъ.

— Мы спустились со старыхъ, съ потрескавшимся цементомъ,

каменныхъ ступеней террасы и пошли по нерасчищенному еще саду. Такъ хорошо было, что мы долго молчали, и ни Левину ни мнѣ не хотѣлось ни о чемъ говорить.

Мы подошли къ старому наклонившемуся забору, вдоль котораго стояли почему-то вишневыя деревья въ цвѣту.

— Вѣдь какъ хорошо, — сказалъ Левинъ, помолчавъ. — Такъ хорошо, что не хочется думать. Да и не нужно думать, — прибавилъ онъ серьезно. — Думать, анализировать все — непормально, несвойственно природѣ. Нужно жить, а не думать. Вотъ предо мною природа, Богъ, смыслъ жизни, свободы, добра. Они передъ нами. Зачѣмъ подвергать ихъ логическому изслѣдованію, которое къ нимъ непримѣнимо? Они не выдерживаютъ анализа, но не потому, чтобъ они были ниже, а потому, что они отъ него ускользаютъ. Передъ критикой остаются не добро, не истина, не счастіе, познаваемое лишь прямымъ созерцаніемъ природы и общей съ нею жизни, а наши случайныя понятія о нихъ. И понятія наши, случайныя и несовершенныя, не выдерживаютъ разсудочной критики. Если бы не было такъ ужасно, было бы смѣшно... Съ какою гордостью и самодовольствомъ мы, какъ дѣти, разбираемъ часы, вынимаемъ пружины, дѣлаемъ изъ нихъ игрушку и потомъ удивляемся, что часы перестали идти!.. Жизнь не поддается разсудку, его пониманію; его пониманіе жизни узко и мелко. Въ сравненіи съ истиной жизни оно—ничтожество, нуль. И вотъ оно, разсудочное знаніе, начинаетъ судить будто бы жизнь, а на дѣлѣ—само себя, т. е. нуль, приходитъ къ результату, что нуль равенъ нулю — и удивляется! Нечего удивляться: ничего другого и не могло получиться въ результатѣ. Жизнь, представляющаяся разсудку ничѣмъ, есть ничто, конечно; но она есть ничто только для разсудка. Отвѣтъ разсудка есть отвѣтъ неопредѣленный. Онъ не можетъ имѣть значенія достовѣрно-отрицательнаго, потому что онъ условенъ. Онъ говоритъ: *я* не понимаю жизни, *я* не въ силахъ ее объяснить. Безусловность отрицанія несомнѣнна здѣсь только по отношенію къ вопрошающему разсудку, но не къ вопрошаемой жизни. Разсудокъ говоритъ такъ: мое знаніе жизни равно нулю; потомъ спрашиваетъ: что̀ есть нуль? — и отвѣчаетъ: нуль есть нуль... Это похоже на то, что̀ бываетъ въ математикѣ, когда, думая рѣшать уравненіе, рѣшаемъ тождество. Ходъ размышленія правиленъ, но въ результатѣ получается отвѣтъ: $a=a$, или $x=x$, или $0=0$. Жизнь, представляющаяся нормальному чувству добромъ, есть добро. Жизнь, кажущаяся извращенному чувству зломъ, есть зло. Разсу-

докъ говоритъ: жизнь есть ничто; чувство говоритъ: жизнь есть добро или зло. Разсудокъ ничего не отвѣчаетъ, рѣшаетъ вопросъ и судитъ только одно чувство... Я спрашивалъ: какое внѣвременное, внѣпространственное значеніе моей жизни? Разсудокъ не признавалъ такой постановки: онъ не понималъ безконечнаго. И потому разсудокъ отвѣчалъ на другой вопросъ: какое временное, причинное и пространственное значеніе моей жизни? И отвѣтъ его былъ: нѣтъ никакого. Понявъ это, я увидѣлъ, что въ разсудочномъ знаніи нельзя было искать отвѣта на мой вопросъ, и что отвѣтъ, даваемый разсудочнымъ знаніемъ, есть только указаніе на то, что отвѣтъ положительный и опредѣленный можетъ быть полученъ лишь при иной постановкѣ вопроса, только тогда, когда въ разсужденіе будетъ введенъ непостижимый разсудку вопросъ объ отношеніи конечнаго къ безконечному. Я понялъ и то, что какъ ни безосновательны, съ разсудочной точки зрѣнія, отвѣты, даваемые вѣрой, они имѣютъ то преимущество, что вводятъ въ каждый отвѣтъ отношеніе конечнаго къ безконечному, безъ котораго не можетъ быть отвѣта. Вопросъ: какъ *мнѣ* жить? Отвѣтъ: по закону *Божію*. Что̀ выйдетъ изъ моей жизни? — *Вѣчное* мученіе или *вѣчное* блаженство. Какой не уничтожаемый смертью смыслъ жизни? — Соединеніе съ безконечнымъ *Богомъ*, рай... Такъ что кромѣ разсудочнаго знанія, которое прежде представлялось мнѣ разумнымъ и единственнымъ, я былъ приведенъ къ необходимости признать, что существуетъ другое знаніе, казавшееся мнѣ прежде неразумнымъ, но которое одно даетъ человѣчеству отвѣты на вопросы жизни и, вслѣдствіе того, возможность жить, — вѣра. „Разумное“ знаніе привело меня къ признанію того, что жизнь безсмысленна; жизнь моя остановилась, и я хотѣлъ уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человѣчество, я увидалъ, что люди живутъ и утверждаютъ, что̀ знаютъ смыслъ жизни. Какъ другимъ людямъ, такъ и мнѣ смыслъ жизни и возможность жизни давала вѣра. Оглянулся дальше на людей другихъ странъ и временъ — и увидалъ то же самое. Гдѣ жизнь, тамъ вѣра, съ тѣхъ поръ какъ есть человѣчество, даетъ возможность жить, и главныя черты вѣры вездѣ и всегда однѣ и тѣ же. И я понялъ, что не разсудокъ, а вѣра есть знаніе смысла человѣческой жизни, вслѣдствіе котораго человѣкъ не уничтожаетъ себя, а живетъ. Вѣра есть сила жизни. Если человѣкъ живетъ, то онъ во что-нибудь да вѣритъ. Если бъ онъ не вѣрилъ, что для чего-нибудь надо жить, то онъ бы и не жилъ. Если онъ не ви-

дитъ, не понимаетъ, что конечное есть призракъ, онъ вѣритъ въ конечное; если онъ понимаетъ призрачность конечнаго, онъ долженъ вѣрить въ безконечное. Безъ вѣры нельзя жить... Нужно и дорого только разрѣшеніе противорѣчія конечнаго съ безконечнымъ, отвѣтъ на вопросъ жизни такой, при которомъ возможна жизнь. И это единственное разрѣшеніе, которое мы находимъ вездѣ, всегда и у всѣхъ народовъ,—разрѣшеніе, вынесенное изъ временъ еще доисторическихъ, разрѣшеніе столь трудное, что мы новаго, подобнаго ему, сдѣлать не можемъ, и это-то разрѣшеніе мы легкомысленно разрушаемъ съ тѣмъ, чтобы поставить опять тотъ вопросъ, который присущъ всякому и на который у насъ нѣтъ и не можетъ быть иного отвѣта. Понятіе безконечнаго Бога, божественности души, связи дѣлъ людскихъ съ Богомъ, понятіе нравственнаго добра и зла—эти понятія выработаны въ скрывающейся отъ разсудка дали доисторической жизни человѣчества; это тѣ понятія, безъ которыхъ не было бы жизни и меня самого. А я, откинувъ всю эту работу всего человѣчества, хочу все самъ дѣлать по-новому и по-своему. И матеріалъ для нея ищу тамъ, гдѣ его не можетъ быть, ищу внѣ меня, въ разсудкѣ, тогда какъ онъ внутри меня, въ моемъ сердцѣ... Я понималъ, что всѣ наши разсужденія вертятся въ заколдованномъ кругѣ, какъ колесо, не цѣпляющееся за шестерню. Сколько бы и какъ бы хорошо мы ни разсуждали, мы не можемъ получить отвѣта на вопросъ, и всегда будетъ *0=0*, и что поэтому нашъ путь, путь разсужденія, ошибоченъ. Я понималъ, что въ отвѣтахъ, даваемыхъ вѣрою, хранится глубочайшая мудрость человѣчества, что я не имѣлъ права отрицать ихъ на основаніи „разума“ и, что̀ главное, отвѣты эти одни отвѣчаютъ на вопросы жизни. Я понималъ, что скотникъ Николай, старикъ, умершій въ Богѣ — Ѳоканычъ, Ѳедоръ подавальщикъ, вотъ эта старушка няня моя, Агаѳья Михайловна, которая въ эту минуту съ такою торжественностью засѣдаетъ тамъ, у самовара на террасѣ, и готовитъ намъ чай, — что *они*— хранители истинной мудрости, и что мы — съ г. Станкевичемъ вашимъ, съ братцемъ моимъ, ученымъ Сергѣемъ Ивановичемъ, съ Катавасовымъ, Песцовымъ и Метровымъ—олицетвореніе невѣжества и ничтожества въ сравненіи съ этими умными, добрыми, прекрасными людьми...

„Какъ онъ хорошо говоритъ, — думалъ я, всходя съ Левинымъ по ступенямъ террасы. — И какъ это онъ вѣрно и сразу объяснилъ мнѣ все о г. Станкевичѣ. Удивительно! Г. Станкевичъ,

просто, забылъ то, что̀ теперь большинству образованныхъ людей уже неизвѣстно, но что̀ твердо знаютъ и помнятъ такіе люди, какъ Агаѳья Михайловна. Такъ вотъ почему онъ такъ смѣялся надъ ея философіей, которая, очевидно, гораздо, несравненно глубже его неопредѣленной системы... Только бы Левину не надоѣло говорить дальше. Тогда бы, можетъ-быть, я узналъ и о томъ, почему г. Станкевичъ отнесся съ такимъ ужаснымъ презрѣніемъ не только къ мнѣніямъ Агаѳьи Михайловны, но и къ ней самой, почему онъ такъ неуважительно отзывался о ней, о скотникѣ Николаѣ и т. д. Только бы Левинъ говорилъ, ужъ я его теперь не перебью... Какъ бы не забыть только. Вѣдь записывать неловко да и невозможно во снѣ. Какъ хорошо я сдѣлалъ, что пріѣхалъ сюда! Одно нехорошо: это — Ивановъ, больной и озлобленный. Но, вѣдь, это пройдетъ у него, какъ все проходитъ на свѣтѣ".

— Здравствуйте, Агаѳья Михайловна! Пойдите узнайте у Петра, проснулся ли Иванъ Ивановичъ. Что вы пьете утромъ—чай или кофе? Садитесь сюда,—говорилъ Левинъ, садясь у самовара.

— Такъ вотъ, видите ли,—продолжалъ онъ свой разсказъ,— я все это прекрасно понималъ въ теоріи, но отъ этого мнѣ не было легче. Я видѣлъ, что знаніе смысла—въ вѣрѣ, но въ какой вѣрѣ и какъ понять ее — я не зналъ. И я изучалъ буддизмъ и магометанство по книгамъ, и болѣе всего христіанство и по книгамъ и по живымъ людямъ, окружавшимъ меня. Я естественно обратился, прежде всего, къ вѣрующимъ людямъ моего круга. И я ухватился за нихъ и допрашивалъ ихъ о томъ, какъ они вѣрятъ и въ чемъ видятъ смыслъ жизни. Несмотря на то, что я дѣлалъ всевозможныя уступки, избѣгалъ всякихъ споровъ, я не могъ принять вѣры этихъ людей; я видѣлъ, что то, что̀ они выдавали за вѣру, было не объясненіе, а затемнѣніе смысла жизни, что сами они утверждали свою вѣру не для того, чтобы отвѣтить на тотъ вопросъ жизни, который привелъ меня къ вѣрѣ, а для какихъ-то другихъ, чуждыхъ мнѣ, цѣлей. Меня оттолкнуло то, что жизнь этихъ людей была та же, какъ и моя, съ тою только разницей, что она не соотвѣтствовала тѣмъ самымъ началамъ, которыя они излагали въ своемъ ученіи. Я чувствовалъ ясно, что они сами себя обманываютъ, и что у нихъ, такъ же, какъ у меня, нѣтъ другого смысла въ жизни, какъ того, чтобы жить, пока живется, и брать все, что можетъ взять рука. Я видѣлъ это потому, что если бъ у нихъ былъ тотъ смыслъ, при которомъ уничтожается

страхъ лишеній, страданій и смерти, то они бы не боялись ихъ. А они, эти вѣрующіе нашего круга, точно такъ же, какъ и я, жили въ избыткѣ, старались увеличить или сохранить его, боялись лишеній, страданій, смерти, и жили, удовлетворяя похотямъ, жили такъ же дурно, если не хуже, чѣмъ невѣрующіе. И потому никакія разсужденія не могли убѣдить меня въ истинности ихъ вѣры. Я понялъ, что вѣра этихъ людей—не та вѣра, которой я искалъ, что ихъ вѣра не есть вѣра, а только одно изъ эпикурейскихъ наслажденій въ жизни. Я понялъ, что эта вѣра годится, можетъ-быть, хоть не для утѣшенія, а для нѣкотораго разсѣянія раскаивающемуся Соломону на смертномъ одрѣ, но она не можетъ годиться для огромнаго большинства человѣчества, которое призвано не потѣшаться, а творить жизнь. Для того, чтобы все человѣчество могло жить, для того, чтобъ оно продолжало жизнь, придавая ей смыслъ, у нихъ, у этихъ милліардовъ, должно быть другое, настоящее, знаніе вѣры. Вѣдь не то, что мы съ Соломономъ и Шопенгауеромъ не убили себя, не это убѣдило меня въ существованіи вѣры, а то, что жили эти милліарды и живутъ и насъ съ Соломономъ вынесли на своихъ волнахъ... Вотъ идетъ нашъ милый и не раскаявшійся еще Соломонъ, — сказалъ вдругъ Левинъ, ласково улыбаясь и вставая навстрѣчу Иванову.

— Какъ вы спали? Какъ чувствуете себя, дорогой Иванъ Ивановичъ? — говорилъ Левинъ, крѣпко пожимая руку своего друга и съ спокойнымъ вниманіемъ вглядываясь въ выраженіе его лица, слегка освѣженнаго сномъ.

— Спалъ не много, но крѣпко. Вотъ юношѣ выболталъ всю душу и заснулъ. А вы давно встали? Какъ сегодня хорошо здѣсь!

И на изможденномъ лицѣ старика не видно было вчерашняго озлобленія, а было что-то доброе и благодушное.

— Прошла линія? Вотъ вамъ стаканъ. Пожалуй, и мясо будете ѣсть сегодня!

На сморщившемся вдругъ лицѣ Ивана Ивановича, сквозь неожиданно-веселую улыбку, показалось выраженіе, свойственное человѣку, когда его хотятъ угостить пріемомъ olei ricini.

— Когда Иванъ Ивановичъ подвергается своей линіи, —обратился ко мнѣ Левинъ, поднявъ кверху брови съ хитрымъ и добродушно-веселымъ выраженіемъ,—онъ тогда не ѣстъ мяса... на философскомъ основаніи.

— Отчего это, Иванъ Ивановичъ?

Старикъ сконфузился.

— Видите ли... я тогда вспоминаю микроскопъ Тицнера. Вы видали? Помните, какъ тамъ въ каплѣ воды, у васъ на глазахъ, рождаются, издыхаютъ, поѣдаютъ другъ друга тысячи инфузорій? Вотъ и мы, люди, также поѣдаемъ другихъ животныхъ. И когда вспомнишь это живо, не лѣзетъ кусокъ въ горло, и питаешься тогда акридами и дикимъ медомъ — молокомъ, хлѣбомъ, чѣмъ-нибудь растительнымъ. А иногда и вовсе ничего не ѣшь, — сказалъ Иванъ Ивановичъ и покраснѣлъ.

— Да что объ этомъ говорить! Лучше скажите, о чемъ вы тутъ бесѣдовали съ юношей?

— Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Да все о томъ же, о вчерашнемъ. Разсказывалъ, какъ я раскаялся.

— Пожалуйста, продолжайте. Я, въ наказаніе за то, что опоздалъ, буду не только слушать и стараться понимать, но еще догадываться о томъ, чего не слыхалъ.

— Да... я началъ говорить, что, не найдя удовлетворенія въ вѣрѣ людей моего круга, я сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ народа было тоже христіанское, какъ вѣроученіе мнимо-вѣрующихъ изъ нашего круга. Но многое въ жизни вѣрующихъ нашего круга было противорѣчіемъ ихъ вѣрѣ, а вся жизнь людей вѣрующихъ и трудящихся была подтвержденіемъ того смысла жизни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ вглядываться въ жизнь и вѣрованіе этихъ людей, и чѣмъ больше я вглядывался, тѣмъ больше убѣждался, что у нихъ была настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для нихъ и одна даетъ имъ смыслъ и возможность жизни. Въ противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишенія и страданія, эти люди принимали болѣзни и горести безъ всякаго недоумѣнія и противленія, а съ спокойною и твердою увѣренностью въ томъ, что все это должно быть и не можетъ быть иначе, что все это — добро. Въ противоположность тому, что чѣмъ мы умнѣе, тѣмъ менѣе понимаемъ смыслъ жизни и видимъ какую-то злую насмѣшку въ томъ, что мы страдаемъ и умираемъ, эти люди живутъ, страдаютъ и приближаются къ смерти съ спокойствіемъ, чаще же всего съ радостью. И я оглянулся шире вокругъ себя. Я вглядѣлся въ жизнь прошедшихъ и современныхъ огромныхъ массъ

людей. И я увидѣлъ такихъ, понявшихъ смыслъ жизни, умѣющихъ умирать,—не двухъ, трехъ, десять, а сотни, тысячи, милліоны. И всѣ они, безконечно различные по своему нраву, уму, образованію, положенію, всѣ одинаковы и совершенно противоположно моему невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, спокойно трудились, переносили лишенія и страданія, жили и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро. И я полюбилъ этихъ людей...

Слезы выступили на глазахъ Левина, и онъ остановился и долго не могъ справиться съ своимъ волненіемъ. Ивановъ слушалъ его съ такимъ выраженіемъ, какъ будто жизнь его зависѣла отъ того, что̀ будетъ сказано Левинымъ дальше.

— И чѣмъ больше я вникалъ въ ихъ жизнь, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить, — продолжалъ Левинъ, оправившись.—Я жилъ такъ два года, и со мной случился переворотъ, который давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только опротивѣла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, наука и искусство — все это представилось мнѣ однимъ баловствомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія же трудящагося народа, творящаго жизнь, представились мнѣ единымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его...

Вдругъ я замѣтилъ, что Левинъ пристально и сурово смотритъ въ глаза своему другу, а тотъ сидитъ съ выраженіемъ человѣка, который въ ослѣпленіи долго дѣлалъ что-то очень дурное и потомъ вдругъ, сразу, неожиданно понялъ, наконецъ, что онъ преступникъ. Я смотрѣлъ на нихъ и ничего не понималъ.

— Я вспомнилъ, — говорилъ Левинъ сухимъ и строгимъ тономъ, не спуская глазъ съ Ивана Ивановича, — я вспомнилъ, какъ тѣ же самыя вѣрованія отталкивали меня и казались безсмысленными, когда ихъ исповѣдывали люди, жившіе противно этимъ вѣрованіямъ, и какъ эти же самыя вѣрованія привлекли меня и показались мнѣ разумными, когда я видѣлъ, что люди живутъ по нимъ. Я вспомнилъ это и понялъ, почему я *тогда* откинулъ эти вѣрованія, почему нашелъ ихъ безсмысленными, почему *теперь* принялъ ихъ и нашелъ полными смысла. Я понялъ, что я заблудился тогда и — какъ я заблудился. Я *заблудился* не столько оттого, что неправильно мыслилъ, сколько

оттого, что я жилъ дурно. Я понялъ, что истину закрыло отъ меня не столько заблужденіе моей мысли, сколько самая жизнь моя въ тѣхъ исключительныхъ условіяхъ эпикурейства, удовлетворенія похотямъ, въ которыхъ я провелъ ее. Я понялъ, что мой вопросъ о томъ, что̀ есть моя жизнь и отвѣтъ: зло — былъ совершенно правиленъ. Неправильно было только то, что отвѣтъ, относящійся только ко мнѣ, я отнесъ къ жизни вообще: я спросилъ себя, что̀ такое моя жизнь, и получилъ отвѣтъ: зло и безсмыслица. И точно, моя жизнь — жизнь потворства похоти — была безсмысленна и зла, и потому отвѣтъ: „жизнь зла и безсмысленна“ — относится только къ моей жизни, а не къ жизни людской вообще. Я жилъ въ избыткѣ, все у меня было, чего можетъ желать человѣкъ: свобода, независимость, деньги, имѣніе, здоровье, сила, талантъ, слава и, сверхъ всего этого, семейное счастіе. И эта жизнь избытка человѣческаго счастія не имѣла уже цѣли и была потому безсмысленна. Она вся была направлена на мое личное благо (я не говорю о семьѣ, потому что семья моя для меня —тотъ же я) и потому была эгоистична и зла. Она была совершенно такъ же безсмысленна и зла, какъ жизнь тѣхъ, которые страдаютъ оттого, что не имѣютъ славы, независимости, здоровья, денегъ, таланта, оттого, что не имѣютъ личнаго счастія и за свое страданіе ненавидятъ людей и жизнь, считаютъ жизнь человѣчества зломъ и безсмыслицей, еще находя дерзость увѣрять другихъ, что вѣруютъ въ Бога,—говорилъ Левинъ, возвышая голосъ и съ возрастающею суровостью глядя на Иванова.

Каждое слово Левина какъ будто молотомъ огромнымъ било Ивана Ивановича. Онъ вздрагивалъ отъ каждаго слова своего друга. Онъ сидѣлъ, широко раскрывъ глаза, краснѣя все больше и больше и закрывъ лицо руками.

Левинъ вдругъ смягчился. Лобъ и брови разгладились, глаза и лицо просвѣтлѣли, и, замолчавъ, смотрѣлъ на своего друга съ любовью и кротостью. Потомъ онъ заговорилъ голосомъ тихимъ, какъ будто это не онъ, а голосъ его самъ отъ себя, прямо изъ сердца приносилъ его другу отраду и миръ.

— Я понялъ ту истину,—говорилъ этотъ голосъ,—я понялъ ту истину, что люди болѣе возлюбили тьму, нежели свѣтъ, потому что дѣла ихъ были злы. Ибо всякій, дѣлающій худыя дѣла, ненавидитъ свѣтъ и не идетъ къ свѣту, чтобы не обличились дѣла его. Я понялъ, что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная

жизнь была не безсмысленна и зла, а потомъ уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить и думать о жизни всего человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни... Эта истина всегда была истиной, какъ дважды два—четыре, но я не признавалъ ея, потому что, признавъ $2 \times 2 = 4$, я тѣмъ самымъ обязывался признать себя дурнымъ человѣкомъ, а чувствовать себя хорошимъ для меня было важнѣе, нежели признавать $2 \times 2 = 4$. Я полюбилъ хорошихъ людей, *возненавидѣлъ себя* и — призналъ истину. И все сразу ясно мнѣ стало... Возненавидѣть себя, забывать о себѣ, не думать о себѣ, любить другихъ — это одно средство, чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ... Птица существуетъ такъ, что она должна летать, собирать пищу, строить гнѣздо, и когда я вижу, что птица дѣлаетъ это, я радуюсь ея радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютъ такъ, что они должны кормиться, множиться, кормить свои семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твердое сознаніе, что они счастливы и жизнь ихъ разумна. И человѣкъ точно такъ же долженъ добывать жизнь, какъ и животныя, но съ тою огромною разницей, что онъ погибнетъ, добывая ее одинъ; онъ долженъ добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое сознаніе, что онъ счастливъ и жизнь его разумна. Если смыслъ человѣческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее, то какъ же я, проживъ паразитомъ тридцать лѣтъ сознательной жизни, могъ получить другой отвѣтъ, какъ тотъ, что жизнь моя есть безсмыслица и зло? Она и была безсмыслица и зло...

Левинъ замолчалъ и задумался. Ивановъ, отнявъ руки отъ мокраго лица и покраснѣвшихъ глазъ, смотрѣлъ на Левина съ мольбой и надеждой.

— Константинъ Дмитричъ, — сказалъ онъ голосомъ робкимъ и нетвердымъ, — но зачѣмъ же эта борьба за существованіе въ мірѣ человѣка и животныхъ? Зачѣмъ волкъ поѣдаетъ козу и зайца? Зачѣмъ мы охотимся на волковъ? Зачѣмъ ястребъ поѣдаетъ ласточекъ и цыплятъ? Зачѣмъ мы убиваемъ ястреба и гоняемъ его, чтобъ онъ не мѣшалъ намъ ѣсть цыплятъ съ зеленью и крупой? Зачѣмъ люди убиваютъ другъ друга?.. Я готовъ признать, что я—зло и что поэтому я считаю жизнь зломъ. Но какъ же быть въ виду этой, внѣ меня столь несомнѣнной, истины? Какъ быть въ виду того факта, что міръ въ каждое мгновеніе своего

существованія есть поле битвы, гдѣ поминутно одни погибаютъ въ изнеможеніи, другіе побѣждаютъ и рождаютъ новыхъ существъ, которыя въ слѣдующій моментъ продѣлываютъ другъ съ другомъ то же самое? И каждый разъ одно и то же. Перемѣняются платья, моды, культура, породы людей и животныхъ, а суть все та же и та же. Зачѣмъ же все это? Неужели это не зло, не безсмыслица?— говорилъ со слезами отчаянія въ голосѣ несчастный старикъ.

Лицо Левина опять потемнѣло. Опять голосъ его сдѣлался сухимъ и суровымъ.

— Чтобъ имѣть надежду понять смыслъ той воли, которая управляетъ жизнью міра, надо прежде всего исполнять ее, дѣлать то, чего отъ насъ хотятъ. А если я не буду дѣлать того, чего хотятъ отъ меня, то и не пойму никогда и того, чего хотятъ отъ меня, а ужъ тѣмъ менѣе—чего хотятъ отъ всѣхъ насъ и отъ всего міра... Если голаго, голоднаго, нищаго взяли съ перекрестка, привели въ крытое мѣсто прекраснаго заведенія, накормили, напоили и заставили двигать вверхъ и внизъ какую-то палку, то очевидно, что прежде чѣмъ разбирать, зачѣмъ его взяли, зачѣмъ двигать палкой, разумно ли устройство всего заведенія,— нищему прежде всего нужно двигать палкой. Если онъ будетъ двигать палкой, тогда онъ пойметъ, что палка эта движетъ насосъ, что насосъ накачиваетъ воду, что вода идетъ по грядкамъ; тогда его выведутъ изъ крытаго колодца и поставятъ на другое дѣло; и онъ будетъ собирать плоды и войдетъ въ радость господина своего и, переходя отъ низшаго дѣла къ высшему, все дальше и дальше понимая устройство всего заведенія и участвуя въ немъ, никогда не подумаетъ спрашивать, зачѣмъ онъ здѣсь, и ужъ никакъ не станетъ упрекать хозяина. Такъ и не упрекаютъ хозяина тѣ, которые дѣлаютъ его волю, люди простые, рабочіе, неученые, а мы, вотъ, мудрецы, ѣсть ѣдимъ все хозяйское, а дѣлать не дѣлаемъ того, чего хочетъ отъ насъ хозяинъ, и, вмѣсто того, чтобы дѣлать, сѣли въ кружокъ и разсуждаемъ: „Зачѣмъ это двигать палкой? Вѣдь это глупо!“ Вотъ и додумались. Додумались до того, что лишь мы умны, только чувствуемъ, что никуда не годимся и надо намъ какъ-нибудь самимъ отъ себя избавиться...

Голосъ Левина дрожалъ отъ негодованія, и онъ, почти съ презрѣніемъ взглянувъ на своего стараго друга, всталъ, потянулся и прошелся по балкону. Ивановъ, сморщивъ лобъ, усиленно думалъ. Меня удивило, что рѣзкій тонъ и слова Левина не только не сердили его, а какъ будто даже были ему пріятны.

— Пойдемте, господа, пройтись немножко, — сказалъ Левинъ. — Вотъ тамъ, за рѣчкой, есть прелестныя мѣста. — И онъ, улыбаясь, поводилъ рукой по спинѣ своего сконфуженнаго друга. Мы оба съ удовольствіемъ согласились, тѣмъ болѣе, что всѣ въ домѣ, судя по шуму и голосамъ, уже проснулись, и дамы съ дѣтьми каждую минуту могли войти и помѣшать разговору, который становился все интереснѣе и серьезнѣе. Къ тому же для Иванова, съ его заплаканнымъ лицомъ и жалкимъ видомъ, появленіе новыхъ лицъ могло быть непріятно и въ другомъ отношеніи.

XXVI.

Мы прошли садъ и спустились черезъ поле, мимо небольшой рощи, къ рѣкѣ, переправились черезъ дрожащій мостикъ и пошли къ виднѣвшемуся вдали большому лѣсу. Собесѣдники мои молчали; они полны были мыслями и шли съ серьезными лицами. Но для меня прелестный ландшафтъ былъ новъ, и весеннее утро въ Россіи, въ деревнѣ, такъ было отрадно, что я ни о чемъ не думалъ и просто радовался тому, что еще существую и еще на родинѣ.

— Я боюсь, — сказалъ наконецъ Левинъ, — не будетъ ли вамъ далеко идти къ большому лѣсу, господа? Впрочемъ, мы такъ много разговаривали, что пройтись, какъ слѣдуетъ, будетъ полезно. Мнѣ очень бы хотѣлось его увидѣть. Я давно въ немъ не былъ, а онъ особенно дорогъ мнѣ по воспоминаніямъ о томъ, что̀ мнѣ тамъ открылось въ шумѣ деревьевъ въ тотъ памятный мнѣ годъ, когда сердце мое непрестанно томилось мучительнымъ чувствомъ, которое я не могу назвать иначе, какъ исканіемъ Бога. Я говорю, что это исканіе было не разсужденіе, а чувство, потому что это исканіе вытекало не изъ мыслей моихъ, а изъ сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь. Сердцемъ искалъ Бога, надѣясь, что найду Его, обращался, по старой привычкѣ, съ мольбой къ Тому, Кого я искалъ и не находилъ. То я провѣрялъ въ умѣ доводы Канта и Шопенгауера о невозможности доказательства бытія Божія, то начиналъ опровергать ихъ. „Причина, — говорилъ я себѣ, — не есть такая же категорія мышленія, какъ пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина и причина причинъ“. И я останавливался на этой мысли и старался всѣмъ существомъ со-

знать присутствіе этой причины. И какъ только я сознавалъ, что есть сила, во власти которой я нахожусь, такъ тотчасъ же чувствовалъ возможность жизни. Помню, однажды,—это было раннею весной, — я одинъ былъ въ томъ лѣсу и прислушивался къ звукамъ лѣса, говорившимъ что-то задумчиво-торжественное и прекрасное. Я прислушивался къ спокойно-величественной музыкѣ звуковъ, а самъ съ тревогой и болью думалъ все объ одномъ, какъ я постоянно все объ одномъ и томъ же думалъ эти послѣдніе годы. Я опять искалъ Бога. Я говорилъ себѣ: „Хорошо! Нѣтъ никакого Бога, нѣтъ такого, который бы былъ не мое представленіе, но дѣйствительность, такая же, какъ вся моя жизнь, — нѣтъ такого. Хорошо! Но понятіе мое о Богѣ, о томъ, котораго я ищу, понятіе-то это откуда взялось?“ И опять при этой мысли во мнѣ поднялись радостныя волны жизни. Все вокругъ меня ожило, получило смыслъ. Но радость моя продолжалась недолго. Умъ продолжалъ свою работу. „Понятіе Бога—не Богъ. Понятіе есть то, что̀ происходитъ *во мнѣ;* понятіе о Богѣ есть то, что̀ я могу возбудить и могу не возбудить въ себѣ. Это не то, чего я ищу. Я ищу того, безъ чего бы не могла быть жизнь“. И опять все стало умирать вокругъ меня и во мнѣ, и опять мнѣ захотѣлось убить себя... Но и тутъ я оглянулся на самого себя, на то, что происходитъ во мнѣ, и вспомнилъ всѣ эти, сотни разъ происходившія во мнѣ, умиранія и оживленія. Я вспомнилъ, что я жилъ только тогда, когда вѣрилъ въ Бога. Какъ было прежде, такъ и теперь сказалъ я себѣ: сто̀итъ мнѣ знать о Богѣ — и я живу; сто̀итъ забыть, не вѣрить въ Него — и я умираю. Что же такое эти оживанія и умиранія? Вѣдь я не живу, когда теряю вѣру въ существованіе Бога; вѣдь я бы давно уже убилъ себя, если бъ у меня не было надежды найти Его. Вѣдь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. И сильнѣе чѣмъ когда-нибудь все освѣтилось во мнѣ и вокругъ меня, и свѣтъ этотъ уже не покидалъ меня. И я спасся отъ самоубійства... Какъ незамѣтно уничтожилась во мнѣ сила жизни, и я пришелъ къ невозможности жить, къ остановкѣ жизни, къ потребности самоубійства, такъ же постепенно и незамѣтно возвратилась ко мнѣ теперь эта жизненная сила. И странно, что она была не новая, а самая старая — та самая, которая влекла меня на первыхъ порахъ моей жизни. Я вернулся во всемъ къ самому прежнему, дѣтскому и юношескому. Я вернулся къ вѣрѣ въ ту волю, которая произвела меня и чего-то хочетъ отъ меня; я вернулся къ

тому, что главная и единственная цѣль моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. е. жить согласнѣе съ этою волей; я вернулся къ тому, что выраженіе этой воли я могу найти въ томъ, что̀, въ скрывающейся отъ меня дали, выработало для руководства своего все человѣчество, т. е. я вернулся къ вѣрѣ въ Бога, въ нравственное совершенствованіе и въ преданіе, передававшее смыслъ жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято безсознательно, теперь же я зналъ, что безъ этого я не могу жить...

Левинъ долго еще говорилъ, но я не слыхалъ почти дальнѣйшихъ его словъ. Его разсказъ о томъ, какъ онъ вернулся къ вѣрѣ, ко всему дѣтскому, такъ запалъ мнѣ въ душу, что я все думалъ о немъ и не слыхалъ продолженія, относившагося къ разнымъ современнымъ проявленіямъ вѣры въ образованныхъ и достаточныхъ классахъ. Это было очень интересно,—то, что̀ онъ говорилъ дальше, но оно касалось возможнаго и желаемаго, но далекаго будущаго, а въ настоящемъ, относясь къ нему заслуженно-строго, давало только осужденіе. Впрочемъ, тогда, въ тѣ минуты, я и не могъ бы всего себѣ объяснить. Я чувствовалъ лишь то, что̀ часто случалось со мною, когда я слушалъ хорошую музыку. Слушая музыку или музыкальный голосъ, я, въ качествѣ профана, пропускаю разныя интродукціи и все то, чего я не могу понять, и жду только тѣхъ звуковъ мелодіи, которые сами придутъ въ мою душу, сами неслышно для меня вынутъ изъ нея ея горе и радость, ея вѣру и сомнѣнія, ея надежды и отчаянія, и облегчатъ ихъ, и помогутъ тому, что̀ въ нихъ есть чистаго, добраго и высокаго — отдѣлиться отъ зла, мути и низменности, которыя составляю я весь, забыть себя для чего-то лучшаго и возвыситься надъ собою на нѣсколько счастливыхъ мгновеній. Тогда бываешь счастливъ и слушаешь все тотъ же звукъ, который въ дѣйствительности давно уже исчезъ въ безконечномъ пространствѣ, давно смѣнился другимъ, а ты все боишься разстаться съ нимъ и уходишь душою въ тотъ, всегда далекій и вдругъ приблизившійся міръ, который былъ вызванъ этимъ сладкимъ, удивительнымъ звукомъ. Тогда неспособенъ слышать того, что̀ дальше поетъ или играетъ великій артистъ. Пусть онъ себѣ тамъ поетъ, что̀ хочетъ, или играетъ, пусть слушаютъ его другіе и рукоплещутъ ему, но тебѣ можно не слышать ихъ дальше: вѣдь для тебя цѣль артиста имъ уже достигнута; вѣдь твоя душа полна уже невозвратимою, мучительною болью и сладостью

счастія. И разсказъ Левина о томъ, какъ онъ опять сталъ вѣрить, опять въ 50 лѣтъ сталъ ребенкомъ, какъ онъ исполнилъ завѣтъ Христа, говорившаго, чтобы всѣ мы были какъ дѣти, — былъ для меня почему-то такою же небесною, такою же невозвратно-счастливою музыкой. Я вслушивался въ нее, пока она еще отъ меня не ушла, и, слушая ея звуки, вглядывался въ то жесткое и тяжелое, что̀ отъ дѣйствія ея размягчающихъ, облегчающихъ звуковъ выходило изъ грязнаго, глубокаго, темнаго дна и, уносясь вверхъ, становилось безтѣлесно-легкимъ, золотисто-свѣтлымъ и прекраснымъ. Я вспоминалъ все, что̀ прожилъ душой, всѣ ея невозвратно пропавшія радости, всѣ ея безцѣльно разбитыя надежды — и всѣ онѣ вдругъ получали неожиданное примиреніе и смыслъ. Я вспоминалъ все, чему учился, все, что̀ читалъ, стараясь узнать мысли давно прошедшихъ людей и вѣковъ—и разрозненное, отрывочное, мучительно-безцѣльное знаніе получало впервые значеніе и свѣтъ. Я вспоминалъ ту горечь и раздраженіе, которыя возбуждало во мнѣ зрѣлище нашего вѣка — вѣка вещественнаго прогресса и духовнаго разложенія, казавшагося мнѣ безнадежнымъ, — и я начиналъ вѣрить опять, что онъ пройдетъ и настанетъ скоро другой, въ которомъ уже не будетъ убійствъ, сумасшествія и смерти отъ голода и злобы. О, они, наконецъ, перестанутъ убивать другъ друга душой и тѣломъ! Они перестанутъ презирать и ненавидѣть любовь и искать красиваго, веселаго зла; перестанутъ вырывать изъ рукъ другъ у друга лишнюю кость, лишнюю корку хлѣба! Они перестанутъ отдѣлять себя отъ природы и Бога, перестанутъ гордиться, болѣть, сумасшествовать, умирать душою въ своемъ эгоистическомъ одиночествѣ!.. Я думалъ объ этомъ и не слыхалъ словъ Левина, хотя они были полны глубокой мысли, глубокаго чувства. Я думалъ— и не замѣтилъ, сколько времени и какими мѣстами мы шли. Я очнулся отъ счастливой мечты только въ лѣсу, гдѣ мы, какъ оказалось, сидѣли всѣ трое на старыхъ, полусгнившихъ пняхъ давно прорубленной, поросшей молодыми, довольно уже высокими деревьями, просѣки. Всѣ молчали. Левинъ сидѣлъ, поднявъ голову, и вглядывался въ верхушки старыхъ деревьевъ, и на лицѣ его было что-то такое же тихое, задумчивое и торжественное, какъ высокія, важныя сосны. Ихъ голоса тоже были музыка, и музыка ихъ говорила о томъ же мірѣ и счастіи людямъ, которыхъ обѣщаніе слышалось мнѣ въ разсказѣ стараго Левина. Голоса сосенъ, уносимые вѣтромъ, раздавались далеко, какъ будто онѣ стояли не

тутъ, близко такъ надъ нами. Но иногда стихавшій вѣтеръ дѣлалъ слышными ихъ голоса, и тогда онѣ какъ будто говорили: „Мы стоимъ здѣсь давно, когда васъ никого еще не было на свѣтѣ, но люди были уже; вы умрете, и любовь ваша, и злоба, и слава ваша исчезнутъ, а мы все еще будемъ стоять,—и нѣтъ у насъ ни любви, ни злобы, а есть вѣковая красота и слава; но пройдутъ вѣка, и мы упадемъ, и поднимутся вершины нашихъ дѣтей, и они съ вѣками тоже падутъ, а вѣчная душа наша—созидающая насъ вѣчная природа и Богъ, вѣчно живущій надъ ней, пребудутъ вѣчно. И вы, рождаясь на мгновеніе, живите, познавая вѣчную общую душу природы—вѣчнаго Бога, и умрите съ вѣрой, что останетесь въ природѣ и въ Богѣ. И не старайтесь увидѣть ихъ умомъ и глазами, потому что слабы глаза ваши, и умъ вашъ безсиленъ; но сердцемъ вашимъ всевѣдущимъ, но душою вашею вѣчною слушайте наши голоса, голоса всей великой вѣчной природы—и въ звукахъ ея неумирающей музыки услышите красоту, истину и добро, и утишатся страсти ваши, и познаете любовь, и въ ней познаете вѣчнаго Бога,—узнаете Бога, узнаете вѣчнаго Бога... вѣчнаго Бога... Бога...“,—умолкая, тихо и торжественно замирая и опять, съ усиленіемъ вѣтра, переходя въ неразборчивый гулъ, говорили голоса огромнаго прекраснаго стараго лѣса. Я слушалъ ихъ, и недавнее чувство боязни потерять преходящее счастіе возвышенной мысли исчезало во мнѣ, замѣняясь чѣмъ-то еще болѣе счастливымъ, чуждымъ страха утраты, спокойнымъ и мирнымъ. Несчастный Ивановъ сидѣлъ, согнувши свое хилое тѣло, и слезы стояли въ его прекрасныхъ глазахъ. Левинъ тихо и задумчиво улыбался.

— Да, то же самое говорили онѣ, эти сосны, тогда, когда я пришелъ къ нимъ три года назадъ, когда я искалъ еще Бога, и голоса ихъ нечувствительно для меня помогли мнѣ найти Его... Но что же это вы все молчите?—спросилъ Левинъ, обращаясь ко мнѣ.—Положимъ, здѣсь такъ хорошо, что говорить не хочется; но, вѣдь, вы постоянно молчите. Вотъ мы съ Иваномъ Ивановичемъ много говоримъ, особенно я, а васъ и не слышно. Что жъ это такъ? Вы разговаривайте, а то мы подумаемъ, что вы самолюбивый и недобрый человѣкъ, что молчите, или что вы и слушать насъ не хотѣли,—говорилъ Левинъ, шутливо улыбаясь.—Скажите, что вы думаете обо всемъ, что̀ я разсказывалъ вчера и сегодня? Только искренно и откровенно говорите то, что̀ вы думаете.

— Мнѣ трудно это очень, Константинъ Дмитричъ. И не потому, чтобъ я не слыхалъ или былъ невнимателенъ: напротивъ, именно потому, что я слишкомъ вжился въ ваши мысли, въ ваши слова, во всю вашу жизнь. Я такъ сжился съ ними, что я не всегда могу даже различить, гдѣ кончается въ душѣ моей то, что̀ я пріобрѣлъ отъ васъ, и гдѣ начинаются мои собственныя мысли. Я не могу сказать, чтобъ я кралъ ваши мысли: нѣтъ, я принимаю въ нихъ лишь то, что̀ проще, яснѣе и лучше выражало мое давнее темное, неясное предчувствіе. Но все-таки я такъ объединился съ вами душой, что мнѣ не всегда легко стать къ вамъ бокомъ и судить васъ. Это одно. А потомъ, когда я получаю способность относиться къ вамъ критически, тогда со мною случается новая бѣда: тогда я слишкомъ страстно, слишкомъ строго отрицаю въ васъ то, чему не сочувствую или что̀ считаю заблужденіемъ. Я бы не сказалъ этого другому, но вы лучше меня знаете человѣческое сердце, и вамъ я не боюсь сознаться ни въ чемъ Вы знаете, конечно, что когда истинно любишь человѣка, то не только не бываешь къ нему снисходителенъ, но, напротивъ, становишься къ нему строгъ, черезчуръ, непріятно для самого даже себя, придирчивъ къ нему и требовательно-строгъ. Когда любишь человѣка, когда бываешь счастливъ отъ звуковъ его голоса, когда онъ возводитъ тебя за собою на очень высокую высоту, малѣйшее его отступленіе внизъ оскорбляетъ тебя, и ты, осуждая, становишься небезпристрастенъ и часто неправъ. Я часто замѣчаю это въ себѣ по отношенію именно къ тѣмъ писателямъ, которыхъ я особенно горячо люблю, напримѣръ, къ Тургеневу, къ Достоевскому, къ Щедрину, но всего болѣе къ вамъ, потому что васъ я больше всѣхъ, я слишкомъ люблю васъ, Константинъ Дмитричъ. И потому, когда я порицаю васъ. я слишкомъ рѣзко тогда говорю. И объ этомъ вы прежде всего должны знать, чтобы, слушая меня, на меня не сердиться,—по крайней мѣрѣ не слишкомъ сердиться, потому что эта рѣзкость выходитъ не изъ злобы, а изъ слишкомъ горячей къ вамъ любви... Большинство людей смотритъ на эти вещи иначе. Оно говоритъ: любовь есть источникъ пристрастныхъ, незаслуженныхъ похвалъ. Это мнѣніе всегда меня ужасно возмущало. Прежде всего любовь исходитъ изъ того, что̀ ее заслуживаетъ, изъ того, что̀ прекрасно. За что всѣ мы любимъ Пушкина, Гоголя, Тургенева?—за то, конечно, что творенія ихъ прекрасны, за то, что въ душахъ ихъ, откуда ихъ творенія вышли, жили высокіе прекрасные звуки. Если бъ эти люди жили еще на свѣтѣ,

если бъ они были доступны, я тоже приходилъ бы испытывать ихъ не за имя, а за ихъ чудные звуки, отъ которыхъ душа моя наполнялась восторгомъ и счастіемъ. Я бы тоже приходилъ къ нимъ узнавать, такъ же ли прекрасна и остальная душа ихъ, какъ тѣ ея всѣмъ слышные, всѣмъ доступные звуки. И если бъ я убѣдился, что душа ихъ достойна ихъ звуковъ, я бы любилъ ихъ въ ихъ цѣломъ—ихъ звуки, ихъ душу, ихъ лица, ихъ голосъ; я бы любилъ ихъ живою любовью, какъ живыхъ и самыхъ драгоцѣнныхъ для меня изъ живущихъ на свѣтѣ людей. И, радуясь въ душѣ моей живому сочетанію добра и силы, которое въ человѣческой природѣ такъ рѣдко, я бы опять былъ на мгновеніе счастливъ, опять забывалъ бы ничтожество и злобу, живущія во мнѣ и во всемъ, меня окружающемъ. И, привыкая къ истинному и чистому счастію, я бы становился все болѣе и болѣе строгимъ къ тѣмъ, кто давалъ его мнѣ, и съ возрастающею страстностью ненавидѣлъ бы въ немъ всѣ тѣ его отдѣльные звуки, которые сами по себѣ не прекрасны и не могли бы сдѣлать меня самого счастливымъ и чистымъ. Ахъ, право, любовь есть источникъ совсѣмъ не пристрастія и попущеній, а напротивъ — чрезмѣрной даже, можетъ-быть, строгости... И изъ вашихъ печатныхъ созданій ни одно не волновало меня такъ, ни одно не было для меня источникомъ такого высокаго счастія, какъ этотъ вашъ изустный разсказъ, ничто не возбуждало во мнѣ бо̀льшей къ вамъ строгости, чѣмъ то, что̀ я слышалъ отъ васъ вчера и сегодня... Прикажете продолжать?—говорилъ я съ удивившимъ меня самого раздраженіемъ.

Левинъ слушалъ внимательно. Брови его были очень нахмурены, но глаза были свѣтлы и оживленны. Онъ съ достоинствомъ отвѣчалъ:

— Да, конечно, мнѣ нравится, что̀ вы говорите.

XXVII.

— Я совершенно раздѣляю ваше мнѣніе о томъ, что у огромнаго большинства вѣрующихъ людей вѣра не участвуетъ въ ихъ жизни, а исповѣдывается гдѣ-то вдали отъ жизни и независимо отъ нея, точно такъ же какъ и у большинства невѣрующихъ идеалы, замѣняющіе вѣру, стоятъ въ сторонѣ отъ жизни, и практическая дѣятельность ихъ и нравственный тонъ имъ не соотвѣт-

ствуютъ. Это очень тонкое и очень вѣрное наблюденіе. Если противъ него можно что-либо возразить, такъ развѣ указаніемъ на то, что къ раздвоенію жизни между идеалами и вѣрой, съ одной стороны, и практическою дѣятельностью — съ другой, ведетъ не только неискренность, лживость и нецѣльность людей, но и общее ихъ несовершенство — ихъ неспособность осуществить въ собственной жизни то идеальное начало, которое составляетъ отдаленную часть жизни и развитія всего человѣчества. Я согласенъ также и съ тѣмъ, еще болѣе глубокимъ, замѣчаніемъ вашимъ о томъ, что стремленіе къ безусловной чистотѣ жизни часто оставляетъ человѣка почти одинокимъ среди большинства образованныхъ и достаточныхъ людей, поклоняющихся началу, вынесшему ихъ на поверхность теченія, т. е. силѣ и случаю, благодаря которымъ они ею овладѣли, особенно въ томъ кругѣ, жизнь котораго преслѣдуетъ одну лишь цѣль — легкаго, веселаго и тонкаго наслажденія. Родившись, воспитавшись, живя среди людей этого круга, вы, дѣйствительно, были одиноки съ вашею наклонностью относиться къ нравственнымъ идеаламъ съ безусловною послѣдовательностью и строгостью. Но вы приходили въ соприкосновеніе съ людьми другихъ круговъ, вы съ дѣтства уже сталкивались съ трудовыми и хорошими людьми изъ образованныхъ и изъ народа. И это обстоятельство, о которомъ вы забыли въ вашемъ разсказѣ, лишаетъ силы вашъ аргументъ одиночества, ограничиваетъ его. Вы, еще съ дѣтства пріучаясь любить простыхъ людей, не искали, а предпочтительно желали сочувствія не отъ нихъ, а отъ тѣхъ, которые, по вашимъ словамъ, хвалили и поощряли въ васъ страсти и поклоненіе силѣ и къ вашимъ нравственнымъ стремленіямъ относились съ презрѣніемъ и насмѣшкой. Среди *этихъ* людей вы были одиноки, но не среди всѣхъ людей. Годы вашей молодости были временемъ духовнаго расцвѣта Россіи. Тогда было много людей, быть-можетъ неумѣло, но все же горячо и искренно стремившихся къ истинѣ и добру. И потому слова объ одиночествѣ не хорошо дѣйствуютъ на слухъ, отзываясь чѣмъ-то аристократическимъ и капризнымъ. Это тѣмъ болѣе странно, что, за исключеніемъ этой мысли, весь вашъ разсказъ представляетъ противоположную крайность — скорѣе склонность осудить себя въ прошломъ безусловно, чѣмъ къ какой-либо снисходительности. Потомъ, тутъ есть проявленіе вашей постоянной черты — склонности къ безусловному. Вамъ недостаточно стремленія къ

добру: вы требовали отъ другихъ, чтобъ и пути къ добру у нихъ были тѣ, по которымъ инстинктивно шли вы сами и которые были, конечно, короче и вѣрнѣе. Поэтому, если я что-нибудь тутъ возражалъ, то болѣе противъ формы вашего разсказа, касающагося многихъ глубокихъ вопросовъ лишь вскользь, открывая тѣмъ возможность обвиненіямъ въ парадоксальности, въ большинствѣ случаевъ въ сущности невѣрнымъ. Ваши слова о томъ, что ваша молодость, проведенная въ упражненіяхъ индивидуальной силы, въ страстяхъ, бывшая воплощеннымъ противорѣчіемъ основному принципу христіанской нравственности—началу любви, отреченія отъ личности, и потому бывшая однимъ сплошнымъ преступленіемъ, вызывала, однако, къ вамъ уваженіе окружающихъ, — эта мысль трогаетъ меня не только искренностью, по и глубиной своего содержанія. Между тѣмъ она выражена у васъ такъ коротко, въ такихъ сильныхъ выраженіяхъ, такъ мало разъяснена, что у многихъ можетъ вызвать впечатлѣніе парадокса. Это потому и досадно, что это—не парадоксъ, а чрезвычайно глубокая истина. Я очень радъ, что Иванъ Ивановичъ тогда высказалъ все, что̀ я могъ бы прибавить къ этимъ словамъ, но не рѣшился, боясь, что не въ силахъ буду передать моихъ мыслей. Да, люди въ большинствѣ живутъ не любовью, а силой,—не христіанствомъ, а Дарвиновскою борьбой за существованіе, и въ другихъ сочувствуютъ проявленіямъ началъ, составляющихъ принципъ ихъ жизни, всякимъ проявленіямъ силы. Оскорбленій не прощаютъ, а убиваютъ за нихъ; блаженными считаютъ не нищихъ духомъ, а надѣленныхъ всякими богатствами таланта, славы, денегъ, почестей, власти, счастія, силы. Это все такъ. И никто такъ глубоко этого не понимаетъ, какъ вы. Отчего же объ этомъ, о самомъ главномъ, вы говорили только вскользь? Отчего вы не развили той мысли, которая составляетъ основаніе всѣмъ остальнымъ, какъ ихъ противоположеніе, какъ воплощеніе зла, противъ котораго вы боретесь своею любовью, своею проповѣдью любви? Вы говорите: „для того, чтобъ имѣть славу и деньги, для которыхъ я писалъ, нужно было скрывать хорошее и высказывать дурное“... Здѣсь очень, очень глубокая, глубоко-печальная по своей вѣрности мысль. Но какъ парадоксально, какъ неясно вы ее сказали! Какъ долго нужно думать, чтобы понять, что̀ она означаетъ! Какъ тщательно и долго нужно сводить ее съ остальными частями вашего разсказа, чтобы постигнуть, что, дѣйствительно, въ литературѣ, а также и въ поэзіи, люди восхищаются не тѣми рѣдкими

проявленіями прощенія, состраданія, любви истинно-христіанской, а очарованіемъ и внѣшнимъ блескомъ внѣшней красоты, любви половой, любви условной, соединенной съ ненавистью и борьбой посредствомъ силы! Какъ долго нужно напрягать духъ, чтобы понять, что литература, искусство, поэзія, служа отраженіемъ дѣйствительной жизни, занимаются также лживою идеализаціей и того начала борьбы, на которой эта жизнь до сихъ поръ еще строится огромнымъ большинствомъ людей, несмотря на внѣшне-громадное распространеніе христіанства... Это вѣрно, это очень, очень вѣрно! Но такую глубокую мысль нужно высказывать во всеоружіи ея свѣта, чтобы голосъ, ее высказывающій, не былъ голосомъ вопіющаго въ пустынѣ, чтобы тупоуміе, ничтожество, эгоизмъ и злоба окружающихъ васъ бездарностей и невѣждъ не осмѣливались судить вашей глубокой идеи слегка, чтобы не давать имъ въ руки оружія, которымъ они могли бы осквернить вашу святыню и замедлить принятіе ея всѣми и въ такое время, какъ теперь, когда въ ней одной лежитъ спасеніе отъ всеобщей вражды, междоусобій, войнъ, убійствъ, смертей голодныхъ и преступленій.

Точно такой же характеръ глубины, вѣрнаго содержанія и внѣшней парадоксальности, кажущейся слабости, носитъ и все то, что̀ вы говорили о писателяхъ и объ ихъ „писательской вѣрѣ“. Вы хотѣли сказать, что писатели, поклоняясь идеѣ прогресса, пытались ее проповѣдывать, но при этомъ не знали самаго главнаго— въ чемъ лежитъ прогрессъ, какая его конечная цѣль; они не знали, въ чемъ зло и въ чемъ добро, не знали, чему надо учить людей, а между тѣмъ учили, не зная, чему они учатъ и чему надо учить. И всѣ учили разному. И вы съ ними. И это было сумасшествіе, потому что истина была тутъ рядомъ, а вы ея не замѣчали. Истина была ученіе Христа. И передъ нею проповѣдь прогресса была ничтожествомъ и безуміемъ. Опять это очень глубоко, очень вѣрно. И опять вы сказали это такъ странно, какъ будто все, что̀ ясно вамъ самому, должно моментально, безъ всякихъ съ вашей стороны усилій, быть принято всѣми. А другіе сейчасъ увидятъ крайность— обвиненіе всѣхъ писателей въ корыстолюбіи и славолюбіи, которыя были свойствомъ все же не безусловно общимъ: были люди чистые, и у другихъ, самыхъ низменныхъ, писателей все же была своя, хотя и не совершенная, но все же чистая для нихъ святыня. И за эту крайность ваши противники уцѣпятся сразу съ радостью, а глубокой и вѣрной стороны вашей мысли не поймутъ: такъ неясно, отвлеченно, такъ неподкрѣпленно, эксцентрично она у васъ

выражена. И мало того, она выражена еще съ раздраженіемъ. И не всѣ поймутъ, что раздраженіе ваше направлено вами противъ себя же, противъ своихъ прежнихъ заблужденій, что это—раздраженіе жаждущаго правды человѣка противъ всего того, что̀ мѣшало ему прежде достигнуть земли обѣтованной. Не всѣ это поймутъ, и многіе примутъ ваше раздраженіе на свой счетъ. И это, оскорбивъ ихъ, тоже помѣшаетъ вашей цѣли, которая, я знаю, одна дорога̀ вамъ... Тоже и разсказъ вашъ о школахъ и журналахъ, о томъ, что вы ѣздили за границу для пріобрѣтенія искусства, самому ничего не зная, учить другихъ. И тутъ опять глубокая, но эксцентрично, неясно выраженная мысль. Вы хотѣли сказать, что не знали конечной цѣли знанія, а потому и первоначальныя ступени знанія—грамота, педагогія—казались вамъ безцѣльными и безсмысленными. Вамъ все-таки хотѣлось учить, потому что инстинктъ неугомонно говорилъ, что истина доступна человѣку. Но вы не знали путей, ведущихъ къ ней, видѣли только несовершенство общепринятыхъ и существующихъ, своего же еще не могли изобрѣсти. И убѣдившись, что попали въ безвыходный кругъ, заболѣли. Это очень просто и понятно. И еще было бы проще, если бы вы прямо сказали, что не знали тогда, „чѣмъ люди живы", что вы тогда инстинктивно порывались къ христіанству, которое одно для васъ всегда было истиной въ сердцѣ, но еще отклонялись отъ него умомъ, что вся ваша жизнь, все ваше развитіе имѣло одинъ смыслъ, одну цѣль — возвращеніе къ христіанству. У графа Толстого въ *Аннѣ Карениной* это сказано о васъ гораздо яснѣе (а вы еще на него сердитесь!). Въ связи съ этимъ у васъ есть еще другая важная ошибка. Слушая вашъ разсказъ, можно подумать, что вы жили, жили долгіе годы, такъ себѣ, спустя рукава, и только на 50-мъ году вашей жизни явились у васъ эти вопросы: *„зачѣмъ?.. ну, а потомъ?"* Извините, это неправда. Эти вопросы *всегда* жили въ вашей душѣ. Они часто, постоянно даже, выражались во всей вашей дѣятельности, во всей вашей жизни, которой многочисленные и сложные фазисы, приблизившіеся теперь къ конечной ихъ цѣли, получаютъ глубокій и истинный смыслъ. И опять это объяснилъ мнѣ графъ Левъ Толстой, которымъ вы такъ несправедливо недовольны. Онъ давно слѣдилъ за вами, воспроизводилъ васъ подъ разными именами, и я давно уже зналъ о васъ по его сочиненіямъ. Еще когда вы были Колей Иртеньевымъ, когда вамъ было 14 лѣтъ и вы были влюблены въ горничную Машу, еще тогда вы стали себѣ задавать эти самые вопросы и получали способность

страдать и радоваться отъ мысли о нихъ. Уже тогда вы, вспоминая иногда о смерти, ожидающей васъ каждую минуту, недоумѣвали, какъ люди не понимаютъ той простой истины, что въ виду смерти можно быть счастливымъ только въ настоящемъ, только не думая о будущемъ, которое есть смерть,—и вы цѣлые дни лежали на постели, читая романы, заѣдая ихъ пряниками съ кроновскимъ медомъ и стараясь жить однимъ лишь наслажденіемъ минуты, совершенно какъ маленькій Соломонъ. Уже тогда вы инстинктивно отдавались потребности мечтательнаго скептическаго умствованія, рисовавшаго вамъ, что кромѣ васъ ничего другого не существуетъ въ мірѣ, и всѣ предметы—только ваше представленіе. Уже тогда, въ 14 лѣтъ, вы бывали счастливы и мучились надъ рѣшеніями этихъ вопросовъ, и изъ этого непосильнаго ребенку, неестественно-ранняго, тяжкаго душевнаго труда выносили непропорціональное развитіе анализирующей силы сознанія — мучительную привычку нравственной рефлексіи самоизслѣдованія, которая болѣзненно раздражала ваше врожденно-глубокое чувство и убивала способность яснаго и спокойно-восторженнаго размышленія. Уже въ „юности“ вы болѣли „любовью любви“, желаніемъ счастія, отвращеніемъ къ самому себѣ и порывами раскаянія, въ которыхъ вы безусловно отрицали все свое прошлое, какъ сегодня. Въ Люцернѣ, негодуя на лакеевъ, которые издѣвались надъ нищимъ музыкантомъ, на лордовъ, которые ничего не хотѣли дать ему изъ своихъ богатствъ, вы возставали противъ эгоизма, написаннаго на знамени цивилизаціи, вы еще сильнѣе негодовали на безсильную потребность своего ума къ абсолютнымъ рѣшеніямъ—и уже тогда непогрѣшимый голосъ всемірнаго духа заглушалъ для васъ шумное, торопливо-суетное движеніе прогресса, уже тогда вы видѣли, какъ онъ кротко смотрѣлъ съ своей свѣтлой, неизмѣримой высоты и радовался на безконечную гармонію, въ которой всѣ мы движемся съ кажущимся намъ безконечнымъ противорѣчіемъ. Вы тогда уже вступали душою въ область безконечнаго. Потомъ въ разсказѣ *Три смерти*... Тамъ нѣтъ никакого вымышленнаго вамъ подобія, но тамъ тоже было отраженіе вашей души въ величавомъ зрѣлищѣ мира, приносимаго смертью, въ томъ яркомъ восковомъ свѣтѣ, падавшемъ съ высокихъ серебряныхъ подсвѣчниковъ на блѣдный лобъ усопшей. Ваша душа отражалась въ строгомъ, величавомъ, холодномъ лбѣ покойницы, которая съ ея твердо сложенными устами, вся олицетворяя вниманіе, не двигаясь, въ торжественномъ молчаніи слушала слова: „Сокроешь лицо твое — смущаются, возьмешь отъ нихъ духъ —

умираютъ и въ прахъ свой возвращаются. Пошлешь духъ Твой— созидаются и обновляютъ лицо земли. Да будетъ Господу слава во вѣки". Ваша душа была тутъ, и я тогда первый разъ полюбилъ ее, я тогда первый разъ былъ счастливъ, слушая ея звуки, потому что она говорила о величіи Бога, и звукъ ея хвалы и славословія былъ чистый и прекрасный. И чистое его отраженіе слышалось также и въ пѣніи птицъ, которыя, помните, какъ потерянныя, щебетали что-то счастливое,—слышалось въ спокойномъ и радостномъ шопотѣ вершинъ, медленно и величаво шевелившихся надъ поникшимъ, мертвымъ, срубленнымъ деревомъ. Все это были звуки души, старавшейся услышать и передать гармонію божественной тайны. Да, вы уже тогда „искали Бога". Въ *Казакахъ*, когда вы были Дмитріемъ Оленинымъ, вы, правда, не искали Бога непосредственно, но и тогда, покланяясь природѣ, вы пытались отречься отъ себя и жить для другихъ, то-есть опять приближались къ той области, гдѣ живетъ сознаніе Бога. А *Война и миръ?* А князь Андрей и Безухій?.. Я теперь какъ во снѣ и не могу хорошенько этого разобрать, но я помню, что наяву я зналъ, что и Болконскій и Безухій были оба—вы: Болконскій - сухой вы, а Безухій тоже вы, но вы, когда вы бываете добрымъ и открытымъ всему міру. Князь Андрей тоже, какъ вы, переживалъ разныя фазы, и душа его также желала славы, любви къ женщинѣ, къ семьѣ, и отъ нихъ переходила къ истинѣ, къ Божьей любви—и нашла ихъ въ послѣднія мгновенія его жизни на землѣ. Пьеръ... онъ тоже искалъ правды и Бога, и тоже нашелъ ихъ въ лишеніи, въ страданіяхъ, въ счастіи... Извините, если я говорю такъ странно, но мнѣ кажется что я былъ тогда съ вами. Да, я былъ тогда съ вами, но вы меня не видали. Я больше всего любилъ васъ въ тотъ вечеръ, когда, помните, вы стояли на паромѣ и, ожидая перевоза, смотрѣли на красный отблескъ солнца въ синѣющей водѣ разлива. Въ эти минуты одна часть вашей души, утомленная отъ раздражающей жажды славы, власти, измученная житейскими разочарованіями, хотѣла не вѣрить въ счастіе истины и добра, а другая, лучшая часть ея упрекала ее въ эгоизмѣ и говорила ей, что она есть часть огромнаго гармоническаго цѣлаго, что она не исчезнетъ совсѣмъ, что надъ нею есть новая жизнь и что въ этомъ мірѣ все же есть правда. На перевязочномъ пунктѣ Бородинскаго поля, когда вы были смертельно ранены осколкомъ гранаты, вамъ было жаль убѣгающей жизни, потому что вы были полны тогда прощеніемъ и жалостью къ умирающему врагу; вы хотѣли жить для

любви къ ненавидящимъ васъ,—для той любви, которой учила васъ ваша сестра и которой вы прежде умомъ не понимали. Въ Мытищахъ, въ промежуткахъ предсмертнаго бреда, вы желали счастія одной лишь души, счастія любви, которая есть самая сущность души и которой ничто не можетъ разрушить, ни дажа самая смерть. Вы хотѣли любить этою новою любовью и ту, которую болѣе всѣхъ ненавидѣли, вы желали, чтобы вамъ было возможно еще разъ, одинъ только разъ, увидѣть ее, еще разъ только сказать ей снова о вашей любви. Тогда, въ эти часы страдальческаго уединенія и полубреда, чѣмъ болѣе вы вдумывались въ новое открывавшееся вамъ начало вѣчной любви, тѣмъ болѣе вы отрекались тогда отъ жизни земной и тѣмъ совершеннѣе уничтожали въ себѣ ту страшную преграду, которая безъ любви стоитъ между жизнью и смертью. Въ Троицкой лаврѣ, когда Наташа сидѣла около васъ и вы чувствовали, что снова незамѣтно вошедшая любовь къ женщинѣ привязывала васъ къ жизни, вы плакали о томъ, что истина жизни открылась вамъ для того, чтобы вы жили во лжи. И въ мысляхъ о Богѣ, о вѣчной любви, несмотря на ихъ утѣшительность, какъ это потомъ повторилось въ сегодняшнемъ вашемъ разсказѣ, было что-то слишкомъ односторонне-отвлеченное, не было очевидности, были тѣ же безпокойство и неясность. Но вотъ во снѣ вы увидѣли образъ приблизившейся смерти и проснулись; завѣса, до тѣхъ поръ скрывавшая предъ вами невѣдомое, была приподнята предъ вашимъ душевнымъ взоромъ, вы поняли, что смерть есть пробужденіе, пробужденіе отъ жизни, и съ той минуты вы охладѣли ко всему земному. Вы умерли просто и спокойно-прекрасно, но душа ваша осталась и устами Наташи и Маріи, благоговѣйно умиленныхъ таинственнымъ зрѣлищемъ смерти, она говорила, какъ и сегодня, что *это — должно быть, что это—хорошо,* т. е. что нужно жить и нужно умереть, и что это—хорошо, что это —добро. Это даже удивительно, что прежде иногда вы говорили буквально тѣми же словами, что̀ въ сегодняшнемъ, вчерашнемъ вашемъ разсказѣ. Вотъ и сейчасъ тоже. А когда вы были Пьеромъ Безухимъ и жили отставнымъ камергеромъ въ Москвѣ, такъ вы и тогда даже тѣ *вопросы* задавали себѣ именно теперешними словами. Вы поминутно съ недоумѣніемъ спрашивали себя: *къ чему, зачѣмъ? Что такое творится на свѣтѣ? Зачѣмъ* испанцы возсылаютъ мольбы Богу чрезъ католическое духовенство о томъ, чтобъ имъ 14 іюня побѣдить французовъ, и *зачѣмъ* французы черезъ то же католическое духовенство и тому же Богу молятся о томъ, чтобы

13 іюня имъ удалось побить испанцевъ? *Зачѣмъ* эта безсмыслица? *Зачѣмъ* эта ложь? *Гдѣ* истина? *Какъ* распутать этотъ ужасный жизненный узелъ? И какъ, будучи Оленинымъ на Кавказѣ, вы искали объясненія всему въ отреченіи отъ цивилизованной жизни и сліяніи съ людьми, живущими жизнью естественною и простою, съ жизнью казаковъ, такъ и тогда, будучи Пьеромъ, вы у солдатъ-ополченцевъ учились *понимать волю Бога, исполняя ее,* и отрицаясь своего внѣшняго человѣка, учились просто *сопрягать безконечнаго Бога со своимъ конечнымъ я,* какъ это вы говорили намъ сегодня. Перейдя въ Каратаева, душа ваша, смирясь, постигала цѣлесообразность добра и зла въ человѣческомъ мірѣ, возвышалась до познанія этого таинственнаго *круга*, доступнаго инстинктивному пониманію, но не разсудку человѣка, не воздѣйствію его сознательной воли, — и вдругъ все въ глазахъ вашихъ и въ вашихъ словахъ получило характеръ торжественнаго благообразія, и жизнь ваша, безсмысленная отдѣльно, получала глубокое значеніе, какъ вы говорили намъ вчера и сегодня... Я веду все это къ тому, чтобы вы убѣдились, что вы *всегда* искали Бога, съ самаго начала вашей жизни, во всей вашей дѣятельности, всегда задавали себѣ этотъ вопросъ: *зачѣмъ?.. ну, а потомъ?*—всегда искали рѣшенія ему въ той почвѣ, которая одна можетъ воспитать для него человѣка, въ той области, которая была родною для няни вашей матери, Настасьи, для блаженнаго, юродиваго Гриши, для казаковъ, для солдатъ, для мужиковъ, для всѣхъ этихъ милліоновъ простыхъ трудящихся людей. Только вы, родясь въ другой, худшей, области жизни, долго не могли совсѣмъ плотно срастись съ этою лучшею жизнью, — вы срастались съ нею постепенно. Такъ только оно и могло случиться, такъ оно и случилось. Совершенно понятно. Вы родились въ томъ кругѣ, въ томъ вѣкѣ, которымъ чуждо сознаніе истины, добра и Бога, и вы прожили другую жизнь, пока инстинктивное влеченіе къ правой жизни породнило васъ съ мыслями и вѣрою людей, живущихъ право. Это совершенно, совершенно понятно. Помню, недавно, въ Крыму, купаясь въ морѣ, одинъ во время волненія, я никакъ не могъ добраться до берега; волна била меня о мелкій песокъ и опять уносила. Я уже изнемогалъ отъ безплодныхъ усилій, но тутъ палка какая-то билась: я схватилъ ее и, воткнувъ въ песокъ, ухватился за нее, отдохнулъ и потомъ по новымъ сильнѣйшимъ волнамъ добирался постепенно все дальше, вонзая въ песокъ свою палку исцарапанными, окровавленными руками, и— спасся. Также и вы. Также и вы носились по житейскому морю

далеко отъ желаннаго берега. Вы носились далеко, и долго силы было въ васъ много, и привольно было вамъ на просторѣ. Но инстинктъ тянулъ васъ къ берегу, и волна чувства, инстинктивныхъ предчувствій, росла и росла, и вы, изнемогая, добираясь до цѣли и снова уносясь отъ нея, достигли наконецъ берега, спаслись, но лежите теперь еще въ изнеможеніи, и усиленное дыханіе, усиленное біеніе сердца еще мѣшаютъ вамъ видѣть весь берегъ какъ слѣдуетъ. Но вы все-таки уже спасены сами и знаете, что тянете за собою тысячи другихъ, которые бьются, тонутъ, изнемогаютъ, но все еще надѣясь, изъ послѣдняго запаса силъ отчаянно кричатъ вамъ, чтобы вы поскорѣе укрѣпили на берегу и бросили бы имъ веревку... Да, Константинъ Дмитричъ, все это случилось совсѣмъ не такъ, ex abrupto, какъ вы говорите. Ваше возвращеніе къ вѣрѣ происходило постепенно, и вся ваша жизнь есть рядъ усилій, преслѣдовавшихъ одну и ту же цѣль, наконецъ вами достигнутую. Я понимаю то чувство, которое заставляетъ васъ относиться къ вашему прошлому съ такимъ отвращеніемъ. О, это чувство такъ знакомо мнѣ теперь и близко, когда все во мнѣ — и прошлое мое, и будущее, и больше всего настоящее — представляется мнѣ чѣмъ-то безнадежно-безобразнымъ и отвратительнымъ. У васъ оно лучше, изъ лучшаго источника: у васъ оно идетъ отъ любви къ истинѣ, отъ того страстнаго, всеисключающаго благоговѣнія къ святынѣ открывающейся вамъ правды, которое заставляетъ васъ съ безпощадною страстностью относиться ко всему тому въ себѣ, что̀ прежде мѣшало вамъ къ ней приблизиться такъ же полно̀, какъ въ эту минуту. Но вы забыва́ете, что *настоящее* ваше пониманіе не могло бы явиться, его вовсе бы не было у васъ безъ длиннаго ряда прежнихъ попытокъ. Это заблужденіе — заблужденіе доброе и прекрасное въ себѣ. Но не всѣ его поймутъ: многіе увидятъ въ этомъ признакъ легкости мысли, пустоты, ничтожества праздной фантазіи, неясности и слабости мысли. И потому мнѣ досадно, ужасно досадно. Я знаю, что нѣтъ такого мыслителя, котораго глубокія мысли и чувства были бы сразу усвоены всѣми; но мнѣ досадно, когда онъ чѣмъ-нибудь излишнимъ — хотя бы и добрымъ, но все же излишнимъ — самъ ослабляетъ удобовоспріимчивость своихъ великихъ и благотворныхъ идей... Я былъ въ Москвѣ надняхъ. Тамъ всѣ объ васъ говорятъ. Ваши мысли, которыя вы намъ высказывали вчера и сегодня, извѣстны тамъ всѣмъ. Онѣ передаются изъ устъ въ уста, и меня поразило, какъ всѣ къ нимъ относятся. Никто не относится къ

нимъ равнодушно. Одни ужасно лихорадочно какъ-то восторгаются и въ каждомъ вашемъ словѣ видятъ олицетвореніе человѣческой истины; но огромное большинство возмущено вашими мыслями, какъ личнымъ какимъ-то себѣ оскорбленіемъ, и больше всего— ученые, писатели, вообще люди, мнящіе себя быть служителями и обладателями истины. Философы оскорблены всего больше. Они злобно издѣваются, какъ надъ чѣмъ-то невообразимо-безсмысленнымъ. Иные считаютъ васъ сумасшедшимъ и разсуждаютъ такъ: прежде онъ былъ здоровъ, писалъ отличные романы и не вѣрилъ въ Бога, теперь же увѣровалъ въ Бога и пересталъ писать романы, — значитъ, сумасшедшій, очень просто. Вообще ужасно много и ужасно озлобленныхъ порицаній. И меня поражала крайность озлобленія и презрительныхъ насмѣшекъ; меня приводило въ недоумѣніе, отчего же всѣ эти порицатели съ такимъ озлобленіемъ бросаются на то, что̀ сами же считаютъ ничтожествомъ? Развѣ кто обращаетъ вниманіе на ничтожество? Если это — ничтожество, то отчего же всѣ читаютъ, всѣ говорятъ — одни съ лихорадочнымъ восторгомъ и совершеннымъ отсутствіемъ критики, а другіе съ озлобленіемъ и чувствомъ личнаго оскорбленія? Я не могъ тогда этого понять. Но теперь, послушавъ васъ, я понимаю въ чемъ дѣло. Вы сказали, гдѣ лежитъ истина, которую всѣ ищутъ теперь съ такимъ ужаснымъ мученіемъ. И тѣ, которые склонны искать ее тамъ же, гдѣ ее увидѣли вы, пришли въ восторгъ и умиленіе. Большинство же ищущихъ ее совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ было возмущено, связывало свое дѣло съ своею личностью, которому вы — олицетворенное осужденіе. Но никто не спокоенъ, всѣ крайне взволнованы, — никто не испыталъ того мира, который дается словомъ кротости и глубокаго, спокойнаго *обладанія* правдой. Вы, теперешній вы, ваши теперешнія мысли и чувства не есть еще это обладаніе: они только очень близко приближающееся къ цѣли *исканіе* ея. И потому никто не можетъ пройти мимо васъ равнодушно, потому что всѣ теперь заняты ея мучительнымъ исканіемъ. Вы долго искали, вы долго толкались въ дверь истины и просили о ней. Васъ долго и всячески отталкивали отъ двери, часто вы и сами далеко уходили отъ нея; но вотъ вы все забыли, все возненавидѣли, кромѣ одной лишь истины, вы бѣгомъ добѣжали до двери; вы, запыхавшись, нетерпѣливо стучитесь въ нее и вмѣстѣ торжествуете, зная, что вотъ сейчасъ, сію минуту, вы войдете въ нее и увидите то, что̀ такъ долго, такъ искренно желала видѣть ваша душа. Вы весь — одно волненіе, волненіе ожиданія, надежды,

послѣднихъ убѣгающихъ сомнѣній, озлобленія на всѣ свои увлеченія, мѣшавшія вамъ найти желанную дверь. И вотъ это ваше волненіе всѣхъ такъ и волнуетъ. Я знаю, толкаемое отворится для васъ и просимое вами дастся вамъ. Но это — въ будущемъ еще, а теперь мы, судя по словамъ вашимъ, застали васъ еще у двери, еще не отворившимъ ея. И вотъ мы тоже въ волненіи. Вы намъ только сказали, какою дорогой вы бѣжали, какой путь ведетъ къ истинѣ; вы указали на послѣднюю дверь, за которою стоитъ уже она одна, эта желанная истина. Но дверь все такъ же, какъ прежде, закрыта, и вы—все то же волненіе, радостное и полное трогающаго умиленія и надежды, но все же только волненіе, а не тотъ миръ и спокойствіе, которыхъ такъ мучительно жаждемъ всѣ мы, мы сомнѣвающіеся, страдающіе, сумасшествующіе люди девятнадцатаго вѣка, мы безумно, безсмысленно метающіеся. Вы сообщили намъ ваше волненіе — и мы наполнились имъ. Давайте же намъ миръ и отраду, а не волненіе только; укажите намъ не только путь къ истинѣ, но самую истину. Теперь мы отъ васъ не отстанемъ. Мы вѣримъ вамъ — одному изъ насъ, одному изъ заблудившихся и потомъ свободно и искренно возвратившихся. Мы знаемъ, что вы перестрадали душою все то, чѣмъ всѣ мы сами болѣли и болѣемъ. Мы услышали, ка́къ вы выздоравливали отъ общаго нашего смертельнаго недуга, какія цѣлебныя силы васъ излѣчили и гдѣ ихъ можно найти; теперь мы ждемъ отъ васъ, чтобы вы показали намъ то, что̀ еще намъ важнѣе— всѣ подлинные признаки самаго неповреждающагося здоровья. Но пока мы еще этого не узнали, не сердитесь, что мы *только* взволнованы ожиданіемъ скорой радости и еще не торжествуемъ ея. Теперь мы только приходимъ къ вамъ съ мольбою, съ нетерпѣніемъ и дѣтскою надеждой: разскажите намъ, что̀ вы узнали послѣ того, какъ опять замолчали? Вѣдь людей, которыхъ интересуетъ происшедшій въ васъ переворотъ, съ теоретической его стороны, очень немного. *Немногихъ* можетъ интересовать вопросъ о томъ, *какъ* вы стали вѣрить, потому что немногіе понимаютъ, что вы— олицетвореніе нашего вѣка въ его начинающемся поворотѣ отъ невѣрія, отчаянія и убійствъ—къ вѣрѣ, къ надеждѣ, къ прощенію, къ любви. Это понятно немногимъ. Но, наоборотъ, всѣ интересуются знать, къ какимъ *выводамъ* пришли вы, всѣ хотятъ услышать отъ васъ очищенное любовью ученіе правды. Большинство интересуются не процессомъ этого поворота, а результатомъ его. А въ вашемъ разсказѣ говорится лишь о внутреннемъ про-

цессѣ, приведшемъ васъ къ вѣрѣ, а не о самой вѣрѣ вашей. И отсюда у всѣхъ чувство безмѣрнаго возбужденія: у однихъ — страстнаго восторга, у другихъ—негодованія, но у всѣхъ одинаково чувство лихорадочнаго ожиданія и неудовлетворенности. Это— главная причина впечатлѣнія, производимаго вашими мыслями на большинство. У ученыхъ и писателей, конечно, есть еще личныя причины: вы разрушаете ихъ ученіе, которое есть для нихъ все. Вооружаясь противъ васъ, они стоятъ за свою жизнь, потому что не имѣютъ другой. И вотъ, въ виду этихъ внутреннихъ препятствій къ сочувственному принятію вашихъ идей, необходимо по возможности устранять тѣмъ болѣе всякія препятствія внѣшнія— нелѣпость выраженія, парадоксальность формъ построенія мысли. Для меня, напримѣръ, это больно вдвойнѣ, такъ какъ именно эти-то парадоксальности ваши мнѣ всего болѣе дороги, потому что онѣ, я знаю, исходятъ именно изъ самыхъ чистыхъ и искреннихъ порывовъ души, которая такъ мучительно тоскуетъ объ истинѣ, что для нея разсужденія, тѣмъ болѣе соображенія о формѣ, о словѣ, о фразѣ,—въ тѣ минуты, когда духъ полонъ однимъ желаніемъ непосредственнаго обладанія истиной, чистаго, безъ мысли, безъ словъ, сліянія съ нею, — такъ же физически невозможны въ эти мгновенія, какъ во всякомъ порывѣ чувства, котораго полнота и искренность достигли всеисключающей силы самозабвенія. Но мнѣ дорого также, чтобъ эта чистота вашего чувства вливалась во всѣхъ непосредственно: не всѣ будутъ вникать очень подробно, очень глубоко, для немногихъ ваши слова въ ихъ теперешнемъ видѣ будутъ безцѣльно разбросаннымъ бисеромъ. А сказано: не мечите бисера... И вотъ потому-то мнѣ такъ больно и такъ оскорбительно, и это тѣмъ болѣе, что перлъ вашего разсказа и есть эта трогательная, младенчески-чистая искренность чувства. Душа раскрывается, и самъ, слушая васъ, чувствуешь то неповторяемое блаженство, какъ въ дѣтствѣ бывало, когда, сдѣлавъ что-нибудь злое, послѣ тяжелаго злобнаго чувства, на колѣняхъ у нихъ — у отца или у матери—плачешь слезами раскаянія и вѣры, что они своею любовью сдѣлаютъ тебя снова счастливымъ и чистымъ, и за ихъ прощающею любовью чувствуешь себя снова покойнымъ и безопаснымъ, какъ за недоступною всему злому, несокрушимою твердыней. Слушая васъ, опять наполняешься неразсуждающею, счастливою дѣтскою вѣрой въ Бога и такъ же, какъ вы, ждешь отъ Него помощи противъ горя и зла, ждешь новой надежды, новой вѣры въ разумность и добро человѣческой жизни. Это чувство

возрождающейся, младенчески-чистой, беззавѣтно-глубокой любви къ Богу—самое прекрасное въ вашемъ разсказѣ. Разсказъ вашъ и его чистое чувство сдѣлали дѣло. Они смягчили намъ сердце, наполнили насъ предчувствіемъ истины, приготовили насъ. Говорите теперь, говорите уже безъ разсужденій, безъ анализовъ философскихъ, безъ горькихъ воспоминаній о прошломъ, безъ самобичеваній. Раскройте намъ тайны открывающейся вамъ новой, величайшей области прекраснаго. Говорите о Богѣ, о томъ, какіе законы оставилъ Онъ намъ и какъ ихъ намъ можно исполнить. И пусть вашъ голосъ звучитъ одною только любовью. Мы всѣ такъ измучились отъ силы и злобы, намъ такъ нужно слышать голосъ любви... О! скажите хотя одно только слово...

Вдругъ свѣтъ необыкновенно яркій и мягкій освѣтилъ все кругомъ насъ и въ насъ. Левина не было. На мѣстѣ, гдѣ онъ сидѣлъ прежде, стоялъ ангелъ необыкновенной красоты. Онъ стоялъ въ овалѣ голубого эфира и его кротко сіяющіе глаза смотрѣли на несчастнаго старика съ спокойной любовью. Старикъ лежалъ у ногъ его и, рыдая радостными слезами, цѣловалъ края его сіяющей одежды. Что было потомъ—я не знаю. Я слышалъ только голосъ чуднаго ангела, и сердце замирало отъ любви и восторга. И все—и воздухъ, и лѣса, и солнце—весь міръ, казалось, повторялъ за нимъ его сладкіе звуки.

— Я скажу вамъ три слова,—говорилъ этотъ сладостный голосъ. Я скажу вамъ три слова, которыя Богъ послалъ меня узнать на землѣ. Я узналъ, что есть любовь, чего не дано людямъ и чѣмъ люди живы. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Ваше высокоблагородіе! Извольте вставать! Девятый часъ!—говорилъ голосъ гимназическаго сторожа.

Ужасно жаль было просыпаться.

XXVIII.

Маленькій разсказъ гр. Толстого „Чѣмъ люди живы“ всѣмъ извѣстенъ, и содержаніе его такъ просто и безыскусственно, что излагать его, кажется, не нужно. Въ немъ нѣтъ никакихъ типовъ, надъ опредѣленіемъ и разъясненіемъ которыхъ нужно бы было ломать голову. Его дѣйствующія лица не многочисленны, и между ними не развивается никакого романическаго происшествія. Бѣдный деревенскій сапожникъ, человѣкъ простой, безхитростный и некорыстный; жена его, расчетливая, какъ всѣ жены непрактичныхъ мужей, сварливая немного, но вообще тоже добрая женщина; толстый баринъ, проѣздомъ смущающій ихъ своими рѣзкими и грубовато-повелительными манерами; женщина съ двумя дѣвочками, разсказывающая трогательную исторію о томъ, какъ она пріютила у себя этихъ сиротъ и какъ, лишившись собственнаго сына, она привязалась къ нимъ до того, что только у нея стало и „воску въ свѣчѣ, что онѣ“. Вотъ и всѣ дѣйствующія лица разсказа,—я не считаю аллегорическій образъ ангела, который, какъ аллегорія, и болѣе и менѣе, чѣмъ дѣйствующее лицо. И между этими лицами не совершается никакого занимательнаго романа. Несмотря на то или, можетъ-быть, именно потому, отъ всего этого миніатюрнаго разсказа вѣетъ чѣмъ-то необыкновенно уютнымъ и задушевнымъ. Читая его, чувствуешь то же, что испытывалъ каждый послѣ сложной, утомительной столичной жизни, попавъ въ тишину глухой, далекой деревни, къ простымъ и добрымъ людямъ, которыхъ одни уже лица дѣйствуютъ на васъ успокоительно и примиряюще.

Если оставить пока въ сторонѣ идею разсказа, лежащую въ эпизодѣ ангела, то эта задушевность простоты, эта уютность полной и ясной человѣческой доброты—и есть главный литературный, или художественный перлъ разсказа. Даже больше—она, эта задушевность и настоящая доброта, и есть содержаніе разсказа, находящееся въ прямой связи съ его идеей. Эта черта задушевной доброты, самая симпатичная въ разсказѣ, знакома намъ давно—по всѣмъ прежнимъ произведеніямъ гр. Толстого. Вспомните, напр., Веленчука въ „Рубкѣ лѣса“, стараго капитана въ „Набѣгѣ“, капитана Тушина и дядюшку въ „Войнѣ и мирѣ“, Долли и Агаѳью

Михайловну въ „Аннѣ Карениной“. Но тамъ эти задушевные образы—случайная, какъ и всегда въ дѣйствительной жизни, бѣглая черта среди массы другихъ—значительныхъ и ничтожныхъ; а здѣсь они—и главное и единственное содержаніе разсказа. Какъ будто человѣкъ, шедшій долго, долго и утомившій глаза всякими зрѣлищами, приближаясь, усталый, къ концу пути, намѣренно останавливаетъ свой взоръ лишь на томъ, что одно имѣетъ непреходящую и непревосходимую цѣнность.

Всѣмъ памятны прелестные типы и картинки народной жизни въ прежнихъ произведеніяхъ гр. Толстого—типы солдатъ въ военныхъ разсказахъ въ „Войнѣ и мирѣ“, мужиковъ въ мелкихъ разсказахъ, ямщиковъ въ „Мятели“ и „Утрѣ помѣщика“. И тогда уже поражала способность гр. Толстого рисовать народныя лица съ тою правдивостью, которая не нуждается ни въ излишней идеализаціи, ни въ намѣренной грубоватости тона,—поражала и способность воспроизводить народный языкъ.

Нечего и говорить о народности языка и образовъ разсказа „Чѣмъ люди живы“; но разсказъ народенъ и въ другомъ, важнѣйшемъ отношеніи, — онъ рисуетъ народную душу, народный идеалъ. И это случилось несмотря на то, что идея разсказа не имѣетъ въ виду прямо нашей національности и касается вопросовъ общечеловѣческихъ.

Разсказъ пытается рѣшить вопросъ не о томъ, чѣмъ живы русскіе люди, а о томъ, чѣмъ живы люди вообще. Но рѣшается вопросъ этотъ совершенно въ духѣ русской народности, которой идеалъ есть ученіе Христа. Идея разсказа очень глубока: онъ касается самыхъ основаній человѣческой жизни, которая строится на двухъ началахъ – эгоизма и любви, борющихся между собою, и должна быть преобразована такъ, чтобы ею управляло лишь одно начало любви, что̀ не только необходимо, но въ будущемъ и возможно до такой степени, что только обоюдная любовь станетъ источникомъ жизни, а личная забота о себѣ и теперь ведетъ къ борьбѣ—ко злу, къ смерти.

Идея эта облечена авторомъ въ форму, которую многіе приняли за дѣтскую сказку. Но если разсказъ и можно назвать сказкой, то, разумѣется, гораздо больше сказкой для взрослыхъ, нежели для дѣтей. Конечно, и дѣти могутъ читать и читаютъ ее съ наслажденіемъ. Младенческая чистота любящаго чувства, разлитая въ разсказѣ, такъ близка дѣтямъ по ихъ собственной природѣ, что

передается въ ихъ душу непосредственно, не нуждаясь ни въ какихъ пособіяхъ. И основная мысль разсказа, что люди живы только любовью другъ къ другу, не заключаетъ въ себѣ крайности для дѣтской точки зрѣнія, которой весь міръ представляется въ розовомъ и любовно-довѣрчивомъ свѣтѣ. Но дѣти, конечно, не могутъ понять всего того сложнаго круга человѣческой дѣйствительности, къ которому обращена идея разсказа,—не знаютъ исторіи тѣхъ другихъ способовъ, которыми и въ прежнія времена и теперь рѣшаютъ люди тотъ главный для всѣхъ вопросъ—чѣмъ они живы и чѣмъ они должны быть живы. Довольно, что дѣти получаютъ глубоко-человѣческое впечатлѣніе отъ этого разсказа въ немъ самомъ. Но другое дѣло намъ, взрослымъ, искушеннымъ. Чтобы выяснить положеніе, которое занимаетъ идея разсказа на ряду съ другими взглядами на основные вопросы человѣческой жизни, а также и то значеніе, которое имѣетъ гр. Толстой съ его послѣдними произведеніями въ общемъ ходѣ развитія человѣческой мысли, мнѣ нужно отойти нѣсколько въ сторону и взглянуть немного сбоку. Я приглашаю читателя съ собою, хотя и очень боюсь, что онъ останется мною во всѣхъ отношеніяхъ недовольнымъ.

XXIX.

Припомнимъ нѣкоторые главнѣйшіе моменты исторіи человѣческаго духа въ нынѣшнемъ столѣтіи — насколько они доступны намъ всѣмъ, просто-образованнымъ людямъ, не претендующимъ, подобно автору этихъ словъ, ни на какую спеціальную ученость.

И тутъ прежде всего видно, что эти фазы развитія были вообще послѣдовательнымъ выводомъ, продолженіемъ, а иногда и повтореніемъ того, на чемъ сознаніе человѣческое остановилось въ концѣ восемнадцатаго вѣка.

Тогда на Западѣ люди, долгими вѣками боровшіеся противъ разныхъ, стѣснявшихъ ихъ личную свободу воли и мысли, авторитетовъ—противъ авторитетовъ монархіи, церкви, нравственности религіозной,—тогда, въ концѣ восемнадцатаго вѣка, они, казалось, торжествовали полное освобожденіе личности, полную побѣду мысли надъ ихъ старинными врагами. Всѣ были въ восторгѣ. Вотъ, наконецъ, нѣтъ ни священниковъ, ни королей, ни Бога. Всѣ были ужасно этимъ довольны, а кто не хотѣлъ радоваться, тѣхъ уби-

вали. И вотъ, въ ту самую минуту, когда уже, казалось, наступало всеобщее блаженство для тѣхъ, которые остались въ живыхъ, вдругъ съ ними случилось нѣчто совершенно для нихъ неожиданное.

Перерѣзавъ королей и принцевъ и думая, что, прогнавъ священниковъ, они прогнали этимъ и Бога, люди 93 года провозгласили на ихъ мѣсто божественность и самодержавіе индивидуальнаго разума и воли и совсѣмъ уже противорѣчившую имъ религію непогрѣшимаго народа.

Личность, индивидуумъ, его воля и разсудокъ—сами стали монархами и богами. И ту же полноту абсолютной власти и непогрѣшимаго божественнаго достоинства пріобрѣла и коллективная личность - народъ. И оказалось, что идеи монархіи и божества ни чуть не исчезли,—имъ были только отведены новыя помѣщенія.

Но эти новые боги-монархи совсѣмъ не хотѣли уживаться между собою въ мирѣ, — и ихъ столкновеніе разбило впрахъ золотыя мечты о купленномъ кровью всеобщемъ блаженствѣ. Явилось разочарованіе.

Разочарованіе, однако, ничуть не ослабило—оно, раздразнивъ, еще усилило вѣру въ божественность индивидуума, еще усилило гордость разбитаго и несчастнаго, но освобожденнаго человѣка. Лишенный прежней вѣры и прежнихъ надеждъ, корчившійся въ мученіяхъ самолюбія, человѣкъ изобрѣлъ себѣ въ утѣшеніе теорію чисто-человѣческаго прогресса.

И вотъ Шатобріанъ, Байронъ и сотни другихъ стали воспѣвать, тянуть, переливаться голосами—все этого гордаго въ несчастіи человѣка—на тысячи ладовъ. А Гегель построилъ философію этого человѣка,—философію освобожденной, чистой разсудочности, поклонявшейся все тому же культу человѣческой дѣйствительности и прогресса.

Ученики Гегеля утвердили религію коронованнаго и обожествленнаго индивидуума еще яснѣе. Фейербахъ говорилъ, что поворотная точка всемірной исторіи—та, что отнынѣ богомъ для человѣка будетъ уже не Богъ, а человѣкъ. Еще послѣдовательнѣе, еще полнѣе раскрылся культъ индивидуума у Макса Штирнера. Для того богомъ былъ уже не „человѣкъ“ даже, а просто его собственное „я“. Максъ Штирнеръ говорилъ, что то, что онъ—человѣкъ, это—самое меньшее въ немъ: онъ человѣкъ, правда, но онъ больше, чѣмъ человѣкъ, потому что онъ кромѣ того еще и

абсолютный обладатель этого своего свойства—быть человѣкомъ. Для Штирнера ничего въ природѣ не было, кромѣ его собственнаго „я“. Не было независящаго отъ него добра, справедливости и истины,—было одно „я“. Изъ этого „я“ онъ выводилъ всякое свое оправданіе и всякое право: онъ говорилъ, что имѣетъ права на все, что лежитъ въ его силѣ и, потому, въ его внѣшней возможности.

Это было послѣднимъ словомъ XVIII вѣка, послѣднимъ предѣломъ всего предшествующаго движенія. Человѣкъ, стремившійся къ полной свободѣ и полному могуществу, все отдалъ для нихъ въ жертву; онъ сказалъ, что если Богъ, люди, истина, добро мѣшаютъ могуществу и свободѣ его собственнаго „я“, то для него отнынѣ не будетъ уже ни Бога, ни людей, ни истины, ни добра—ничего, есть только онъ одинъ—съ его инстинктомъ и похотями. Далѣе идти было уже невозможно—совершенно невозможно, потому что если идти еще далѣе, то уже надо обожествлять и короновать отдѣльные органы человѣческаго тѣла—ноги, руки, волосы, кожу. Но это было бы уже слишкомъ явной безсмыслицей, и передъ нею люди остановились.

И вотъ опять, забывъ кровь гильотины, баррикадъ и войнъ, они со все возрастающей вѣрой въ прогрессъ во весь духъ прибѣжали къ своей цѣли, и остановились. Въ восторгѣ успѣха они не замѣтили, что каждый изъ нихъ прибѣжалъ не куда-нибудь въ другое мѣсто, а къ самому себѣ—туда, гдѣ совсѣмъ не прогрессъ, а гдѣ лежало прежде начало, и теперь угрожало прекращеніе человѣческой исторіи и снова начиналась исторія звѣря. Они вернулись въ принципѣ къ тому состоянію, когда каждый первобытный человѣкъ жилъ въ лѣсу и для своего „я“ поѣдалъ другихъ людей безпрепятственно для своей совѣсти.

И вотъ они, въ ослѣпленіи успѣха, стали мечтать о будущемъ и гордиться, и прилагать свою теорію къ жизни. Они стали передѣлывать житейскія отношенія и убивать тѣхъ, кто стоялъ имъ на дорогѣ, и умирали на эшафотахъ съ умиляющимъ сознаніемъ своего подвига, и другіе рукоплескали имъ, канонизировали ихъ и окружали ихъ героическимъ ореоломъ.

Тѣ же изъ нихъ, кто положилъ не жертвовать собою, наслаждался своей мудростью весело и безпрепятственно. Они торжествовали въ принципѣ побѣду индивидуализма, пришедшаго къ эгоизму и звѣрству.

Въ дѣтствѣ я слышалъ разсказъ одной дамы, женщины очень тонкаго ума и образованія, какъ она, приготовляясь встрѣтить въ обществѣ Фейербаха, ожидала найти въ немъ человѣка, подавленнаго отчаяніемъ, и была поражена, увидя въ немъ господина, совершенно довольнаго собой и даже очень веселаго.

Но не всѣ были такъ духовно ограничены, не всѣ чувствовали себя увѣренно, уютно и весело среди душевнаго разрушенія и смерти. Другіе стали вопрошать освобожденный разумъ подробнѣе,— и пришли къ сомнѣнію и отчаянію.

Стали вопрошать науку,—и отвѣты ея привели не къ разрѣшенію вопросовъ, а къ ихъ началу. Какъ нравственные идеалы освобожденнаго индивидуума пришли къ докультурному состоянію, такъ и въ наукѣ пришли къ отрицанію знанія.

Вопрошали философію—и она отвѣтила, что ничего не знаетъ, и что тѣ орудія, которыя ей до сихъ поръ давали въ руки, не способны привести къ знанію жизни и постиженію ея смысла, что хотя разсудокъ вѣчно будетъ стремиться къ этому высшему познанію, но доступъ туда закрытъ для него навсегда, и что потому разсудочная мысль человѣка есть безвыходный кругъ, который не можетъ быть ни прерванъ ни законченъ. Такъ отвѣчали философы самыхъ различныхъ направленій. Такъ отвѣчали позитивисты и успокаивались на этомъ признаніи, прилагая разсудочную силу къ изученію второстепенныхъ вопросовъ знанія. Такъ отвѣчали и ихъ противники, и не успокаивались, а все искали и все такъ же тщетно, сознавая сами свое безсиліе и безцѣльность своего труда. Какъ очень хорошо говоритъ объ этомъ г. Владиміръ Соловьевъ, крайніе выводы противоположныхъ направленій сошлись въ одномъ существенномъ пунктѣ—въ томъ, что, оба одинаково отвергнувъ собственное бытіе какъ познаваемаго, такъ и познающаго, и перенося всю истину на самый актъ познанія, оба выродились въ формализмъ. Общій обоимъ направленіямъ западной философіи духъ формализма и разсудочности привелъ ихъ къ одинакимъ результатамъ. Оба они отвергли возможность философіи, и у одного философія исчезла въ абсолютной логикѣ, а у другого даже не въ эмпирической психологіи, а просто въ физіологіи—въ сѣченовскихъ рефлексахъ головного мозга. И оба они оставили высшіе вопросы человѣческой жизни нерѣшенными и открытыми.

Если обратиться къ знаніямъ положительнымъ, то и тамъ окажется, что XIX вѣкъ—знаменитый вѣкъ желѣзныхъ дорогъ и

телефоновъ—пришелъ къ тому же печальному результату,—онъ, ничего не открывъ, возвратился къ тому, съ чего начинаетъ всякое человѣческое знаніе. Съ одной стороны видишь необыкновенный успѣхъ фактическаго знанія. Теперь все, кажется, стало извѣстно. Изучили всѣ обстоятельства образа дѣйствія, малѣйшій органическій атомъ и т. д. Дошли до того, что Штраусъ брался уже сдѣлать чуть ли не живого человѣка, какъ тотъ мудрецъ, который непремѣнно повернулъ бы земной шаръ, если бы дѣло не за большимъ остановилось—если бы ему дали точку опоры. А съ другой стороны видишь, что эта масса знаній не только ни на одну іоту не увеличила пониманія смысла человѣческой жизни, а напротивъ—совсѣмъ его затемнила и все обратила въ какую-то кашу. О послѣднемъ очень хорошо говоритъ г. Страховъ въ своей книгѣ „Борьба съ Западомъ". Результатъ эмансипаціи разума въ области положительнаго знанія, результатъ разныхъ „измовъ"—позитивизма, дарвинизма и т. д., формулированъ г. Страховымъ въ каррикатурѣ, очень грустной по ея глубокой справедливости. Сущность мудрости нашего времени, говоритъ г. Страховъ, уже такъ ясно обнаружилась, такъ отчетливо проявилась, что ее можно формулировать въ немногихъ и совершенно опредѣленныхъ словахъ... Между Богомъ и природой нѣтъ разницы... между духомъ и матеріей нѣтъ разницы... между организмами и мертвыми тѣлами нѣтъ разницы... между человѣкомъ и животными нѣтъ разницы... между душою и тѣломъ нѣтъ разницы... между нравственностью и стремленіемъ къ счастію нѣтъ разницы... между прекраснымъ и полезнымъ нѣтъ различія... Вся совокупность человѣческихъ отношеній, всѣ эпохи исторіи... были подвергнуты дѣйствію современнаго анализа, и этотъ анализъ вездѣ увидѣлъ одно и то же, ни въ чемъ не нашелъ никакого различія и порѣшилъ, что дѣйствія человѣческія всегда имѣютъ одинъ и тотъ же смыслъ, одни и тѣ же побужденія. Точно такъ всѣ явленія природы, отъ паденія камня до развитія прекраснѣйшихъ человѣческихъ формъ, сведены новою наукою къ одному—къ движенію атомовъ, безконечно притягивающихся, отталкивающихся, вращающихся, зыблющихся и, такимъ образомъ, составляющихъ ту безмѣрную и однообразную толчею, тотъ нескончаемый, безцѣльный, сѣрый вихрь, который мы называемъ мірозданіемъ. Все однообразно, все равно одно другому, все имѣетъ одинъ и тотъ же источникъ, одну и ту же сущность, одну и ту же цѣль,—таково глубочайшее рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, къ которому все ближе и ближе приходитъ

наше время и которое оно считаетъ своимъ лучшимъ умственнымъ достояніемъ. Мы вернулись къ исходной точкѣ всякаго мышленія и познанія; мы на всевозможные лады твердимъ одно: мы ничего не знаемъ, мы не умѣемъ находить различія между вещами; для насъ весь міръ сливается еще въ однообразную массу, въ которой мы еще не умѣемъ разглядѣть ни единой черты гармоніи и порядка.

Итакъ, если нравственные идеалы XIX вѣка пришли къ ничтожеству и самоотрицанію, то къ подобному же результату пришло и его умственное развитіе. Девятнадцатый вѣкъ, вѣкъ торжества индивидуализма и раціонализма, есть вѣкъ эгоизма и невѣжества, и торжество его началъ было моментомъ не развитія и прогресса, а упадка и разложенія.

Мы не имѣемъ никакой возможности прослѣдить здѣсь весь ходъ развитія того длиннаго и чрезвычайно любопытнаго процесса, который въ теченіе столькихъ столѣтій привелъ къ такому рѣзкому перемѣщенію силъ въ духѣ европейскаго просвѣщенія. Достаточно сказать, что отъ преобладанія непосредственнаго чувства надъ разсудкомъ, изъ котораго исходило преданіе и на которомъ оно основывалось, этотъ процессъ привелъ къ обратному результату: къ полному господству чистой разсудочности, къ полному забвенію непосредственнаго чувства, т. е. того самаго начала, въ которомъ лежитъ дѣйствительная связь человѣка съ законами остальнаго мірозданія, а потому и источникъ ихъ истиннаго познанія и также человѣческаго нравственнаго мѣрила. Люди какъ будто совсѣмъ забыли объ этомъ сильнѣйшемъ и самомъ главномъ источникѣ жизни, и если еще продолжали придавать ему значеніе, то лишь въ области его самыхъ низшихъ явленій въ грубой, матеріалистической формѣ элементарнаго ощущенія. Долгое подчиненіе разума чувству и покоившемуся на немъ преданію, разъ поколебленное, привело къ противоположной крайности. Въ своемъ стремленіи къ освобожденію отъ преданія, духъ устремился такъ сильно къ эмансипаціи наиболѣе прежде подавленнаго начала--разсудка, что придалъ своему стремленію односторонность, которая отличалась отъ прежней только формально и ни чуть не установила ни истинной духовной свободы, ни полной гармоніи духа, ни истиннаго познанія. Напротивъ, движеніе перенесло центръ тяжести хотя и на противоположный край, но еще болѣе прежняго неустойчиво, ибо оставило безъ всякаго вниманія истинный центръ человѣческой природы.

Несмотря на глупо или притворно самодовольные крики о великихъ пріобрѣтеніяхъ вѣка, совсѣмъ не видно той увѣренности, той нравственной прочности, какая дается знаніемъ твердымъ и убѣжденіемъ дѣйствительнымъ. Напротивъ, если снять тонкій слой этого внѣшняго успѣха и дешеваго довольства, то внутри окажется глубокое, бездонное море сомнѣнія и отчаянія. Если нашъ вѣкъ можетъ быть названъ вѣкомъ торжества, то лишь торжества царящихъ надъ всѣми сомнѣнія и отчаянія. Философія и нравственность вѣка оказались противными самымъ основаніямъ человѣческой природы. И потому торжество такой философіи и такой нравственности дало не радость и успокоеніе, а отчаяніе и сомнѣніе.

Фейербахъ могъ веселиться, сидѣть въ уютной гостиной и беззаботно говорить остроты дамамъ.

Но людей болѣе тонкаго ума и болѣе серьезнаго нравственнаго склада философія вѣка лишала спокойствія и довольства, несмотря даже на теоретически-глубокое въ ней убѣжденіе. Они подвергались тяжкому, отчаянному сомнѣнію.

Одни изъ нихъ еще находили себѣ совсѣмъ непрочное субъективное утѣшеніе,—напримѣръ, Джонъ Стюартъ Милль; другіе еще болѣе послѣдовательные, какъ нашъ Герценъ,—погружались въ безвыходное отчаяніе.

Маленькая, но драгоцѣнная по своей задушевности книжка, гдѣ Д. С. Милль, этотъ величайшій раціоналистъ вѣка, разсказывая свою автобіографію, передаетъ такія глубоко интересныя подробности о своихъ порывахъ сомнѣнія и отчаянія, совсѣмъ не была оцѣнена какъ слѣдуетъ въ нашей литературѣ. У насъ только восклицали: ахъ, Д. С. Милль, ахъ, логика, политическая экономія, ахъ, подчиненіе женщинъ, и только восторгались, что въ сочиненіяхъ Милля было много такого, что увеличивало въ головахъ тотъ сѣрый, однообразный вихрь, о которомъ такъ вѣрно говоритъ г. Страховъ. А о томъ, что было въ Миллѣ всего характернѣе—о томъ, что Милль былъ тотъ же Фаустъ—объ этомъ никто не догадался и никто не говорилъ, только потому, что подъ картиной, изображавшей больного льва, не было подписи: „се левъ, а не собака!“

(Ниже, по поводу аналогіи Левина, мы скажемъ объ отчаяніи Милля, а теперь укажемъ только на то главное его сомнѣніе, ко-

торое такъ въ немъ и оставалось до конца его дней. Оно очень типично и чрезвычайно знаменательно).

„Я нисколько не сомнѣвался,—говоритъ Милль,—въ правильности своего прежняго убѣжденія, что счастіе—мѣрило всѣхъ жизненныхъ правилъ и цѣль существованія; но я теперь полагалъ, что *этой цѣли* можно было достигнуть только тогда, когда она будетъ поставлена на второй планъ (какъ же это такъ—мѣрило и цѣль—и вдругъ на второмъ планѣ?). Тѣ люди только счастливы, думалъ я, которые ставятъ себѣ цѣлью въ жизни какой-либо другой предметъ, а не ихъ собственное счастье, напримѣръ (это „напримѣръ“ очень замѣчательно)—счастье другихъ, усовершенствованіе человѣчества, какое-нибудь искусство или предпріятіе (благо человѣчества и лѣсной подрядъ)... По моей новой теоріи въ жизни было бы *достаточно наслажденій для приданія ей обаятельной силы, если бы мы брали ихъ en passant, не придавая имъ значенія главной цѣли нашего существованія. Придайте имъ такое значеніе—и они тотчасъ же окажутся недостаточными и не выдержатъ строгаго анализа.* Спросите себя, счастливы ли вы, и вы перестаете быть счастливыми. *Единственная возможность достигнуть счастія заключается въ томъ, чтобы считать не счастіе, а что-либо другое цѣлью въ жизни.* На служеніе этой цѣли употребите все свое самосознаніе, всю свою способность къ анализу (?), и *если другія обстоятельства вашей жизни удачно сложатся,* то *вы будете счастливы,* вдыхая въ себя счастіе вмѣстѣ съ воздухомъ, а не думая о немъ, не анализируя его“.

Чрезвычайно знаменательно выслушать изъ устъ автора утилитаріанской, т. е. человѣческой, не религіозной нравственности, что ея единственная основа, стремленіе къ счастію, не выдерживаетъ строгаго анализа! Еще поучительнѣе слышать отъ него признаніе, что цѣль жизни и счастія должна быть внѣличная. И наконецъ, особенно интересно видѣть, какъ у этого обыкновенно тонкаго, точнаго, яснаго и послѣдовательнаго мыслителя все зданіе его утилитарной нравственности и счастія находится въ зависимости отъ такой шаткой случайности, какъ благопріятное сцѣпленіе „другихъ обстоятельствъ жизни“.

Всѣ эти шаткія, противорѣчивыя и неясныя признанія очевидно сводятся къ одному, но очень ясному факту—къ признанію непрочности, нетвердости своего міровоззрѣнія—къ неизлѣчимому

въ немъ сомнѣнію, сознательному или безсознательному—все равно. Въ устахъ самаго глубокаго, наиболѣе послѣдовательнаго искренняго и чистаго раціоналиста такое признаніе становится фактомъ очень большой важности. Этотъ фактъ показываетъ не только то, что Милля у насъ совсѣмъ невѣрно понимали, игнорируя его личную душевную жизнь, дѣлавшую все теоретическое зданіе его общеизвѣстныхъ сочиненій столь противорѣчивымъ и шаткимъ—онъ говоритъ вещь гораздо болѣе важную—что глубокое сомнѣніе, неизлѣчимая неудовлетворенность не оставляли въ дѣйствительности даже тѣхъ мыслителей вѣка, которые отличались наибольшею твердостью и сознательностью въ своихъ убѣжденіяхъ—въ той новой философіи, которая пыталась старинные прерогативы неба перенести на людей. *Въ нравственность XIX вѣка*, въ нравственность эмансипированнаго индивидуума, несмотря на отчаянныя попытки ея идеализаціи, несмотря на ребяческіе заплаты изъ противоположныхъ системъ—*не вѣрилъ даже самъ ея авторъ.*

Мы видѣли невѣріе и сомнѣніе человѣка XIX столѣтія.

Теперь посмотримъ на его отчаяніе.

Безъ заплатъ и идеализаціи, нравственность XIX вѣка выразилась не въ утилитаризмѣ, съ его тонкимъ безсознательнымъ обманомъ, а въ фейербахизмѣ и ученіи Макса Штирнера. Тутъ уже не было сантиментальностей и дѣло шло на чистоту. И это настоящее ученіе XIX вѣка въ его истинномъ, т. е. въ его суровомъ и безнадежномъ смыслѣ понялъ А. И. Герценъ. Герценъ вѣрнѣе всѣхъ понялъ систему, которую г. Страховъ такъ мѣтко назвалъ обожествленіемъ минуты и прогресса, гдѣ, какъ справедливо говоритъ г. Страховъ, все частное ограниченное признается божественнымъ, гдѣ каждая слѣдующая минута пожираетъ безъ остатка предыдущую, гдѣ нѣтъ ничего пребывающаго и постояннаго, гдѣ нѣтъ руки, которая держала бы цѣлое и руководила имъ, гдѣ слѣпая природа можетъ неожиданной случайностью погубить свое жалкое, мизерное божество—человѣка.

„Наука XIX вѣка, — говоритъ Герценъ, — не имѣетъ такихъ торжественныхъ пропилей, какъ религія. Путь достиженія къ наукѣ идетъ, повидимому, безплодной степью. Потери видны, пріобрѣтеній нѣтъ; поднимается въ какую-то изрѣженную среду, въ какой-то міръ безплодныхъ абстракцій; важная торжественность кажется суровой холодностью. Съ каждымъ шагомъ уносится болѣе и болѣе въ это воздушное море; *становится страшно просторно,* тяжело дышать и безотрадно; берега отдаляются,

исчезаютъ — съ ними исчезаютъ всѣ образы, навѣянные мечтами, съ которыми сжилось сердце; ужасъ объемлетъ душу lasciate ogni speranza voi che entrate... Наука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему некуда скрыться... Вопросы страшные, безотрадные: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ... и тянутъ куда-то вглубь, и нѣтъ силъ противостоять чарующей силѣ пропасти, которая влечетъ за собой человѣка загадочной опасностью своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро развертывается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святыя нѣжныя упованія, Олимпъ и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе къ настоящему, благословеніе прошедшему, все послѣдовательно становится на карту, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ ироніи и участія, повторяетъ холодными устами — „убита“.

Хотя и съ сокрушеннымъ сердцемъ, но все же Герценъ отважно шелъ впередъ среди обломковъ прежнихъ своихъ убѣжденій, рѣшившись „исходить горячей кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать истинѣ“, шелъ безостановочно къ концу — и пришелъ къ полному разочарованію и отрицанію того, для чего пожертвовалъ всѣмъ. Во всемъ новомъ онъ сталъ видѣть смерть. Онъ сталъ говорить, что міръ умираетъ... Мы довольно долго изучали хилый организмъ Европы во всѣхъ слояхъ, — вездѣ находили вблизи перстъ смерти, и только изрѣдка вдали слышалось пророчество. Мы сначала тоже надѣялись, вѣрили, старались вѣрить. Предсмертная борьба такъ быстро искажала одну черту за другой, что нельзя было обманываться. Жизнь потухала, какъ послѣднія свѣчи въ окнахъ, прежде разсвѣта. Герценъ пришелъ къ полному разочарованію въ эмансипированномъ индивидуумѣ, къ полному отчаянію *).

Къ этому отчаянію привели Герцена событія 50-хъ годовъ, крахъ революціонныхъ мечтаній 48-го года. Это послѣдовательно для системы, въ которой жизнь одного поколѣнія, одного индивидуума имѣетъ только свою эгоистическую, абсолютную, въ себѣ законченную цѣль.

---

*) Картина этого отчаянія человѣка, истиннаго безстрашія и глубокой истинности мысли, представлена г. Страховымъ въ его статьѣ о Герценѣ („Борьба съ Западомъ“) чрезвычайно тонко и ярко.

Но тутъ была связь съ отчаяніемъ другого, болѣе общаго рода,— которая вызывалась инстинктомъ смерти—у однихъ со страхомъ полнаго уничтоженія, у другихъ—съ упованіемъ такого уничтоженія.

Матеріалистическій индивидуализмъ въ самомъ себѣ носилъ это отчаяніе, и если мелкіе характеры его не сознавали, то для каждой сколько-нибудь глубокой натуры оно было очевидно—и разбивало все зданіе впрахъ. Въ признаніи могущества личности лежало неизбѣжное отрицаніе индивидуализма.

„Я—богъ *для себя;* но это для себя превращаетъ мое божество въ злую иронію.

Великій Богъ въ груди моей сокрытъ,
Онъ душу мнѣ волнуетъ и тревожитъ,
Внутри меня всецѣло Онъ царитъ,
Но въ мірѣ внѣшнемъ ничего не можетъ.

Въ мірѣ внѣшнемъ божество мое встрѣчается съ безчисленнымъ множествомъ другихъ боговъ, для которыхъ оно само есть только внѣшнее средство. Но пусть бы я побѣдилъ всѣхъ своихъ боговъ соперниковъ и заставилъ бы ихъ признать мое божество,— все-таки это божество осталось бы только субъективнымъ въ признаніи другихъ, какъ первоначально въ своемъ собственномъ; объективно же я все-таки останусь ничтожнымъ и безсильнымъ передъ неизмѣнной силой природнаго, внѣшняго мнѣ закона вещественнаго бытія.

Объективная реальность, давно исчезнувшая изъ логическаго понятія, сохраняетъ всю свою практическую дѣйствительность для живого человѣка, какъ необходимость физическаго страданія и смерти. Передъ этою внѣшнею дѣйствительностью, которая рано или поздно превратитъ мое божество въ блюдо для червей—такихъ же боговъ для себя—передъ этою внѣшнею дѣйствительностью мое самоутвержденіе абсолютно безсильно.

Человѣкъ, стремившійся къ свободѣ и могуществу, пожертвовавшій для этого всѣмъ — Богомъ, людьми, истиной, добромъ, — оставаясь тѣмъ же героемъ, какъ и тѣ, что будутъ глодать его трупъ, пришелъ къ сознанію своего рабства и безсилія. И торжество индивидуализма переходитъ въ совершенное пораженіе и отчаяніе.

Вѣнецъ, который человѣкъ хотѣлъ надѣть на себя, оказался слишкомъ тяжелымъ, и голова человѣка согнулась подъ его тя-

жестью. Взоръ человѣка, прежде направляемый вверхъ, опустился на его собственную грудь, и изъ безплоднаго самосозерцанія сомнѣвающагося и отчаявшагося человѣка родилась новая, быть-можетъ, самая отвратительная болѣзнь эпохи—рефлексія.

Странное дѣло. Было время, когда фраза: „рефлексія заѣла“, была на языкѣ у каждаго. И теперь, среди легкомысленныхъ надеждъ на ближайшее *) будущее, нерѣдко еще слышатся жалобы на падающую силу чувства, на недостаточную горячность и неполноту убѣжденія, на сомнѣнія и неспособность къ конкретному счастію. Но очень немногіе склонны сознательно искать источника этого явленія тамъ, гдѣ онъ дѣйствительно лежитъ въ той духовной изоляціи личности, къ которой привело ее отдаленіе отъ непосредственнаго союза съ природой и Божествомъ.

Это былъ результатъ естественный и неизбѣжный. Когда человѣкъ остался наединѣ съ самимъ собою, онъ долженъ былъ, лишившись внѣшняго ему предмета созерцанія и влеченія, обратить ихъ на себя. Это совершенно натурально. Но это имѣло чрезвычайно печальныя послѣдствія.

Постоянный возвратъ разсудочной критики къ движеніямъ воли и чувства дѣйствовалъ разрушительно на эту непосредственную, на эту единственно животворную область жизни. Воля слабѣла, и чувство мельчало и изсушалось.

Развивалась одна отвлеченная мысль и фантазія. Одно поколѣніе рождало другія, въ которыхъ пагубный процессъ питанія собственной кровью и „опоражниванія индивидуальности“ приближался все быстрѣе и полнѣе къ своему гибельному результату, и наконецъ явилось наше поколѣніе—поколѣніе людей, одаренныхъ чудовищнымъ воображеніемъ, слабостью и узостью воли—фанатизмомъ ужасающимъ, глубоко извращеннымъ нравственнымъ чувствомъ и еще никогда прежде неслыханной жестокостью сердца. Вѣкъ умственнаго развитія свободы и вещественнаго прогресса выродился въ вѣкъ величайшаго насилія и нравственнаго упадка. И кратковременная побѣда личности смѣнилась ея совершеннымъ ужасающимъ пораженіемъ. Эмансипація индивидуума привела совсѣмъ не къ прогрессу его, — она привела къ результату абсолютно обратному, — къ совершенному внутреннему ея разложенію.

---

*) „Кризисъ западной философіи“, В. Соловьева.

Это вторая поразительная неожиданность въ итогахъ нашего девятнадцатаго вѣка.

Если читать только однѣ ученыя книжки о разныхъ логіяхъ—біо, соціо, психо, физіо, фило-логіяхъ, или послушать разныхъ господъ, изъ которыхъ одинъ претендуетъ на спеціальное знаніе латинской частицы ut, другой—дипломатической переписки какого-нибудь короля, третій — тѣхъ душевныхъ явленій, въ которыхъ человѣкъ не отличается отъ животныхъ, то изложенное выше представленіе о нравственной физіогноміи XIX вѣка еще не такъ ясно и несомнѣнно. Потому что большинство ихъ такъ увѣренно и терпѣливо переступаетъ подъ своей ношей по узкой протоптанной тропинкѣ, такъ спокойно и гордо стоитъ въ своемъ стойлѣ, что иногда можетъ показаться, что и не существуетъ пропасти, гдѣ гибнутъ всѣ остальные — тѣ, которые не могутъ отказаться отъ потребности рѣшенія общихъ и высшихъ вопросовъ жизни. Но если обратиться къ художественной литературѣ, то краткая иллюзія разлетается какъ дымъ, зеркало очищается, и тамъ видна темная бездна и повисшій въ ней человѣкъ, и лживое успокоеніе становится невозможнымъ.

Еще Гёте угадалъ духъ тогда только-что нарождавшагося вѣка и воплотилъ его въ своемъ все еще неувядающемъ Фаустѣ.

Съ того времени и до сего дня европейская литература съ замѣчательной настойчивостью представляла, хотя во всевозможныхъ видоизмѣненіяхъ, но все одинъ и тотъ же типъ. Начиная съ Фауста, идетъ длинный рядъ внутренно родственныхъ другъ другу литературныхъ типовъ человѣка, страдающаго одновременно и неудовлетворенностью и пресыщеніемъ. Герои Шатобріана, Сенанкура, Констана, Байрона, и т. д. и т. д. и т. д.—при всемъ разнообразіи подробностей—представляли въ сущности образъ одного и того же человѣка. Этотъ человѣкъ былъ эмансипированъ отъ всего того, противъ чего боролись его предки; но это освобожденіе, о которомъ они еще такъ недавно строили золотыя мечты, надѣясь, что оно сдѣлаетъ людей добрыми, счастливыми и свободными,—это освобожденіе сдѣлало эмансипированнаго человѣка злымъ, рабствующимъ и несчастнымъ, страдающимъ и кичащимся своимъ страданіемъ.

И потому этотъ герой—герой совсѣмъ особаго рода. Это совсѣмъ не тотъ герой, на свѣтломъ лицѣ котораго нѣтъ ни ма-

лѣйшаго облака зависти, озлобленія, раскаянія и униженія. Герой XIX вѣка похожъ на преступника, торжествующаго успѣхъ своего случайно удавшагося дѣла, торопящагося воспользоваться плодами своего преступленія, человѣка, нетвердаго въ своей наружной гордости, въ глубинѣ души сознающаго свою тайную слабость и потому наверху могущества склоннаго къ раздражительности и самолюбію.

Былъ мыслитель, котораго творенія такъ глубоки по мысли и по формѣ такъ прекрасны, что ихъ можно отнести одинаково и къ философіи и къ поэзіи. Это былъ Шопенгауеръ. Онъ подвелъ итогъ всему предшествовавшему движенію „разума“ и индивидуализма, онъ такъ твердо, какъ никто, высказалъ ихъ самоотрицающійся результатъ. Шопенгауеръ сказалъ, что человѣческая жизнь—хотѣнія человѣческой жизни полны одного страданія, что они совершенно безцѣльны, безсмысленны, и что потому человѣческой волѣ осталась одна разумная цѣль—самоуничтоженіе. Очень трудно быть краткимъ, говоря о такомъ глубокомъ умѣ, какъ Шопенгауеръ: въ этомъ случаѣ краткость требовала бы очень, очень много времени. Но хоть и странно, а все не выдержишь не сказать о томъ, что̀ у него было самое, кажется, главное.

Шопенгауера обвиняли въ непослѣдовательности, но это совсѣмъ неправда. Бо̀льшая послѣдовательность, чѣмъ какая была *въ его мысляхъ,* невозможна. Но у него была другая непослѣдовательность—*непослѣдовательность натуры*—раздвоенность, нецѣльность духа — та самая, совершенно та самая раздвоенность, что и у Левина.

Но Левинъ вышелъ изъ своей нецѣльности духа и побѣдилъ ее, а Шопенгауеръ оставался въ ней и былъ побѣжденъ.

Какъ Руссо въ концѣ XVIII вѣка, такъ Шопенгауеръ въ началѣ XIX выражали собой, — не рѣшаюсь сказать, кто съ большей глубиной, — поворотный пунктъ двухъ эпохъ духовнаго развитія Европы. Одной рукой они держались за конецъ XVIII вѣка, а правую подавали, черезъ цѣлое столѣтіе, нашему времени. Они оба вышли изъ той двойной струи разсудочнаго міровоззрѣнія и индивидуализма, которая въ концѣ прошлаго столѣтія напрягла всѣ свои силы, и на мгновеніе смыла всѣ преграды и залила собою все; но оба они были въ то же время натуры глубокой не-

посредственной силы, глубокой страстности, глубокаго и могучаго чувства. Оба они вынесли изъ той старой струи эгоистическую подкладку индивидуализма и затвердѣлый раціоналистическій критерій, которые не могли, правда, побѣдить вовсе силы ихъ чувства, но все же внесли раздвоеніе въ ихъ природу и исказили ее. Отъ этой нецѣльности оба были глубоко несчастны, но на ихъ личномъ несчастіи выросло счастіе намъ. Потому что они высказали послѣднее слово стараго движенія, а въ то же время указали почву для новаго и сами начали его.

Руссо въ Contrat social не тотъ Руссо, что въ Эмилѣ и Элоизѣ. Тамъ онъ говорилъ послѣднія слова индивидуализма и противорѣчивой ему деспотіи массъ—на чисто раціоналистической почвѣ; а тутъ онъ проповѣдывалъ природу и чувство, ей абсолютно враждебныя, говорившія языкомъ любви, свободы и вѣры. Шопенгауеръ, раціоналистическимъ методомъ, приводящимъ безсмысленную логически волю человѣка къ Нирванѣ, не тотъ Шопенгауеръ, который открывалъ, что не черезъ міръ долженъ человѣкъ узнавать себя разсудкомъ, а наоборотъ, черезъ себя непосредственнымъ чувствомъ познавать смыслъ всей міровой жизни.

Мнящій себя всесострадающимъ человѣчеству Шопенгауеръ, въ дѣйствительности же нервно впечатлительный эгоистъ—не тотъ Шопенгауеръ, который такъ поэтически относился къ природѣ и такъ близко подошелъ къ пониманію искусства, потому что иначе онъ непремѣнно постигъ бы, что искусство есть пѣснь творящей и торжествующей твореніе любви и что природа идетъ не къ Нирванѣ, а къ Богу, о любви къ которому все говоритъ въ природѣ, „и въ полѣ каждая былинка и въ небѣ каждая звѣзда“. Шопенгауеръ зналъ только то, что людямъ чего-то не дано; но онъ не зналъ ни того, что есть въ людяхъ“, ни того, „чѣмъ люди живы“, и потому онъ желалъ имъ смерти. Не будь въ Шопенгауерѣ чувство такъ много подчинено разсудочности и такъ извращено ею, что въ немъ изсякло живое начало любви,—его глаза бы, навѣрно, раскрылись, и онъ тогда, 50 лѣтъ назадъ, понялъ бы то, что суждено было понять только его ученику—онъ бы узналъ тогда все, „что есть въ людяхъ“, чего не дано имъ, и чѣмъ люди живы“. Такъ оно и случилось, что по внѣшней послѣдовательности своихъ мыслей Шопенгауеръ логически приводилъ къ Нирванѣ, а по своей внутренней непослѣдовательности неизбѣжнѣе приводилъ къ вѣрѣ. Но это послѣднѣе случилось уже позднѣе, а самъ Руссо и Шопенгауеръ такъ и умерли въ томъ противорѣчіи и раздвоеніи,

въ которомъ писали и жили. Они не могли выйти изъ него и возвыситься надъ нимъ. Такова была ихъ психическая организація — результатъ ихъ природы и времени, когда они жили. Струя въ ихъ новыхъ резервуарахъ была покрыта еще толстымъ слоемъ льда, онъ сталъ таять уже послѣ ихъ смерти, и понемногу струя просочилась, потекла, сливаясь съ другими ручьями, на полудорогѣ чуть-чуть не затерялась, но потомъ опять взяла свое, и вотъ ужъ на нашихъ глазахъ выросла въ потокъ, и потокъ бѣжитъ все быстрѣе, все больше и шире и каждый часъ и каждый день теперь захватываетъ все новыя, прежде надъ нимъ возвышавшіяся пространства. Отъ Руссо родилась революція и романтизмъ, а быть-можетъ, больше, чѣмъ отъ старыхъ нѣмцевъ—Гегель, Фейербахъ; и еще соціалисты—они тоже отъ Руссо. Отъ Шопенгауера пошло еще больше—весь новѣйшій спиритуализмъ. И все это переплеталось въ самыя разнообразныя, иногда ужасно странныя, казалось бы совсѣмъ невозможныя комбинаціи.

Литература эмигрантовъ и романтизмъ были очень странныя вещи. Не знаемъ, чего тамъ больше—революціи или реакціи. Революціонные умы изъ нихъ проповѣдывали религію, которой въ глубинѣ души не имѣли, а склонявшіяся болѣе къ реакціи не могли истребить въ себѣ эмансипированнаго человѣка и, думая поэтизировать прежнее міровоззрѣніе религіи и преданія, въ дѣйствительности цѣнили его не больше, чѣмъ несчастный отчаявшійся человѣкъ цѣнитъ вино, — проливающее въ его истерзанную грудь „отрадное похмелье, минутное забвенье горькихъ мукъ“.

Шатобріанъ склеилъ католическія рамки къ портрету своего революціонера Рене. Констанъ на игральныхъ картахъ написалъ длинное сочиненіе о религіи съ неудавшеюся цѣлью убѣдить себя въ томъ, чему онъ не вѣрилъ — и съ удавшимся намѣреніемъ щегольнуть остроуміемъ передъ своей любовницей, которой посылалъ карту за картой между двумя таліями банка. Романтики, прохлаждаясь въ фантастической реставраціи средневѣкового католицизма, въ то же время преспокойно воспѣвали революціонную эмансипацію личности и вполнѣ осуществляли ее въ своей собственной жизни, съ своими женами и любовницами, которыми они мѣнялись и которыя мѣняли ихъ такъ же свободно и просто, какъ жилецъ мѣняетъ старую квартиру на новую, болѣе подходящую вновь возникающимъ его потребностямъ.

Раздвоеніе духа и нравственная нецѣльность—послѣдняя изъ добродѣтелей вѣка, не миновавшая въ немъ никого,—ни въ комъ

не были такъ мелки и отталкивающи, какъ въ романтикахъ и эмигрантахъ.

Философъ реакціи — Шеллингъ въ своемъ пантеизмѣ второго сорта носилъ уже много спиритуалистическаго. Съ нимъ въ отдаленной связи были месмеристы и шарлатаны.

Потомъ опять вынырнулъ съ обновленною силою раціонализмъ въ Гегелѣ и революціонный индивидуализмъ въ его ученикахъ. И то и другое одновременно слилось съ теченіемъ сенсуализма, позитивизма и соціализма.

Но отъ романтиковъ пошли историки и стали изучать народный бытъ—область непосредственнаго въ исторической средѣ. Пошло возрожденіе сильнаго непосредственнаго начала—національнаго духа. Непосредственная струя замѣчательно сказывалась все время не только въ тѣхъ, но даже именно въ тѣхъ, которые сознательно ее отрицали. Напримѣръ, у англійскихъ позитивистовъ — Д. С. Милля и Спенсера. Милль, отрицая, т. е. игнорируя непосредственное знаніе въ своей системѣ логики, никогда не прилагая его въ своихъ общихъ сомнѣніяхъ, въ жизни своей, однако, не только признавалъ непосредственное начало, но еще глубоко его уважалъ. Вспомните благоговѣніе, съ которыми онъ относился къ Карлейлю. У Карлейля было довольно много художественнаго чутья и вообще непосредственнаго чувства, а у Милля оно было почти подавлено, совершенно изолировано—на одномъ чувствѣ къ женѣ да еще развѣ къ музыкѣ. Сочиненія Карлейля совершенно не вызываютъ теперь ни въ комъ и никакого восторга, но въ Миллѣ восхищеніе Карлейлемъ тогда было совершенно понятно. Въ автобіографіи Милля есть мѣсто, гдѣ Милль прямо сознается, что ждалъ отъ Карлейля раскрытія такихъ тайнъ, которыхъ постиженіе для себя онъ самъ признавалъ навсегда недоступнымъ. Кромѣ того, Милль признавалъ непосредственное еще иначе; онъ даже былъ обязанъ возвращенію къ этому признанію своимъ спасеніемъ отъ *отчаянія*, періодически на него находившаго.

Какъ видно изъ біографіи Милля, отецъ его, хотя и не придавалъ цѣны человѣческой жизни послѣ того, какъ исчезли свѣжесть, юность и чувство неудовлетвореннаго любопытства (какъ очевидно здѣсь косвенное признаніе непосредственнаго единственною дѣйствительною цѣнностью жизни!!), однако о страстныхъ ощущеніяхъ всякаго рода и обо всемъ, что говорилось и писалось въ ихъ прославленіе, отзывался съ величайшимъ презрѣніемъ, считая ихъ за осо-

бый видъ сумасшествія. Такой холодный, убійственный для всякаго чувства тонъ былъ усвоенъ и его знаменитымъ сыномъ. Д. С. Милль сдѣлался машиной, глубоко преданной отцу, онъ даже въ этомъ единственномъ чувствѣ не находилъ самъ ни малѣйшаго проблеска нѣжности, ни одной искорки жизни и поэзіи истинной любви. Но все-таки въ молодости Д. С. Милля между теоріей и практикой его жизни не было разлада: и тутъ и тамъ онъ признавалъ однѣ лишь идеи. Въ своихъ мечтахъ о пересозданіи человѣчества онъ возлагалъ всѣ надежды на реформу и развитіе однихъ лишь мнѣній, очень мало цѣня роль въ этомъ дѣлѣ даже такихъ чувствъ, какъ чувства добра и справедливости. Было довольно поздно, когда Милль спохватился и увидѣлъ, какъ его привычка къ оскопляющему душу анализу безстрастной логики подточила въ немъ всякое чувство — дѣйствительно единственное основаніе, источникъ и побужденіе жизни. Милль увидѣлъ, что идея безсильна именно для его цѣли, для счастья. „Всѣ, мнѣніями которыхъ я дорожилъ, — говоритъ онъ въ своей драгоцѣнной книжечкѣ, — считали величайшими и вѣрнѣйшими источниками счастья *симпатію къ другимъ людямъ* и *чувства*, ставящія благоденствіе человѣчества *цѣлью жизни*.

Я былъ убѣжденъ въ справедливости этого, но *сознаніе, что извѣстное чувство могло бы сдѣлать меня счастливымъ, не давало мнѣ этого чувства*“. Этотъ выводъ разрушалъ все разсудочное зданіе внутренней жизни Милля. Милль погрузился въ безвыходное отчаяніе.

Когда, независимо отъ его теорій и привычекъ, органическая сила жизни, непослѣдовательно его убѣжденіямъ, но послѣдовательно своимъ собственнымъ, неповреждаемымъ отъ кощунственнаго, человѣческаго произвола, законамъ произвела въ душѣ Милля переломъ, и онъ сталъ отъ своего потрясенія выздоравливать — тогда онъ сталъ искать инстинктивно лѣкарства въ той дотолѣ чуждой и невѣдомой ему области чувства.

Онъ искалъ и находилъ его въ впечатлѣніяхъ природы, музыкѣ и поэзіи, особенно созерцательной, перефлектирующей: невеликій Байронъ, а маленькій Вордсвортъ утѣшилъ и примирилъ съ жизнью умъ величайшаго раціоналиста девятнадцатаго вѣка. Когда человѣку нельзя освѣжить свое тѣло отъ лѣтняго зноя въ холодной рѣкѣ, ему все же отрадно сидѣть на ея берегу, вдыхать ея влагу и прохладу и любоваться чистотой и невозмутимостью ея стекла. Когда человѣкъ не можетъ погрузиться въ

источникъ жизни, онъ довольствуется его созерцаніемъ. То же самое явленіе, ведущее къ той же двойственности, замѣтно и у Спенсера. Спенсеръ въ своихъ громадныхъ, снотворнѣйшихъ томахъ разсматриваетъ душу человѣка какъ органическую протоплазму, пишетъ глубоко возмутительныя страницы о материнскомъ чувствѣ, изолируя однѣ лишь животнѣйшія его стороны—и тотъ же Спенсеръ пишетъ прелестную статью о философіи непознаваемаго и почти что художественныя замѣтки изъ области текущихъ обычаевъ и нравовъ.

Льюисъ проявилъ ту же двойственность достаточно ясно. Льюисъ, написавшій свою исторію философіи и изложеніе ученія Конта, — не тотъ Льюисъ, который въ концѣ жизни своей напечаталъ „Вопросы о жизни и духѣ". Но всего характернѣе это явленіе встрѣчается у сенсуалиста Тэна. Такъ оно и должно было случиться, потому что его послѣдовательный, сильный, но грубо сенсуалистически направленный умъ такъ и долженъ былъ привести его къ противорѣчію съ его замѣчательной тонкости художественнымъ чутьемъ.

При воспоминаніи о философіи Гартмана подымается такой хаосъ мыслей и болѣзненнаго впечатлѣнія, внушенныхъ этой системой, что почти невозможно становится быть объективнымъ въ опредѣленіи ея мѣста среди всей этой, намѣченной нами выше въ общихъ чертахъ, исторіи душевно больного девятнадцатаго вѣка.

Я очень радъ, что могу сказать словами профессора Струве („Новѣйшее произведеніе философскаго пессимизма въ Германіи"): „мы не можемъ не указать на бездну безсмыслія *въ обоготвореніи разума, уничтожающаго себя и все существующее!* Одно изъ двухъ: либо въ мірѣ дѣйствуетъ и обнаруживается *истинный разумъ,*—а въ такомъ случаѣ онъ достоинъ существованія именно ради самого себя; либо въ мірѣ и человѣчествѣ вовсе *нѣтъ* разума, и тогда нѣтъ надобности говорить о немъ, нѣтъ надобности писать философію, основанную будто бы *на разумныхъ* разсужденіяхъ; нѣтъ основанія признавать человѣческій разумъ компетентнымъ судьей для разрѣшенія вопроса о совершенствѣ или несовершенствѣ міра, допускать существованіе высочайшаго разума, приписывать ему премудрое устройство вселенной, подкрѣплять эту мудрость многочисленными примѣрами изъ эмпирической жизни, говорить объ *абсолютномъ ясновидѣніи и всевѣдѣніи разума,* о его *вездѣсущности,* и наконецъ, свести всѣ эти божественныя качества къ простому *самоубійству*: это такая колоссальная не-

логичность, что во всей исторіи философіи не отыщется ничего ей подобнаго. *Это неслыханная апологія самоубійства, какую могъ создать лишь истощенный старичокъ человѣчества,—девятнадцатый вѣкъ, убѣдившійся въ суетности не только неразумія, но и разума*". Этими словами сказано о Гартманѣ все. Да, какъ Максъ Штирнеръ въ области нравственности и культуры, такъ въ высшей области духа Гартманъ есть послѣднее слово девятнадцатаго вѣка, послѣдній предѣлъ его разсудочности, рефлексіи, самоотрицанія — это хуже самоубійства — это смерть души при продолжающейся машинальной жизни тѣла, которое все еще продолжаетъ безсмысленно двигаться.

Есть господа, находящіе прогрессъ мысли въ Гартманѣ сравнительно съ Шопенгауеромъ и радующіеся прогрессу тому. Я же не вижу тутъ никакого прогресса, кромѣ того, что тѣло, умершее на вашихъ глазахъ, быстро тутъ же при васъ разложилось. Да, эгоизмъ Шопенгауера у Гартмана еще грубѣе и рѣзче; сантиментальный вуаль обманчиваго сочувствія къ страдающему человѣчеству сдѣланъ здѣсь изъ еще болѣе тонкихъ нитокъ и частыхъ клѣтокъ—это сочувствіе еще болѣзненнѣе, нервнѣе, еще бездушнѣе и лживѣе, чѣмъ у Шопенгауера. Противорѣчіе—узелъ вѣры и невѣрія въ разумъ — здѣсь крѣпче и ведетъ уже не потенціально, какъ у Шопенгауера, а прямо къ своему результату — къ сумасшествію. Потому что человѣкъ такъ созданъ, что если онъ не можетъ распутать такого жизненнаго противорѣчія, то сходитъ съ ума.

Таковъ практическій выводъ изъ системы, которой основное положеніе говоритъ, что жизнь не имѣетъ смысла, что ее нужно уничтожить, но не теперь, не сейчасъ, а въ концѣ мірового процесса; т. е. что нужно жить не для жизни, а для смерти; что этого требуетъ всевѣдующій и вездѣсущій разумъ природы, создавшій ее изъ ничего—безсознательное—Богъ, самъ бывшій прежде ничто, т. е. прежде вовсе не бывшій. Но такъ какъ разумъ человѣческій устроенъ такъ, что можетъ понимать и жизнь и смерть только для жизни и внѣ жизни ни для чего не знаетъ цѣлей, а Бога не можетъ понимать иначе, какъ существовавшимъ всегда,—то признавъ посылки Гартмана вѣрными, онъ способенъ сдѣлать изъ нихъ только два вывода—или смерть моментальную, ужъ не дожидаясь конца *тамъ* этого мірового прогресса, или сумасшествіе.

Не желающіе ни того ни другого могутъ сдѣлать слѣдующее наблюденіе.

Всегда знавшій часы и употреблявшій ихъ человѣкъ вдругъ ослѣпъ и забылъ о прежнемъ своемъ опытѣ. Вдругъ онъ случайно натыкается на идущіе часы. Онъ слышитъ ихъ движеніе, но уже не понимаетъ его. Начинаетъ спрашивать себя, и разумъ его ничего не отвѣчаетъ. Человѣкъ беретъ часы, раскрываетъ заднюю крышку, отламываетъ камни и пружину. Часы остановились, а отвѣта все нѣтъ, и починить часы или сдѣлать другіе такіе же никто не можетъ: часы старинные и теперь такихъ никто не умѣетъ сработать. Сломавшій часы чувствуетъ себя въ безвыходномъ положеніи. Но вдругъ онъ начинаетъ смутно вспоминать, что часы были, что онъ прежде зналъ ихъ и что существовалъ несомнѣнно сдѣлавшій ихъ искусный художникъ.

Человѣкъ прежде твердо, сердцемъ, зналъ смыслъ жизни. Потомъ, когда у него выросъ умъ, онъ вдругъ усомнился, дѣйствительно ли онъ знаетъ смыслъ жизни не только сердцемъ, но и умомъ. И вотъ онъ сталъ разсуждать, и разсужденіе разума разбило его знаніе, и самый разумъ тоже разбился. Человѣкъ прежде сердцемъ жилъ съ другими людьми и твердо зналъ, что это хорошо. Потомъ ему показалось стѣснительно, и ему захотѣлось жить одному. И вотъ онъ сталъ разрушать все, что связывало его прежде съ другими, и остался одинъ. Это случилось одновременно: вдругъ человѣкъ остался одинъ безъ людей съ разбитымъ знаніемъ жизни, надеждой и вѣрой, съ разбитымъ разумомъ, и сдѣлался несчастенъ. Онъ самъ долго этого желалъ, и потому сначала гордился. Гордился тѣмъ, что прежде твердые камни выломаны имъ, наконецъ, изъ механизма. Но отъ порчи камней испортилась и самая пружина, и часы стали. Когда въ немъ разбилась любовь къ людямъ, когда уничтожилось въ немъ знаніе жизненной цѣли и смысла ея, то и самъ онъ не захотѣлъ болѣе жить. И вотъ онъ уже совсѣмъ умиралъ, какъ вдругъ сердце у него проснулось снова — и онъ снова увидѣлъ, что въ немъ только, въ его теперь совсѣмъ измученномъ сердцѣ — тамъ только есть связь съ жизнью—черезъ любовь къ людямъ и къ создавшей ихъ жизни—къ Богу. И на краю погибели онъ снова увидѣлъ любовь и Бога и ожилъ снова. И еще больной, еще не имѣющій силъ приподняться съ смертнаго ложа, съ еще обнаженною раной сердца, но съ горячимъ раскаяніемъ и умиляющей жаждой вѣры онъ сталъ надѣяться на жизнь и говорить о своей надеждѣ другимъ, такимъ же несчастнымъ, такимъ же жаждущимъ и алкающимъ вѣры.

Здѣсь вся европейская жизнь человѣчества за восемь, по край-

ней мѣрѣ, вѣковъ. А девятнадцатый начался тогда, когда человѣкъ выломалъ камни и пружину — и кончается на нашихъ глазахъ надеждой снова ихъ вставить въ часы, чтобы они снова ходили—уже навсегда.

Настоящая родина этой потрясающей исторіи есть западъ Европы—та страна свѣтлыхъ чудесъ и „могущественнаго (?!!!) раціонализма“, предъ которой у насъ одни съ слѣпой надеждой стоятъ на колѣнахъ, а другіе задираютъ носъ съ слѣпою ненавистью, мелкимъ самохвальствомъ ничтожества.

Не мы, русскіе, воспитали это явленіе сомнѣній, отрицаній, отчаянія гордаго самоутвержденія личности, ея жалкаго самоотрицанія, ея отвратительной рефлексіи, ея ничтожества двойственности, ея раздробленія сознанія—ея и отчаянныхъ попытокъ къ возрожденію вѣры.

Но мы слѣдили за его длиннымъ развитіемъ съ горячимъ самочувствіемъ и съ усердіемъ ребяческой надежды переносили его всегда къ себѣ и на себя. Мы были Вольтерами и энциклопедистами—при Елизаветѣ и Екатеринѣ, Сенъ-Жюстами въ 93 году, Шатобріанами, романтиками и Байронами въ годы реакціи и гордаго отчаянія. Въ двадцатыхъ годахъ мы съ Пушкинымъ воспѣвали „самолюбиваго, злого, но слабаго человѣка“. Мы были гегеліанцами въ тридцатыхъ годахъ и распинались на всѣхъ перекресткахъ за обожествленіе разума и дѣйствительности. Мы въ сороковыхъ годахъ восторгались полной побѣдой индивидуализма и были фейербахистами. Потомъ мы были дарвинистами, позитивистами, съ наслажденіемъ распластались передъ Контомъ, Миллемъ и передъ Спенсеромъ. Мы были соціалистами и революціонерами—соціальной демократіи. Мы вѣрили въ Шопенгауэра и вмѣстѣ съ Гартманомъ сошли, наконецъ, съ ума. Мы *въ мысли* пережили и перестрадали всю болѣзненную, ужасную, преступную, духовную исторію Европы.

А въ это время жизнь нашего народа — жизнь Ѳедора подавальщика и старушки Агафьи Михайловны—шла своими собственными, совсѣмъ особенными отъ нашего сумасшествія путями. И чѣмъ глубже мы въѣдались въ развитіе „могущественнаго раціонализма“, — тѣмъ далѣе расходились мы съ нашею дѣйствительною жизнью, не оставлявшей, какъ всегда и все органическое, своихъ непосредственныхъ глубинъ той области, которая одна есть истинная почва, источникъ жизни и вѣры, мѣрило заблужденій и средство къ совершенствованію жизни. И вотъ мы при-

близились къ тому состоянію чудовищнаго разлада между отвлеченной мыслью съ ея преходящими требованіями и жизнью съ ея дѣйствительными и вѣчными идеалами, которое составляетъ теперь такую горькую злобу нашего дня.

Изъ этого положенія явился, казалось, неожиданно новый исходъ—вѣра и христіанская любовь. И одинъ изъ выразителей этого поворота кризиса есть гр. Л. Н. Толстой.

К О Н Е Ц Ъ.